

1901

1

⟨29 ноября 1901. Петербург⟩

Многоуважаемая Любовь Дмитриевна.

Благодарю Вас очень за Ваше сообщение, непременно буду сегодня у Боткиных, если только не спутаю адреса.

Глубоко преданный Вам Ал. Б л о к ¹

29/XI 1901 СПб.

¹ Ответ на следующее письмо Л. Д. Менделеевой от 29 ноября 1901 г.: «М-ше Боткина опять поручила мне, Александр Александрович, передать Вам ее приглашение; только теперь уже не на бал, а на их чтения, о которых я Вам говорила. Екатерина Никитична просит Вас быть у них уже сегодня часов в восемь. Надеюсь, на этот раз исполню ее поручение лучше, чем в прошлый. Л. Менделеева».

Боткины — семья художника и коллекционера Михаила Петровича Боткина (1839—1914). *Екатерина Никитична* (ум. в 1917 г.) — жена М. П. Боткина. О балах и литературных чтениях в доме Боткина (на углу Николаевской набережной и 18-й линии Васильевского острова) см. ниже в воспоминаниях Л. Д. Менделеевой. Блок неоднократно бывал у Боткиных. Имея в виду конец 1901 г., он записал впоследствии: «Тут — Боткинский период» (VII, 345).

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой — Блок:

«Прибавились встречи у Боткиных, наших старинных знакомых, М. П. Боткин — художник, друг отца, а Екатерина Никитична дружила с мамой. Три дочери — мои сверстницы, и мальчик и девочка младшие. Очаровательные люди и очаровательный дом. Боткины жили в своем особняке на углу набережной и 18 линии Васильевского острова. Сверху донизу это был не дом, а музей, содержащий знаменитую боткинскую коллекцию итальянского искусства эпохи Возрождения. Лестница, ведущая во второй этаж в зал, была обведена старинной резной деревянной панелью, ступени покрыты красным толстым ковром, в котором тонула нога. Зал также весь со старым резным орехом. Мебель такая же, картины, громадные пальмы, два рояля. Все дочери — серьезные музыкантши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время балов, — это мне особенно нравилось. Зато гостиная рядом утопала и в свете, и в блестящем серебристом шелке мягкой мебели. И главная ее краса — зеркальное окно, не закрываемое портьерой и — вечером — с одним из самых красивых видов на Петербург, Неву, Исаакий, мосты, огни.

В этой гостиной в зиму 1901 года сестры Боткины устраивали чтения на разные литературные темы; одной из тем были, помню, «Философические письма» Чаадаева, кажется, еще не очень в то время цензурные, во всяком случае мало известные. Лиля Боткина была со мной на курсах. До того мы дружили сначала по-детски, потом я стала бывать у них гимназисткой на их балах — самые светские мои воспоминания, эти их балы. Круг знакомых их был очень обширен, было много военных, были очень светские люди. Бывал молодой Сомов, который пел старинные итальянские арии. Бывал В. В. Максимов — еще правовед Самусь. Много музыкантов, художники. И мать и все три дочери были очень похожи и очаровательны общим им семейным шармом. Очень высокие и крупные, с русской красотой, мягкой, приветливой, ласковой мане-

Многоуважаемая
Любовь Дмитриевна.

Благодарю Вас очень за
Ваше сообщение, непременно
буду сегодня у Ботаников,
если только не спущу
адреса.

Твердо уверенный Вами

А. Блок.

29/11 1907. Сиб.

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 29 НОЯБРЯ 1901 г.

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

рой принимать и общим им всем своеобразным певучим говором, они создавали атмосферу такого радушия, так умели казаться заинтересованными собеседниками, что всегда были окружены многочисленными друзьями и поклонниками.

Зная о моей дружбе с Блоком, Екатерина Никитична просила меня передать ему приглашение — сначала на бал, куда он не пошел, потом на чтения, где он бывал несколько раз.

...Молодой Сомов — Константин Андреевич Сомов (1869—1939) — художник, принадлежавший к творческому содружеству «Мир искусства».

В конце 1907 г. Сомов исполнил портрет Блока, который вызвал у поэта сложное отношение. «Мне портрет нравится, хотя тяготит меня», — признавался он матери в письме 5 марта 1908 г. («Письма к родным», стр. 197). Современный исследователь, анализируя сомовский портрет Блока, помогает понять причины такого восприятия: «Художник передает цветными карандашами холодный, «зимний» взгляд серо-голубых глаз Блока, розоватость полуоткрытых губ, белилами — вертикальную складку, перерезающую гладкий лоб. Лицо Блока, обрамленное шапкой густых вьющихся волос, напоминает застывшую маску. <...> Сомов в своем портрете возвел в абсолют эту мертвенность черт и тем лишил образ Блока той многогранности, духовного богатства, которые составляли сущность его личности» (Н. Лапина. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. М., 1977, стр. 249—250). Биограф Блока М. А. Бекетова передает разговор матери поэта с Сомовым об этом портрете: «Мне не нравится, — сказала мать. — Вы совершенно правы, мне тоже не нравится, — грустно промолвил художник». «К сожалению, этот портрет довольно распространен, — добавляет автор, — а между тем он дает превратное представление о Блоке» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Л., «Academia», 1930, стр. 108.)

Бывал В. В. Максимов — Владимир Васильевич Самусь (1878—1937), впоследствии стал известным драматическим актером (сценический псевдоним: Максимов).

«17 января 1902. Петербург»

Если в один из трех дней Вы не будете у собора ¹ от 8—10 вечера, Вам угрожает тоска на всю жизнь без оправданий. Последние отклики еще не замерли, последняя мысль о любви еще жива в нетленности памяти — будьте у собора и не смущайтесь, встречаясь с сумраком непрестанной гармонии.

17 янв. 1902. СПб.

¹ Имеется в виду, очевидно, Казанский собор, где часто встречались Блок и Л. Д. Менделеева.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«Началась зима, принесшая много перемен. Я стала учиться на курсах М. М. Читау, на Гагаринской.

Влияние Блока усиливалось, так как неожиданно для себя я пришла к некоторой церковности, вовсе мне не свойственной.

Я жила интенсивной духовной жизнью. Закаты того года, столь известные и по стихам Блока, и по Андрею Белому, я переживала ярко. Особенно помню их при возвращении с курсов, через Николаевский мост. Бродить по Петербургу — это и в предыдущую зиму было большой, насыщенной частью дня. Раз идя по Садовой мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые двери. Образа, трепет бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие, молящиеся фигуры. Сердце защемило от того, что я вне этого мира, вне этой древней правды. Никакой Гостинный двор — любимый мираж соблазнов и недоступных фантазмагорий блесков, красок, цветов — не развлек меня. Я пошла дальше и почти машинально вошла в Казанский собор. Я не подошла к богатой и нарядной в брильянтах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше, за колоннами, остановилась у другой Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская, к ней же приходила за помощью и после смерти Саши. Однако и тогда, в первый раз, пришли облегчающие, успокоительные слезы. Потом, когда я рассказала, Саша написал:

Медленно в двери церковные
Шла я душой несвободная...
Слышались песни любовные,
Толпы молились народные.

Или в минуту безверия
Он мне послал облегчение?
Часто в церковные двери я
Ныне вхожу без сомнения.

И бесконечно глубокие
Мысли растут и желания,

Вижу я небо далекое,
 Слышу я божье дыхание.
 Падают розы вечерние,
 Падают тихо, медлительно.
 Я же молюсь сувереннее,
 Плачу и каюсь мучительно.

Я стала приходить в собор к моей Казанской и ставить ей восковую свечку. Ученица А. И. Введенского понимала, к счастью, что «бедный обряд» или величайшие порывы человеческого ума равно и малы и ценны перед лицом непостижимого рациональному познанию. Но у меня не было потребности ни быть при церковной службе, ни служить молебна. Смириться до посредничества священника я никогда не могла, кроме нескольких месяцев после смерти Саши, когда мне казалось менее кощунственно отслужить на его могиле панихиду, чем предаваться своей индивидуалистической, «красивой» скорби.

В сумерки октябрьского дня (17 октября) я шла по Невскому к собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской. То, что мы тут вместе, это было больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открывая доступ к себе.

Так начались соборы, сначала Казанский, потом и Исаакиевский. Блок много и напряженно писал в эти месяцы. Встречи наши на улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны. Но часто после Читау мы шли вместе далекий путь и много говорили. Все о том же. Много о его стихах. Уже ясно было, что связаны они со мной. Говорил Блок мне и о Соловьеве, и о душе мира, и о Софье Петровне Хитрово, и о «Трех свиданиях», и обо мне, ставя меня на непонятную мне высоту. Много о стихотворной сущности стиха, о двойственности ритма, в стихе живущего:

И к мидианке / на колени
 Склоняю / праздную/главу...

или

И к мидианке на колени
 Склоняю / праздную главу...

Раз, переходя Введенский мостик, у Обуховской больницы, спросил Блок меня, что я думаю о его стихах. Я отвечала ему, что я думаю, что он поэт не меньше Фета. Это было для нас громадно, Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось и слушалось со всей ответственностью.

... На курсах М. М. Читау — Л. Д. Менделеева училась на драматических курсах Читау (см. наст. том — стр. 50). «Медленно в двери церковные ∞ Плачу и каюсь мучительно» — приведена по рукописи первоначальная редакция стихотворения, написанного 17 октября 1901 г. В печати Блок исключил третью строфу. «Бедный обряд» — слова из стихотворения Блока «Вхожу я в темные храмы...» (1902 г.):

Вхожу я в темные храмы,
 Совершаю бедный обряд.
 Там жду я Прекрасной Дамы
 В мерцаньи красных лампад.

Близ моей Казанской — ср. стихотворение Блока «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 г.):

Глубокий жар случайной встречи
 Дохнул с церковной высоты. . .

О Софье Петровне Хитрово — Софья Петровна Хитрово (1837—1896) — почитательница Вл. Соловьева и предмет его мистического увлечения. «Три свидания» — поэма Вл. Соловьева, в которой он говорит о посетивших его мистических видениях «Души мира». И к мидианке на колени... — стихи Вл. Соловьева («Неопалимая купина»).

Если в один из пред-
дверий Вы не будете у
собора от 8-10 вечера,
Ваша угроза руса
на всю жизнь без оправдания.
Последние отклики еще
не замерли, последние слезы
о любви еще жива во кресте
наши — будьте же у
собора и не смущайтесь,
встречаясь с суровыми
непрестанной гармонией.

17. янв. 1902.
Скб.

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 17 ЯНВАРЯ 1902 г.

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

То что произошло сегодня, должно переменить и переменяло многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года ¹. Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью, для меня — трагическую. Я должен (мистически и по велению своего ангела) просить Вас выслушать мое письменное покаяние за то, что я посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество некоторого своего Сверхбытия; а потому и понес заслуженную кару в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению. Давно отошло всякое негодующее неповиновение. Теперь передо мной впереди ныне только чистая Вы, и, простите за сумасшедшие термины, — по отношению к Вам, — бестрепетно неподвижное Солнце ² За-

та, я каюсь в глубочайших тайниках, доселе Вам только намеревавшихся открыться — каюсь и умоляю о прощении перед тем, что Вы (и никто другой) несете в Себе. Это — сила моей жизни, что я познал, как величайшую тайну и довременную гармонию самого себя, — ничтожного, озаренного тайным Солнцем Ваших просветлений. Могу просто и безболезненно выразить это так: моя жизнь, т. е. способность жить, немислима без Исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа. Если разделяемся мы в мысли или разлучаемся в жизни (а последнее было, казалось, сегодня) — моя сила слабеет, остается только страстное всеобъемлющее стремление и тоска. Этой тоске нет исхода в этой жизни, потому что, даже, когда я около Вас, она ослабевает только, но не прекращается; ибо нет между нами единения «должного», да и окончательного не могло бы быть (здесь — ясный переход, прямо здраво логического, не говоря о прочем, свойства: если окончательного единения быть в этой жизни не может, а чистая цель есть окончательное единение, то не оторваться ли от этой жизни? — и т. д.). Но, если Вы так «обильны», как говорит мне о Вас мое «мистическое восприятие», то я, вспоминая Ваши пророчесственные речи о конце Вашей жизни, — безумно испытываю Ваше милосердие; ибо нет более мне исхода, и я принужден идти по пути испытаний своего бога, — и Вы — мой бог, при нем же одним мне и все здешние храмы священны. И вот, испытав и злодействуя, зову я Вас, моя Любовь, на предпоследнее деяние; ибо есть в жизни время, когда нужно это предпоследнее деяние, чтобы не произошло прямо последнее. Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в Вас, — на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только — мертвой. Жду. Вы — спасенье и последнее утверждение. Дальше — все отрицаемая гибель. Вы — Любовь.

¹ Это и два следующих письма были вызваны размовкой Л. Д. Менделеевой с Блоком. В своих воспоминаниях Л. Д. Менделеева подробно говорит о том, почему она решила «порвать» с Блоком и о предшествующем периоде их отношений, комментируя при этом некоторые записи из позднего дневника Блока 1918 г. (см. ниже). Письма Блока (№№ 3, 4 и 5) не были посланы по назначению. Л. Д. Менделеева пишет по поводу них: «Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которое он и хотел мне передать после «разрыва» и также не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им». (см. стр. 44).

² Ср. в стихотворении Вл. Соловьева «Бедный друг! Истомил тебя путь...»:

Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«...Саша соединяет два лета в одно — 1899 и 1900. Лето 1899 года, когда по-прежнему в Боблово жили «Менделеевы», проходило почти так же, как лето 1898 года, но, с внешней стороны, не повторялась напряженная атмосфера первого лета и его первой влюбленности.

Играли «Спену у фонтана», чеховское «Предложение», «Букет» Потапенки.

К лету 1900 года относится: «Я стал ездить в Боблово как-то реже и притом должен был ездить в телеге (верхом было не позволено после болезни).

Помню ночные возвращения шагом, осыпанные светлячками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любви Дмитриевны. (Менделеевы уже не жили в этом году; спектакль организовала двоюродная моя сестра, писательница Н. Я. Губкина, уже

с благотворительной целью, и тут мы играли «Горящие письма» Гнедича. Ездил ли к Менделеевым в этот год, не помню).

К осени (это 1900 год. — Л. Б.) я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любови Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный вестник», где нашел «Зеркала» З. Гиппиус. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось. (<...>)

К разрыву отношений, произошедшему в 1900 году, осенью, я отнеслась очень равнодушно. Я только что окончила VIII класс гимназии, была принята на Высшие курсы, куда поступила очень пассивно, по совету мамы и в надежде, что звание «курсистки» даст мне большую свободу, чем положение барышни, просто живущей дома и изучающей что-нибудь вроде языков, как тогда было очень принято. Перед началом учебного года мама взяла меня с собой в Париж, на Всемирную выставку. Очарование Парижа я ощутила сразу — и на всю жизнь. В чем это очарование, никому в точности определить не удастся. Оно так же неопределимо, как очарование лица какой-нибудь не очень красивой женщины, в улыбке которой тысяча тайн и тысяча красот. Париж — многовековое лицо самого просвещенного, самого переполненного искусством города, от Монмартрской мансарды умирающего Модильяни до золотых зал Лувра. Все это в воздухе его, в линиях набережных и площадей, в переменчивом освещении, в нежном куполе его неба. (<...>)

Хоть я и поступила на курсы не очень убежденно, но с первых же шагов увлеклась многими лекциями и профессорами, слушала не только свои — первого курса, но и на старших. Платонов, Шляпкин, Ростовцев, каждый по-разному открывали научные перспективы, которые пленяли меня скорее романтически, художественно, чем строго научно. Рассказы Платонова, его аргументация были сдержанно пламенны, его слушали затаив дыхание. Шляпки, наоборот, так фамильярно чувствовал себя со всяким писателем, о ком говорил, со всякой эпохой, что в этом была своеобразная прелесть, эпоха становилась знакомой, не книжной. Ростовцев был красноречив, несмотря на то, что картавил, и его «периоды, базы, этапы» выслушивались с легкостью благодаря интенсивной, громкой, внедряющейся речи. Но кем я увлеклась целиком — это А. И. Введенским. Тут мои запросы нашли настоящую пищу. Неокритицизм помог найти место для всех моих мыслей, освободил всегда живущую во мне веру, и указал границы «достоверного познания» и его ценность. Все это было мне очень нужно, всем этим я мучилась. Я слушала лекции и старших курсов, по философии, и с увлечением занималась своим курсом, психологией, так как меня очень забавляла возможность свести «психологию» (!) к экспериментальным мелочам.

Я познакомилась со многими курсистками, пробовала входить даже в общественную жизнь, была сборщицей каких-то курсовых взносов. Но из этого ничего не вышло, так как я не умела эти сборы выжимать, и мне никто ничего не платил. Бывала с увлечением на всех студенческих концертах в Дворянском собрании, ходила в маленький зал при артистической, где студенты в виде невинного «протеста» и «нарушения порядка» пели «Из страны — страны далекой». «Расходились» по очень вежливым увещаниям пристава. На курсовом концерте была в числе «устроительниц» по «артистической», ездила в карете за Озаровским и еще кем-то, причем моя обязанность была только сидеть в карете, а бегал по лестницам приставленный к этому делу студент, такой же театрал, как я. В артистической я благоговела и блаженствовала, находясь в одном обществе с Мичуриной в французских Академических пальмах, только что полученных «ею». Тут же Тартаков (всегда и везде!), Потоцкая, Куза, Долина. Быстро отделавшись от обязанностей, шла слушать концерт, стоя где-нибудь у колонны, с моими новыми подругами-курсистками Зиной Линевой, потом Шурой Никитиной (<...>)

После концерта начинались танцы в зале, и продолжались прогулки в боковых помещениях, среди пестрых киосков с шампанским и цветами. Мы не любили танцевать в тесноте, переходили от группы к группе, разговаривали и веселились, хотя бывшие с нами кавалеры-студенты были так незначительны, что я их даже плохо помню.

Бывала я и у провинциальных курсисток, на вечеринках в тесных студенческих комнатках, — реминисценции каких-то шестидесятых годов, не очень удачные. И рас-

суждали, и пели студенческие песни, но охотнее слушали учеников консерватории, игравших или певших «Пою тебя, бог Гименей...», и очень умеренно и скромно флиртовали с белобрысыми провинциалами — технологами или горняками.

Так шла моя зима до марта. О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике, погибшем в Шахматове, были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что «мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами...» Я считала себя освободившейся.

Но в марте (у Блока мы узнали, в каких числах) около курсов промелькнул где-то его профиль, — он думал, что я не видела его. Эта встреча меня перебудоражила. Почему с приходом солнечной, ясной весны опять образ Блока? А когда мы оказались рядом на спектакле. Сальвини, причем его билет был даже рядом со мной, а не с мамой (мы уже сидели), когда он подошел, поздоровался, до того как были сказаны первые фразы, я с молниеносной быстротой почувствовала, что это уже совсем другой Блок. Проще, мягче, серьезный, благодаря этому похорошевший (Блоку вовсе не шел задорный тон и бесшабашный вид). В обращении со мной почти нескрываема почтительная нежность и покорность, а все фразы, все разговоры — такие серьезные; словом, от того Блока, который уже третий год писал стихи и которого от нас он до сих пор скрывал.

Посещения возобновились сами собой, и тут сложился их тип на два года. Блок разговаривал с мамой, которая была в молодости очень остроумной и живой собеседницей, любившей поспорить, пусть зачастую и очень парадоксально. Блок говорил о своих чтениях, о взглядах на искусство, о том новом, что зарождалось и в живописи и в литературе. Мама с азартом спорила. Я сидела и молчала, и знала, что все им говорится для меня, что убеждает он меня, что вводит в этот открывшийся ему и любимый мир — меня. Это за чайным столом, в столовой. Потом уходили в гостиную, и Блок мелодекламиривал «В стране лучей» А. Толстого под «Quasi una fantasia» или еще что-нибудь из того, что было в грудях нот, которые мама всегда покупала.

Мне теперь нравилась его наружность. Отсутствие напряженности, надуманности в лице приближало черты к статуарности, глаза темнели от сосредоточенности и мысли. Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом условных, жестких линий вырисовывался в свете лампы у рояля, в то время как Блок читал, положив одну руку на золотой стул, заваженный нотами, другую — за борт сюртука. Только, конечно, не так ясно и отчетливо все это было передо мной, как теперь. Теперь я научилась остро смотреть на все окружающее меня — и предметы, и людей, и природу. Так же отчетливо вижу и в прошлом. Тогда все было в дымке. Вечно перед глазами какой-то «романтический туман». Тем более Блок и окружающие его предметы и пространство. Он волновал и тревожил меня; в упор его рассматривать я не решалась и не могла.

Это ведь и есть то кольцо огней и клубящихся паров вокруг Брунгильды, которое потом было так понятно на спектаклях Мариинского театра. Ведь они не только защищают валькирию, но и она отделена ими от мира и от своего героя, видит его сквозь эту огненно-туманную завесу.

В те вечера я сидела в другом конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку, из привезенных из Парижа. Прическу носила высокую — волосы завиты, лежат тяжелым ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугий узел. Я очень любила духи — более, чем полагалось барышне. В то время у меня были очень крепкие «Coeur de Jeannette». Была по-прежнему молчалива, болтать так и не выучилась, а говорить любила всю жизнь только вдвоем, не в обществе.

В это время собеседниками для серьезных разговоров были у меня брат мой Ваня, его друг Розадовский и особенно его сестра Маня, учившаяся в ту зиму живописи у Щербиновского, очень в вопросах искусства подвинутая. В разговорах с ней я научилась многому, от нее узнала Бодлера (почему-то — «Une Charogne»!*), но, особенно, научилась более серьезному подходу к живописи, чем царившее дома передвижничье

* «Падаль» (франц.).



УСАДЬБА ШАХМАТОВО

Акварель Е. А. Красновой-Бенетовой, 1880-е гг.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ство, впрочем давно инстинктивно мне чуждое. Живописи я много насмотрелась в Париже, вплоть до крайностей скандинавских «символистов», очень упрощавших задание, сводивших его к сухой умственной формуле, но помогавших оторваться от веры в элементарные, бытовые формы. Что я читала в эту зиму, я точно не помню. Русская литература была с жадностью вся проглочена еще в гимназии. Кажется в эту зиму все читали «Так говорил Заратустра». Думаю, что в эту зиму я и читала французов, для гимназистки запретный плод: Мопассан, Бурже, Золя, Лоти, Доде, Марсель Прево, за которого хваталась с жадностью, как за приоткрывавшего по-прежнему неведомые «тайны жизни». Но вот уж верная-то истина: «чистому все чисто».

Далее, говоря о возобновившихся встречах с Блоком, Любовь Дмитриевна приводит свое письмо к нему, а также ответ Блока от 29 ноября 1901 г. и отмечает, что они ярко рисуют «внешнюю отдаленность при такой уже внутренней близости, которая была в ту зиму».

«Вот каков был внешний обиход!

От Боткиных провожал меня домой на извозчике Блок. Это было не совсем строго корректно, но курсистке все же было можно. Помню, какими крохами я тешила свои женские претензии. Был страшный мороз. Мы ехали на санях. Я была в теплой меховой ротонде. Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные и попросту попросила его взять и спрятать руку. «Я боюсь, что она замерзнет». — «Она психологически не замерзнет». Этот ответ, более «земной», так был отраден, что врезался навсегда в память.

И тем не менее в январе (29-го) я с Блоком порвала. У меня сохранилось письмо, которое я приготовила и носила с собой, чтобы передать при первой встрече на улице, но передать не решилась, так как все же это была бы я, которая сказала бы первые, ясные слова, а моя сдержанность и гордость удержали меня в последнюю минуту. Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от собора, и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, что мне это неудобно. Ледяным тоном: «Пройдите!» — и ушла.

А письмо было приготовлено вот какое:

«Не осуждайте меня слишком строго за это письмо... Поверьте, все, что я пишу, сухая правда, а вынудил меня написать его страх стать хоть на минуту в неискренние отношения с вами, чего я вообще не выношу и что с вами мне было бы особенно тяжело. Мне очень трудно и грустно объяснять вам все это, не осуждайте же и мой неуклюжий слог.

Я не могу больше оставаться с вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна, даю вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с вашей, ни с моей стороны, стало ясно — до чего мы чужды друг другу, до чего вы меня не понимаете. Ведь вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею; вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в вашем воображении, вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели...

Вы, кажется, даже любили — свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать вам от всей души... Но вы продолжали фантазировать и философствовать... Ведь я даже намекала вам: «надо осуществлять...» Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует ваше отношение ко мне: «Мысль изреченная есть ложь». Да, все было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго, искренно ждала хоть немного чувства от вас, но наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг навек оборвалось, умерло; почувствовала, что ваше отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо. Да, я вижу теперь, насколько мы с вами чужды друг другу, вижу, что я вам никогда не прощу то, что вы со мной делали все это время, — ведь вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно.

Простите мне, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу вас; но ведь лучше все покончить разом, не обманывать и не притворяться. Что вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей «дружбы», что ли, я уверена; у вас всегда найдется утешение и в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке... А у меня на душе еще невольная грусть, как после разочарования, но, надеюсь, и я сумею все поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления...

Прекрасная Дама взбунтовалась! (...)

Но письмо передано не было, никакого объяснения тоже не было, nach wie vor *, так что «знакомство» благополучно продолжалось в его «официальной» части, и Блок бывал у нас по-прежнему.

Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которое и он хотел мне передать после «разрыва» и также не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им. Вот эти наброски (имеется в виду данное письмо и два следующих).

«Сцена у фонтана» — из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». *Платонов* — Сергей Федорович Платонов (1860—1933) — историк России; *Шляпкин, Ростовцев* — Илья Александрович Шляпкин (1858—1918) — литературовед и Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952) — историк античного мира. *Введенский* — Александр Иванович Введенский (1856—1925) — философ-идеалист. *За Озаровским* — Юрий Эрастович Озаровский (1869—1920) — драматический актер и режиссер. *С Мичуриной* — Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова (1866—1948) — драматическая актриса. *Академические или Университетские пальмы* — орден, учрежденный Наполеоном в 1808 г. *Тартаков* — Иоаким Викторович Тартаков (1860—1923) — известный оперный артист и режиссер. *Потоцкая, Куза, Долина* — Мария Александровна Потоцкая (1869—1940) — драматическая актриса; Евфросиния Ивановна Куза (1868—1910) — певица; Мария Ивановна Долина (1868—1919) — певица, активная пропагандистка русской

* после, как и перед тем (нем.).

музыки... *На спектакле Сальвини* — Томазо Сальвини (1829—1916) — известный итальянский драматический актер, гастролировавший в Петербурге. Имеется в виду спектакль «Король Лир» Шекспира в Малом (Суворинском) театре. «*Quasi una fantasia*» — соната Бетховена. *Брунгильда* — персонаж оперы Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга». ...*У Щербиновского* — Дмитрий Абрамович Щербиновский (1867—1926) — художник импрессионистского направления. «*Так говорил Заратустра*» — книга Ф. Ницше.

4

5 февр(аля) 1902. Петербург

Наступает уже то время, когда все должно двинуться вперед далеко ¹. Прежде в стихах изливалась неудовлетворенность стремлений, — теперь и стихи не могут помочь, и страшное мое влечение приняло размеры, угрожающие духу. Надежда еще где-то высоко в небе звенит вдохновительно для слуха. Я призываю Вас всеми заклätиями. Откликнитесь и поймите, что молчанье не может продолжаться и кончиться если не так, то иначе... Ибо возврата на старые пути нет — эти пути одряхлели для моей жизни ².

Было бы невозможно изложить все земные пути и все земные слова, которые могут встретиться в этом положении вещей. И я, отбрасывая землю, прошу Вас верить, что задену ее только там, где она прямо касается неба; здесь-то корень зла. А корень добра, затемненный теперь до последней возможности, еще может открыться, поверьте мне. Главное, что Вас может смутить и удивить, что я разумею и разумел всегда, говоря с Вами, это то, что «что-то определено нам с Вами судьбой», — в это я верю больше, чем во все другое, и так же, как в то, что Вы, что бы ни было с Вашей стороны, останетесь для меня окончательной целью в жизни или в смерти. А в том и в другом Вы властны относительно меня вполне, так что я никогда не задумаюсь над тем или другим, если *Вы* прикажете. Вот это пускай Вам укажет всю степень важности того, чтобы я мог Вас увидеть, хоть один еще раз, чтобы сказать Вам то, что здесь не может быть сказано, и чтобы окончательно можно было решить, что *мне* делать; ведь и *Вам* не может быть неощутительно, хоть в малой мере, странное и туманное положение вещей. Подумайте об этом, пожалуйста, и, если сочтете возможным, исполните мою просьбу — — — ³, хоть поскольку она касается Вашей определенности. Я же, и в случае Вашего отказа, как согласия, совершенно не могу по отношению к Вам изменить себя и, в каком бы ни было виде, останусь с Вами на всю жизнь.

¹ О таком ощущении времени писала в своих воспоминаниях Л. Д. Менделеева-Блок (см. ниже, на этой стр.).

² Дальнейший текст (после черты) — карандашом.

³ Три тире — в подлиннике.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«А вы попробуйте перенестись в конец девяностых годов, когда Блок уже писал «Стихи о Прекрасной Даме», конечно и не подозревая, что он что-либо подобное пишет. Ловит слухом и записывает то, что поется около него, в нем ли — он не знает. Попробуйте перенестись во время до «Мира искусства» и его выставок, до романов Мережковского, до распространения широкого знакомства с французскими символическими, даже до первого приезда Художественного театра. Помню чудный образчик «уровня» — концерт на Высших женских курсах уже в 1900 году: с одной стороны, старый, седой, бородатый поэт Позняков читает, простирая руку под Половского, «Вперед без страха

и сомненья...», с другой, Потоцкая жеманно выжимает слобным голосом что-то Чюминой: «...птичка мертвая лежала».

Пусть семья Блока тонко литературна, пусть Фет, Верлен и Бодлер знакомы с детства, все же, чтобы написать любое стихотворение «*Ante Lucem*», какой прорыв, какая неожиданность и ритма и звуковой инструментовки, не говоря об абсолютной непонятности в то время и хода мыслей и строя чувств.

Помню ясно, как резнули своей неожиданностью первые стихи, которые показал мне Блок в 1901 году. А я была еще к новому подготовлена, во мне самой назревало это новое совершенно в других слоях души, чем показные, парадные. Может быть, именно благодаря тому, что я пережила этот процесс рождения нового, мне ясно, где и как искать его корни «в творчестве» у великих.

С показной стороны я была — член моей культурной семьи со всеми ее широкими интересами в науке и искусстве. Передвижные выставки, «Русская мысль» и «Северный вестник», очень много серьезной музыки дома, все спектакли иностранных гастролеров и трагических актрис. Но вот (откуда?) отношение мое к искусству обострилось, разрослось совсем по-другому, чем это было среди моих. Это и была основа всего идущего нового — особое восприятие искусства, отдавание ему без остатка святого-святых души. Черпать в нем свои коренные жизненные силы и ничему так не верить, как тому, что пропоет тебе стих или скажет музыка, что просияет тебе с полотна картины в штрихе рисунка.

С Врубеля у меня и началось. Было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Дома всегда покупали новые книги. Купили и иллюстрированного Лермонтова в издании Кнебеля. Врубелевские рисунки к «Демону» меня пронзили. Но они-то как раз и служили главным аттракционом, когда моя просвещенная мама показывала не менее культурным своим приятельницам эти новые иллюстрации к Лермонтову. Смеху и тупым шуткам, которые неизменно, неуклонно порождало всякое проявление нового — конца не было. Мне было больно (по-новому!). Я не могла допустить продолжения этих надругательств, унесла Лермонтова и спрятала себе под тюфяк; как ни искали, так и не нашли. Так же потрясла душу и взгромодила в ней целые новые миры Шестая симфония Чайковского в исполнении Никиша. Все восхищались «прекрасным исполнением», я могла только, стиснув зубы, молчать.

Я знаю, что понять меня современному читателю трудно, то есть трудно представить себе, что это романтически звучащее «высокое» восприятие искусства, сейчас порядочно-таки старомодное, в свое время было передовым двигателем искусства, и двигателем большой мощности. Не только осознать умом, но и ощущать всеми жизненными силами, что самое полное, самое осязаемое познание основ мироздания несет искусство — вот формула, упуская из виду которую, трудно разбираться не только в творчестве Блока, но и многих его современников.

...До первого приезда Художественного театра — Московский Художественный театр гастролировал в Петербурге в первый раз в феврале — марте 1901 г. Позняков — Николай Иванович Позняков (1856—1910) — мелкий поэт. «*Вперед без страха и сомненья...*» — стихотворение А. Н. Плещеева. Потоцкая — Мария Александровна Потоцкая (1869—1940) — драматическая актриса. Что-то Чюминой — Ольга Николаевна Чюмина (1862—1909) — поэтесса и драматург. «*Ante Lucem*» («Перед светом») — заглавие первого раздела в собрании стихотворений Блока; здесь сосредоточена его избранная юношеская лирика (1898—1900 гг.). ...В исполнении Никиша — Артур Никиш (1855—1922) — венгерский дирижер, часто выступавший в России.

5

(Между 5 и 7 февраля 1902. Петербург)

Именем бога всемогущего, который ближе к Вам, чем ко мне, но держит в своей благодати равно Вас и меня, обращаюсь к Вам уже не с обыкновенным письмом, ибо нет более места обыкновенному, а скорее с проси-



А. А. БЕКЕТОВА (МАТЬ БЛОКА) В ЮНОСТИ

Фотография, 1878

Центральный архив литературы и искусства, Москва

тельной проповедью, как это ни странно, может быть, для Вашего сравнительного равновесия. Прошу Вас совершенно просто и внимательно отнестись к этому и решить, может быть, трудную, но доступную Вашему бессмертию, в которое я верю больше, чем в свое, загадку целой жизни. Еще раз говорю Вам твердо и уверенно, что *нет больше ничего обыкновенного — и не может быть*, потому что Судьба в неизреченной своей милости написала мне мое будущее и настоящее, как и часть прошедшего, в совершенном сочетании с тем, что мне неведомо, а, потому самому, служит предметом только поклонения и всяческого почитания, как бога и прямого источника моей жизни или смерти. Может быть то, что мне *необходимо* сказать Вам, будет очень отвлеченно, но зато вдохновенно, а все вдохновенное Вы поймете. Я же *должен* передать Вам ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем непонятную людям, потому что об этой тайне я понял давно уже главное, — что понять ее можете только *Вы одна*, и в ее торжестве только *Вы* можете принять участие. В том,

что я говорю, нет выдумки, потому что так именно устроена жизнь, здесь корень ее добра и ее зла. И от участников этой жизни зависит принять добро и принять зло. Примите же Высшее Добро, не похожее на обыкновенное, в том свете, который Вам положено увидеть от века. Я знаю Вашу вещую веру в конец Вашей жизни, который воплотился на земле в Идею самоубийства, о чем мы говорили не раз. Кроме того, я знаю и чувствую то неизреченное, которое Вас томит, от которого Ваша душа «скорбит смертельно»¹, о котором Вы хотели сказать и говорили мало, потому что нельзя передать, которое я ощутил тогда, как ощущаю теперь, ибо нет моей большей близости внутренней к Вашим помыслам, чем величайшая моя отдаленность от Вас во вне.

¹ «Душа моя скорбит смертельно» — слова Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, XXVI, 38).

6¹

7 февраля (1902. Петербург)

1) Прежде всего, позвольте мне просить у Вас извинения за то, что было 29 января².

2) Я должен сказать Вам, что то, что недослушано Вами и недосказано мной³, должно сохранить свою силу до времени; теперь же Вы, кажется мне, не хотите, а м.б., и не можете этого выслушать. Говорю так потому, что другой выход всякий мне предвидится как худший, «то, что было невозможно...»

3) Относительно факта моего бывания у Вас. Следует ли его продолжать для Вас же⁴?

¹ Черновик неотправленного письма, подклеенный в тетради дневника Блока за 1902 г.

² См. примеч. 1 к письму № 3.

³ Перифраза из стихотворения Я. П. Полонского «Утрата»:

Все недосказанное вами
И недослушанное мной.

⁴ Как пишет Л. Д. Менделеева в воспоминаниях, «знакомство» благополучно продолжалось в его «официальной» части, и Блок бывал у нас по-прежнему» (стр. 44 наст. тома).

О своей жизни в эти дни Блок так писал отцу 8 февраля 1902 г.: «Вообще я мало где бываю и чувствую себя в некоторой отдаленности от внешнего мира, совершенно, однако, естественной и свободной, находящей свое разрешение в довольно большом количестве стихов, по-прежнему, несмотря на гражданские струи, лишенных этих преимуществ» (VIII, 28—29).

7¹

29 августа 1902. Шахматово

Пишу Вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить — и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы-то эти дни — эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы². Показывалась Вапа фигура — Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный тяжелый золотой узел

волос — ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке — шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь (от Марьи Михайловны ³). (Мне все дорого.) Такая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости (м.б. пошлости), падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душной волной («В эти сны, наяву непробудные» ⁴). И вдруг, страшно редко, — но ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, м.б. мимолетная дрожь, — или все это было, лучше думать, одно воображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее.

Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля ⁵). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово — всегда легкое, капризное «Кто сказал?», «чья?» Как будто в этом все дело. Вот что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать. А теперь-то что? Прежнее, или еще хуже?

Р. S. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, даже, можно сказать, просто в моей жизни такого и не бывало, — да и будет ли? Всё вопросы, вопросы — озабоченные, полужлобные... Когда же это кончится, господи? ⁶

Один только раз мы ходили очень долго. — Сначала пошли в Каз(анский) собор (там бывали и еще), а потом — по Казанской и Новому переулку — в Исаакиевский. Ветер был сильный и холодный, морозило, было солнце яркое, холодное. Собор обошли вокруг, потом вошли во внутрь. Тихонько пошептались у дверей монашки (это всегда — они собирают в кружки) — и замерли. В соборе почти никого не было. Вас поразила высота, громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже, встали у колонны, смотрели наверх, где были тонкие нити лестничных перил. Лестница ведет в купол. Там кружилась, наверное, голова. Вы стали говорить о самоубийстве, о том, как трудно решиться броситься оттуда вниз, что отравиться — легче. Есть яд, быстродействующий. Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось косо. Отчего Вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Он портил собор, портил мысли, что же еще? — ... Потом мы сидели на дубовой скамье в противоположной от алтаря части, ближе к Почтамтской. А перед тем ходили *весь день*. Стало поздно, вышли, опять пошептались монашки ⁷. Пошли по Новому и Демидову переулкам, вышли на Сенную. Мне показалось ужасно близко. Вы показали трактир, где сидел Свидригайлов ⁸. Вышли к Обуховскому мосту, дошли до самой Палаты ⁹. Еще с моста смотрели закат, но Вам уже не хотелось остановиться. Это было *в последний раз*. Кто-то видел нас. Следующий раз были уже на Моховой, на углу Симеоновского переулка и набер(ежной) Фонтанки и на Невском около Глазунова ¹⁰, близ Каз(анского) собора. Это уже лучше и не вспоминать и не напоминать. Это было 29 января ¹¹, — а уж 7 февраля ¹² — полегче. Это было необыкновенно, кажется, очень важно, разумеется, для меня. Для Вас — мимолетность. Но чтобы я когда-нибудь забыл что-нибудь из

этого (и Р. Келер^{13*} и т. д. — подробности Вам знакомые), — для этого нужно что-нибудь совсем необыкновенное, притом того же порядка¹⁴.

¹ Черновик письма, не отправленного по назначению (а, может быть, и не предназначенного для вручения адресату), записанный в дневнике.

² Впоследствии Блок вспоминал: «Любовь Дмитриевна ходила на уроки к М. М. Читау, я же ждал ее выхода, следил за ней и иногда провожал ее до Забалканского с Гагаринской — Литейной (конец ноября, начало декабря)» (VII, 345).

Об этом же — в стихотворении, написанном 1 мая 1902 г.:

Там — в улице стоял какой-то дом,
И лестница крутая в тьму водила.
Там открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал, — и снова тьма бродила.

Там в сумерках белел дверной навес
Под вывеской «Цветы», прикреплен болтом.
Там гул шагов терялся и исчез
На лестнице — при свете лампы желтом...

См. также стихотворения «Я долго ждал — ты вышла поздно...» (27 ноября 1901 г.) и «Высоко с темнотою сливается стена...» (11 января 1902 г.).

³ Мария Михайловна Читау (1859—1935) — руководительница частных драматических курсов, которые Л. Д. Менделеева посещала с осени 1901 г.; курсы помещались на Гагаринской ул.).

⁴ Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Вижу очи твои изумрудные...»

В эти сны наяву, непробудные,
Унесет нас волною одной.
Вижу очи твои изумрудные,
Светлый облик стоит предо мной.

⁵ Очевидно, под впечатлением встречи 7 февраля, обрадовавшей Блока, было написано следующее стихотворение (датированное 8 февраля 1902 г.):

Ты была светла до странности
И улыбкой — не проста.
Я в лучах твоей туманности
Понял юного Христа.
Проглянул сквозь тучи прежние
Яркий отблеск неземной.
Нас колышет безмятежнее
Изумрудною волной.
Я твоей любовной ласкою
Озарен — и вижу сны.
Но, поверь, считаю сказкою
Небывалый знак весны.

⁶ Этот абзац («Post-Scriptum») — вне текста письма. Это как бы автокомментарий, дневниковая запись.

⁷ См. стихотворения: «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 г.), «Мы преклонились у Завета...» (18 января 1902 г., с пометой: «Исаакиевский собор») и «Мы в храме с тобою — одни, смущены...» (март 1902 г.). Ср. воспоминания Л. Д. Менделеевой (стр. 37—38 наст. тома).

⁸ Свидригайлов — персонаж романа Достоевского «Преступление и наказание». Имеется в виду сцена встречи Свидригайлова и Раскольникова в трактире возле Сенной площади (ч. VI, гл. 3).

* В Москве я видел его же. (Позднейшее примечание Блока. — Ред.)



БЛОК ПЯТИ ЛЕТ

Фотография, 1885

Центральный архив литературы и искусства, Москва

⁹ Палата мер и весов (на Забалканском проспекте), в здании которой находилась казенная квартира Д. И. Менделеева.

¹⁰ Книжный магазин Глазунова.

¹¹ О «разрыве» 29 января 1902 г. см. примеч. 1 к письму № 3.

¹² См. выше, примеч. 5.

¹³ Парфюмерный магазин Р. Келера.

¹⁴ Накануне, 28 августа, Блок писал своему другу А. В. Гиппиусу: «...Я приеду в город 1 сентября уже, в день, когда начнутся лекции. Пора уезжать отсюда. Лето прожито мной серовато. Осень — лучше. Осенью и всегда-то больше красок и больше жизни. В этом году мне почти чуждо то, что Вы пишете об умирающей грусти. У ме-

ня — «горящих осень ищет взоров» (Фет). Ездил на сутки в Москву, смотрел главным образом Кремль. Впечатлений так много, что лучше передать их изустно, тем более, что некоторые из них опять-таки отвлеченны. А большой отвлеченности в последние дни и мне уже даже не требуется. Вы же также устали от нее — да и все устали — мои родные и знакомые. В этом году у меня не было и спектаклей (т. е. сам я ни в одном не участвовал). С летом счеты сведены, с здешней осенью — тоже. Ничего мне не прибавилось (или «почти» ничего), а убавилось ли — не знаю. Физически чувствую себя бодрым, не устаю от сорокаверстных поездок верхом. Остается — петербургская осень (все из того же еще цикла впечатлений). Зима — совсем иначе. Должен сказать вам, что с некоторых пор у меня нравственно открыт рот от удивления на многие события, касающиеся лично меня» (VIII, 43—44).

8¹

16 сентября <1902. Петербург>

Прошу Вас прочесть это письмо до конца. Оно может быть интереснее, чем Вы думаете. Я, пишущий эти строки (он же — податель письма), не думаю говорить ничего обыкновенного. Потому не примите скандальную обстановку за простые уловки с моей стороны. Дело сложнее, чем кажется.

Приступлю прямо к делу. Четыре года тому назад я встретил Вас в той обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбляться. Этот последний факт не замедлил произойти тогда же. Умолчу об этом времени, потому что оно слишком отдаленно. Сказать можно не мало, однако — не стоит. Теперь положение вещей изменилось настолько, что я принужден уже тревожить Вас этим документиком не из простой влюбленности, которую всегда можно скрывать, а из крайней необходимости. Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинственной и мало постижимой связи между мной и Вами. Слишком долго и скучно было бы строить все перебранные уже мной гипотезы, тем более, что все они, *как и должно быть*, бездоказательны. Потому я ограничиваюсь констатированьем своего внутреннего убеждения, которое (продолжаю) приводит меня *пока* к решению, вероятно довольно туманному для Вас. Для некоторого пояснения предварительно замечу, что т.н. жизнь (среди людей) имеет для меня интерес только там, где она соприкасается с Вами (это, впрочем, чаще, чем Вы можете думать). Отсюда совершенно определенно вытекает то, что я стремлюсь давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть хоть Вашим рабом что ли — простите за тривиальности, которые не без намеренья испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко и в сущности даже недостижимо (об этом еще будет речь), однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать). Другое оправдание (если нужно оправдываться) — все-таки хоть некоторая сдержанность (Вы, впрочем, знаете, что она иногда по мелочам нарушалась). Итак, веруя, я хочу сближений — хоть на какой-нибудь почве. Однако, при ближайшем рассмотрении, сближение оказывается недостижимым прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не ропщу и не дерзну роптать), а далее — потому что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай отношений. Я уж не говорю о трудностях, заключающихся во внешней жизненной обстановке, которые Вам хорошо известны. — Таким образом все более теряя надежды, я и прихожу *пока* к решению.

2

¹ Черновик незаконченного письма, записанный в дневнике.

² Строка точек — в подлиннике.

9

⟨18 сентября 1902. Петербург⟩
 Петербургская Сторона
 Гренадерские казармы, кв. 7

Многоуважаемая Любовь Дмитриевна.

Сегодня я видел в университете Александра Павловича Ленца¹. Его сестра сегодня же была на курсах, а брат поступил на математическое отделение в университет. Живут они там же, где в прошлом году (Николаевская 84). Извините, что сообщаю Вам это не лично, а письменно, не имел времени зайти раньше завтрашнего дня, а так — скорее.

Пожалуйста, кланяйтесь от меня Вашей маме.

Преданный Вам Ал. Блок

18 сент. 1902.

¹ Ленцы — знакомые Менделеевых и через них — Блока.

10¹

31 октября ⟨1902. Петербург⟩
 Перед ночью

Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас, незримый. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким-нибудь образом не ощущаете этого? Не верю этому, скорее думаю наоборот. Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета. Это случается по вечерам и по ночам — на улице. Тогда мое внешнее спокойствие и доблесть не имеют границ, настойчивость и упорство — тоже. Так уже давно и все больше дрожу, дрогну. Где же кризис — близко или еще долго взбираться? Но остаться с Вами, с Вами, с Вами...

¹ Черновик неотправленного письма или дневниковая запись, обращенная к Л. Д. Менделеевой.

11¹

⟨10 ноября 1902. Петербург⟩²

Ты — мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. Играй ей, если это может быть Тебе Забавой. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе. Твое Имя здешнее — великолепное, широкое, непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты — Звезда, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя неизреченную. Не принимай это как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь ни там. И Ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя. И я везде для Тебя блаженный и без сомнений, в конечном безумии, в последнем сумасшествии совершу все, что Ты велишь — все великое, как убийство, все малое, все ничтожное, серое, — и оно уже не будет серым и малым, потому что сойдет от Тебя, в Твоем тайном и сладостном велении. Мои мысли все бессильны, все громадны, все блаженны, все о Тебе, как от века, как большие, белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе. Если Тебя посетит уныние, здешняя, земная, неразгаданная скорбь, тайна земная и темная, я возвеличу Тебя, возликую

близ Тебя, окружу Тебя цветами великой пышности, обниму Тебя и буду шептать Тебе все очарования, и шопот мой, и голос мой будет, как шум водный, и я найду для Тебя слова и звуки священные, царственные, пророческие. Я найду все и вскрою все тайное, ибо я недаром ждал Тебя, звал и тосковал о Тебе и провидел смутно, но наяву, близко и далеко вместе — Твои откровения, которых я и до сей поры не могу постичь и измерить, — то, что Ты назвала мое имя и сошла ко мне. Напиши мне только слово, только черту от Твоей руки, как вздох и память, символ и знак. Я не могу видеть Тебя, потому что болен и жар, но я знаю Тебя и чувствую Тебя. Все проникнуто Тобой, и моему счастью нет границы и меры, как у меня нет слов и нет логики, один оглушающий звон, благовест, звуки Любви, «сны, наяву непробудные»³. Я не знаю, в чем мне клясться Тебе, и клянусь Тобой, моя Любовь. Вот Тебе стихи, глупая, сонная сказка, недосказанная и недостойная Твоей Неизреченной Красоты. Я — Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом. И прости за бессилие этих слов.

Безмолвный призрак в терему,
Я черный раб проклятой крови.
Я соблюдаю полутьму
В Ее нетронutom алькове.

Я стерегу Ее ключи
И с Ней присутствую незримо,
Когда скрещаются мечи
За красоту Недостижимой.

Мой голос глух, мой волос сед.
Черты до ужаса недвижны.
Со мной всю жизнь — один Завет:
Завет Служенья Непостижной⁴.

¹ Первое письмо, посланное после решительного объяснения с Л. Д. Менделеевой, которое произошло в ночь с 7 на 8 ноября 1902 г. В «Воспоминаниях» она подробно рассказывает об этом поворотном событии в их отношениях (см. ниже, на этой стр.).

² Дата почтового штемпеля. В дальнейшем следует учесть, что письма, датированные датой почтового штемпеля, как правило, писались накануне.

³ Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Вижу очи твои изумрудные...»

⁴ Стихотворение было написано 18 октября 1902 г. В окончательной редакции шестой стих читается: «И с Ней присутствую, незримый».

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой - Блок:

«Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И мне вдруг стало ясно — объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали. Дальше все было очень странно, если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.

Я была на вечере с моими курсовыми подругами Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, недалеко от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала: сейчас покажется на ней Блок.

Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе; по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное



НА КРЫЛЬЦЕ ДОМА В ШАХМАТОВЕ

Слева направо: Блок, М. А. Бекетова, П. Н. Бекетов, А. Н. Бекетов, А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, А. А. Кублицкая-Пиоттух, Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух

Фотография, 1894

Центральный архив литературы и искусства, Москва

чувство — что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли. помимо моей воли. Вечер проводили как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так, часа в два он спросил, не устала ли я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.

Мы вышли молча и молча, не сговариваясь, пошли вправо по Итальянской, к Моховой, к Литейной — нашим местам. Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал — не помню, но когда мы подошли к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что если и прощу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для него вопрос жизни в том, как я приму его слова и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически.

В каких словах я приняла его любовь, что сказала, — не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если бы не мой ответ,

утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший, со следами снега:

«В моей смерти прощу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую во едину святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Поэт Александр Б л о к.

Мой адрес: Петербургская сторона, казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. полковника Кублицкого № 13.

7 ноября 1902 года. Город Петербург» (воспроизведение записки см. на стр. 65).

Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни.

Думаете, началось счастье? Началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств, подлинного упоения молодостью для меня, и слои недоговоренностей и его и моих, чужие вмешательства — словом, плацдарм, насквозь минированный подземными ходами, тающими в себе грядущие катастрофы.

Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе, но я обещала написать непременно 8-го. Проснувшись на другое утро, я еще вполне владела собой, еще не поддавалась надвигавшемуся «пожару чувств», и первое мое смешливое побуждение было пойти рассказать Шуре Никитиной о том, что было вчера. Она иногда работала за отца корректором в газете «Петербургский листок», я подождала ее выхода, провожала домой и со смехом рассказывала: «Знаешь, чем кончился вечер? Я целовалась с Блоком!..»

Отправленная мной записочка совершенно пуста и фальшива уже потому, что никогда в жизни не называла я Блока, как в его семье, «Сашурой».

Но на этом мои конфиденции Шуре Никитиной и прекратились, потому что 9-го я расставалась с Блоком замороженная, взбудораженная, покоренная. Из Казанского собора мы пошли в Исаакиевский. Исаакиевский собор, громадный, высокий и пустой, тонул во мраке зимнего вечера. Кой-где, на далеких расстояниях, горели перед образами лампады или свечи. Мы так затерялись на боковой угловой скамье, в полном мраке, что были более отделены от мира, чем где-нибудь. Ни сторожей, ни молящихся. Мне не трудно было отдаться волнению и «жару» этой «встречи», а неведомая тайна долгих поцелуев стремительно пробуждала к жизни, подчиняла, превращала властно гордую девичью независимость в рабскую женскую покорность.

Вся обстановка, все слова — это были обстановка и слова наших прошлогодних встреч, мир, живший тогда только в словах, теперь воплощался. Как и для Блока, вся реальность была мне преображенной, таинственной, запевающей, полной значительности. Воздух, окружавший нас, звенел теми ритмами, теми тонкими напевами, которые Блок потом улавливал и заключал в стихи. Если и раньше я научилась понимать его, жить его мыслью, тут прибавилось еще то «десятое чувство», которым влюбленная женщина понимает любимого.

Чехов смеется над «Душечкой». Разве это смешно? Разве это не одно из чудес природы, эта способность женской души так точно, как по камертону, находить новый лад? Если хотите, в этом есть доля трагичности, потому что иногда слишком легко и охотно теряют свое, отступают, забывают свою индивидуальность. Я говорю это о себе. Как взапуски, как на пари, я стала бежать от всего своего и стремилась тщательно ассимилироваться с тоном семьи Блока, который он любил. Даже почтовую бумагу переменила, даже почерк. Но это потом. Пока поджидало меня следующее. На другой день мы опять встретились у Исаакиевского собора, но лишь мимолетно. Блок сказал, что пришел только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он только умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. Мы условились писать друг другу каждый день, он — ко мне на курсы...

«Мой адрес» Поэт Александр Б л о к». — Эта записка была опубликована в «Лит. наследстве», т. 27—28 (1937), стр. 370. См. наст. том, стр. 65. ...*Волнению и жару этой встречи.* — См. также стихотворение Блока «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 г.).

12

⟨12 ноября 1902. Петербург⟩¹

Мой Ангел, моя Возлюбленная, ради Себя Самой прости меня за то, что я не писал вчера. Верь мне, что минута забвения о Тебе — мне все равно, что последняя минута, смерть без исхода. Верь мне, что я с Тобой вечно, неизменно, во всех обстоятельствах, во все часы, глубоко и страстно торжествуя, праздную последний сон свидания, жажду Тебя бесконечно. Мне препятствует теперь проклятое благоразумие, и я подчинюсь ему только для будущего, для неизмеримо-радостного. Я не знаю, когда это, наконец, возможно, клянусь Тебе, что сделаю все, что в моих силах. Я хочу быть перед Тобой полным бодрости и духовной силы, а Любовь не измерится и не погаснет ни теперь, ни после, никогда. Я клянусь Тебе, что Любовь к Тебе больше моей жизни и моей смерти, больше всего во вселенной, звенящая, ликующая, что мне мало трех жизней², мало вечности, мало человеческой силы, чтобы выразить Тебе, высказать хоть ближе к Вечной Неподвижной Правде все, чем Ты была, есть и будешь для меня. И песен моих мне мало, и часто я жалею о них, о их бледности, о самой невозможности языка человеческого сказать все, что бессильно вырывается и не может прорваться. Нужны церковные возгласы, новые храмы, небывало целомудренные, девственные одежды, неслыханные, нездешние голоса и такие своды, которым и конца нет. И звук уйдет и не вернется больше, — тогда я узнаю и поверю, что он был истинно великолепен и истинно непомерен, что Ты приняла его достойного, не одетого в эти жалкие, хоть и царские, лохмотья земной поэзии. Чтобы оттуда в наш поэтический сумрак просился новый и «беззакатный день»³. Ты — Заря моя, Ты взглянула на всю мою ночь, на все бесчисленные обломки моей души, на дымный красный костер, бог знает как, откуда, что шепнуло Тебе, что все это истинно Твое, хоть такое разбитое, разнокалиберное, неединое? Я перед Тобой, коленопреклоненный, клянусь Тебе, что это так, что мне без Тебя — смерть, а с Тобой — Любовь.

Твой, пока живу, пока дышу, до конца.

Пиши мне еще, ради бога, что Ты пишешь — несказанно⁴.

¹ Дата почтового штемпеля: 13 ноября 1902 г.

² «Мне хоть три жизни дайте, — мне и тех будет мало», — говорит Аркадий Долгорукий, герой романа Достоевского «Подросток» (часть I, глава IV, 2).

³ Выражение Фета — в стихотворении «Среди звезд»:

Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной
Ты думы вечно догоняешь тень;
Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный
К тебе просился беззакатный день.

⁴ Л. Д. Менделеева писала (почтовый штемпель 11 ноября 1902 г.): «Долго мы еще не увидимся? Боже мой, как это тяжело, грустно! Я не в состоянии что-нибудь делать, все думаю, думаю без конца о тебе, все перечитываю твоё письмо, твои стихи, я вся окружена ими, они мне поют про твою любовь, про тебя, и мне так хорошо, я так счастлива, так верю в тебя... Только бы не эта неизвестность! Ради бога, пиши мне про себя, про свою любовь, не давай мне и возможности сомнений, опасения!» И в другом письме (почтовый штемпель 12 ноября): «Мой бесконечно дорогой, милый, единственный! Нет у меня слов, чтобы сказать тебе все, чем полна душа, нет выражений для моей люб-

ви, я не умею сказать, как мне хочется скорей, скорей быть опять с тобой... Прости мне, что я мало пишу тебе и ничего не умею высказать! Но ведь ты, я знаю, ты должен меня понять, должен почувствовать, что я живу и жила лишь для того, чтобы давать тебе счастье и что в этом мое единственное блаженство, назначение моей жизни....

13

⟨13 ноября 1902. Петербург⟩¹

Моя дорогая, я могу написать Тебе только несколько слов, прости меня, у меня 40 градусов жару. Это пустяки, но писать трудно. Я люблю Тебя страстно и навек. Напиши мне несколько слов. Прости, до свиданья, люби меня. Твой до конца.

¹ Дата почтового штемпеля нечетлива: 13 или 14 ноября 1902 г.

14

⟨14 ноября 1902. Петербург⟩

Моя Милая, мое Сердце, я боюсь Тебя, боюсь, что Ты забудешь меня, потому что все в мире бесследно теряется, точно куда-то ушло, кануло в вечность. И это особенно в здешней напряженной блестящей жизни городов, где всюду манит безмирная, безликая маска. Ты знаешь, что я никому во всем мире не верю так, как Тебе, потому что больше Тебя для меня ничего нет. Но боюсь, потому что человек. Напиши мне только два слова. Я ведь пойму многое, даже то, почему Ты не пишешь теперь. И если очень трудно писать, потому ли, что лучше говорить, или по другому, тогда не пиши совсем. Мне бесконечно легче знать, что Ты во всем вполне свободна, моя Возлюбленная, Дорогая, Милая, Нежная. Помни всегда, что я безмолвен перед Тобой и раб, слабый сердцем, и всему покорен, и бесконечно недостоин. И мне ли просить Тебя? Я люблю Тебя, мое Вдохновение, моя Полная и Совершенная Красота, и хочу говорить с Тобой о многом, «умном» и «неумном», небесном и земном. Но это приходится отложить до времени, ибо нужно выздороветь и «исполнить всякую правду»², чтобы жить и дышать около Тебя, если Ты позволишь, и умереть, если Ты потребуешь.

Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
Зеленю, таинственный клен,
Неизменно склоненный к Тебе.

Теплый ветер пройдет по листьям, —
Задрожат от молитвы стволы,
На лице, обращенном к звездам —
Ароматные слезы хвалы.

Ты придешь под широкий шатер
В мои бледные, сонные дни.
Заглядеться на милый убор,
Размечтаться в зеленой тени.

Ты одна, влюблена и со мной,
Нашепчу я таинственный сон,
И до ночи — с тоскою — с Тобой,
Я с Тобой, зеленеющий клен.

Это еще летнее стихотворение ³.

Люблю Тебя.

Твой ⁴.

¹ Дата почтового штемпеля.

² «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» — цитата из Евангелия от Матфея, III, 15.

³ Стихотворение было написано 31 июля 1902 г.

⁴ В ответном письме (почтовый штемпель 15 ноября 1902 г.) Л. Д. Менделеева писала: «Как напугало меня твое первое письмо, мой дорогой, как я раскаивалась, что не бросила вчера всех и все, чтобы сходить за ним на курсы! Но, слава богу, скоро пришло и второе, ты можешь мне писать, тебе лучше! Да теперь ты скоро, скоро поправишься. Бог должен услышать мою молитву, потому что я молилась за тебя в Казанском соборе, со всей моей любовью и бесконечной верой...».

15

⟨15 ноября 1902. Петербург⟩¹

Моя Дорогая, моя Несравненная, Ты напрасно думаешь, что мне так плохо и тяжело. Все мое несчастье в том, что я не могу раньше срока выходить из дому, а жар и все прочее бывает при всех болезнях, для меня же тяжелы совсемне они, а связанность и неизвестность. Я совсем не знаю, когда, наконец, увижу Тебя. К Тебе стремительно направлены все мои помыслы и желания. Твои письма неизведанно прекрасны, они мне праздник и свет. Люблю Тебя той несгорающей любовью, в которой сгорает все, кроме нее самой. Все эти мысли, неотвязные и часто тяжелые, об этих живых и мертвых Антихристах и Христах, иногда превращающиеся в какое-то недостойное ремесло, аппарат для повторений, разговоров и изготовления формул, — все они, преследуя меня и теперь, расцвечены и схвачены, и освящены, и умудрены Твоей Великой и Пышной близостью ко мне. И все они часто разбиваются у ног Твоих, как маленькие и безвредные волны, вздохи искренние, но недостаточно могущественные для того, чтобы пересилить то, чем владею я. А если бывает жар, то после него все яснее и Ты — Новое Торжество. И чувствуется глубокая мудрость, иначе даже трудно назвать это, потому что здесь говорю не о мудрости ума, а о мудрости всего существа. Чувство: то прошло, раскалилось и перегорело в сознании, а Это — здесь, при мне и будет при мне. Завидуйте. Ты — моя Обетованная Земля, и мне еще много нужно сказать Тебе и многим дохнуть на Тебя, и многое услышать, и многому учиться у Тебя. Ты — Первая Истина, которую я ощутил (а не понял), — сама Жизнь, и главное — моя Жизнь, мое Бытие и тот Закон, «его же мне не переступить». Те «боги, скитальцы и дети» гасят свой небосвод и скрываются от меня в пучинах мрака ². Это — я сам — бывший, прежний, «умный». А теперь — вот я — новый и юный. Это случилось оттого, что Ты — здесь. Здесь — мое сердце, мой разум и моя воля, мое единое и многое. Все цвета, как одна Белая Голубица — Ты. И вот — Ангел моего Завета. Напиши, умоляю Тебя, Очаровательная, Волшебная, Прелестная.

¹ Дата почтового штемпеля.

² «Боги, скитальцы и дети» — цитата из стихотворения Блока «Хранила я среди младых созвучий...» (17 октября 1901 г.): «Идите прочь, скитальцы, дети, боги!» Среди незавершенных стихотворных набросков Блока, относящихся к февралю 1902 г., есть один, который начинается строкой: «Боги гасят небосвод...» (см. I, 488).

В дневнике Блока 1901—1902 гг. записи о встречах с Л. Д. Менделеевой, черновики неотправленных писем к ней перемежаются с заметками литературного и фило-



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА

Фотография, 1898

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

софского содержания, в которых уже в это время ощущается стремление поэта отделить свой светлый поэтический мир от декадентского «мрака» и «изготовленных формул» чуждого ему мировосприятия. Образ возлюбленной был для Блока олицетворенным символом такого мира (ср. в письме 20 ноября 1902 г. — «Солнце моего Мира»). Задумав статью о русской поэзии, он записал в дневнике: «Это критика от наболевшей души, которая стремится защитить от современников белые и чистые святыни. Кроме того — это труд малый, но вдохновенный — его-то желаю я оставить по себе, кроме песен. <...> Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные; хорошие — это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение); дурные — те, кому это имя принадлежит как по-существу, так и этимологически. Заранее оговорившись относительно терминов, легче разобратся. Будем же понимать под словом декадент то, что это слово значит — именно: упадок, ибо другие значения, навязываемые ему (отчего это происходит — скажу ниже), очевидно совершенно чужды. <...> Декадентство — «désaffecté» — упадок» (VII, 21—26).

Вспоминая об этом времени, Л. Д. Блок отмечала свое психологическое несходство с большинством людей из круга символистов: «Я была по складу души, по способу



БЛОК

Фотография. 1898

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ощущения и по устремленности мысли другая, чем соратники Блока эпохи русского символизма. Отставала? В том-то и дело, что теперь мне кажется — нет. <...> Может быть, от символизма меня отделяла его все же какая-то нарочитость, правда, предпринятая борьбой с предшествующей эпохой тенденциозности, но был он гораздо менее от этой же тенденциозности свободен, чем того хотел бы, чем должно искусству большой эпохи».

Что писать, когда мое сердце страстнее и звонче всех слов? Я с Тобой и больше ничего не вижу. Ты — здесь, шепчущий голос, певучая мысль. Весна моей души, Лель приветный² и сладостный, до свиданья! Мне ничего не нужно больше, чем видеть Тебя. «Людские так грубы слова — их даже нашептывать стыдно»³, и мне невозможно сказать Тебе, что я чувствую теперь, в эту минуту.

Прекрасней Тебя — нет. Желанней Тебя — нет. Обольстительней Тебя — нет. Ты — вся женственность, не оставившая женщины, и женщина, не возмущающая женственности. Верь мне, что этого таинственного и редкого в мире сочетания почти никогда нельзя встретить. Это граничит с невозможностью, для этого нужно то, чего нет у других, такую силу прелести и всех совершенств, которые почти не сочетаемы в одном. Но я люблю тебя не за это. Я люблю Тебя так, ни за что, зная все и понимая по крайней мере неизмеримость Твоей Величайшей Красоты! И эта любовь верная и неисходная. Ни за что, не «за муки» и не «за сострадание к ним» ⁴, а без причины, без цели, по велению Ангела моего, сохраняющего меня во всех путях. *Потому что Ты встретила со мной*, потому что это единственная настоящая встреча. *И Ты пожелала*. Ты — Святая, Великая, Недостижимая, о Которой я не мог мыслить без страха; Ты, у которой «волна кудрей» светла, «как колос спелый» ⁵. Ты, о Которой после каждой, даже мимолетной, встречи я думал без конца, так что все сердце обливалось горячими и страстными волнами. Ты — Красавица, лучше Которой я не знал и не видел.

Ты вечером (или ночью) 7 ноября слушала мои бессмысленные, сбивчивые слова просто и без гнева. Я не знаю, что это было. Лучше пока не вспоминать об этом. Что же все остальное после этого, все, что окружает меня, как не пустота и не бессилие?

Боже мой, дай мне скорее возможность еще раз узнать, что это — сон или явь?

Т в о й, очарованный, овеянный Твоими Великими Снами.

¹ Дата почтового штемпеля.

² *Лель* — бог любви в славянской мифологии. См. стихотворение Блока «Приветный Лель, не жду рассвета...» (29 января 1900 г.).

³ Начальные строки стихотворения Фета.

⁴ Цитата из трагедии Шекспира «Отелло» в переводе П. И. Вейнберга.

⁵ Источник цитаты не установлен.

17

(18 ноября 1902. Петербург) ¹

Эти письма я пишу большей частью поздним вечером, когда уж никто не может помешать, и когда в тишине станут всходить передо мной с новой ослепительной силой Твои черты, глаза, волосы, слова прежние и нынешние. Духом чистым и высоким веет оттуда, из города затихающего, замирающего, дремлющего. Что бывает ночью, того не может быть днем. Говорили когда-то, что, когда мы были детьми, мы гуляли и встречались ². Ни одно совпадение не бывает случайностью. На языке, например, Боткиных (если я точно передаю) в прошлом году это называлось «друзья детства». И все в прошлом еще году было не меньше странно и кошмарно, потому что мне, вырвавшемуся только теперь из чада полного опьянения, полного чувства невозможности видеть когда-нибудь одну Твою настоящую улыбку, — мне припоминаются теперь мои поступки, с наглядностью показывающие неумеренность и недостаточную скрытность с моей стороны. Я боюсь только того, что для Тебя в этом было что-нибудь оскорбительное, потому что некоторые (между кот<орыми> были и достаточно зоркие) не могли этого не заметить.

Еще я боюсь того письма, которое я послал вчера в белом конверте с бледной надписью, потому что в тот же день послал Твоей маме программу концерта в сером конверте с черной надписью. Напиши мне, можно ли писать к Тебе еще или *всегда* на курсы. Женщины, особенно матери, страшно чутки ³.

Моя Божественная, Милая, Ласковая, я пишу все что-то чиновничье и вялое и, право, не потому, что не расположен писать, а потому что все это меня действительно тревожит. А еще, я чувствую вдруг в эти дни, что я ужасно много видел и узнал в жизни, и мне уже хочется иногда, так близко от Тебя, ощутить неподвижность настоящего ключа этой жизни⁴, верного и единственного, «от нужд и бед Тебя опасая, как тяжелый, ударами избитый щит»⁵. И потому я пишу сегодня о житейском. Люблю Тебя, как никого и никогда мне не снилось любить. Прежде я видел Тебя в вещих снах. Такие странные и яркие, большей частью осенние, и потому я люблю осень и Тебя, и желтый и красный дикий виноград на Бобловском балконе⁶.

¹ Дата почтового штемпеля.

² Биограф Блока, его тетка М. А. Бекетова, пишет: «Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой два, они встречались на прогулках с нянями... Сознательно они встретились в первый раз в Боблове, когда Ал. Ал. было 14, а Л. Дм. — 13 лет» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Изд. 2. Л., 1930, стр. 61). Через три года отношения «друзей детства» приобрели совершенно иной характер.

³ Л. Д. Менделеева в ответном письме (почтовый штемпель 18 ноября 1902 г.) писала: «Мой дорогой, ниши мне и домой, и на курсы, только как можно чаще, больше! Я теперь и живу только ожиданием твоих писем, перечитываю их без конца, хочу через них понять и прочувствовать все, что у тебя на душе. И в то же время я в последнем письме все надеюсь прочитать, что тебе лучше, что мы скоро увидимся. Господи, да когда же это будет? А знаешь, я на тебя вчера чуть не обиделась. Утром я каждую минуту ходила смотреть, нет ли письма от тебя; наконец, твой конверт, твой почерк... и вдруг письмо маме! Сначала я, я не знаю чего-то, невыносимо испугалась; но мама ничего не говорит, значит — бояться нечего, и мне стало обидно и больно, до самого твоего письма, вечером. Оттого я и не написала тебе вчера, мне не хотелось упрекать тебя, не зная, в чем дело, а писать другое я не смогла бы. Я пишу все эти глупости, чтобы ты понял, в каком я теперь приподнятом, напряженном состоянии; я готова малейшее молчание, малейшее холодное слово истолковывать в самую невероятную, дурную сторону... И какое счастье, какая радость — твой слова любви, когда я перечитываю их, я спокойна и счастлива, и так благодарна тебе за них, и так люблю тебя, люблю, люблю без конца!»

⁴ Ср. в стихотворении Блока «Снова ближе вечерние тени...» (14 октября 1901 г.):

Чуть во мраке светильник завижу,
Поднимусь и, не глядя, лечу.
Ты ж и в сумраке, милая, ближе
К неподвижному жизни ключу.

⁵ Неточная цитата из стихотворения Я. П. Полонского «Холодная любовь»:

Любовь моя давно чужда мечты веселой,
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.

⁶ О посещениях Блоком Боблова Любовь Дмитриевна писала в воспоминаниях (см. ниже).

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«О день, роковой для Блока и для меня! Как был он прост и ясен! Жаркий, солнечный июньский день, расцвет московской флоры. До Петрова дня еще далеко, травы стоят некошеные, благоухают. Благоухает душица, легкими, серыми от цвета колосянками обильно порошащая траву вдоль всей «липовой дорожки», где Блок увидал впервые ту, которая так неотделима для него от жизни родных им обоим холмов и лугов, которая так умела сливаться со своим цветущим окружением. Унести с луга

в складках платья запах нежно любимой, тонкой душицы, заменить городскую прическу туго заплетенной «золотой косой девичьей», из горожанки перевоплощаться сразу по приезде в деревню в неотъемлемую часть и леса, и луга, и сада, инстинктивно владея тактом, уменьем не оскорбить глаз какой-нибудь неуместной тут городской ухваткой или детальною одеждой — это все дается только с детства подолгу жившим в деревне, и всем этим шестнадцатилетняя Люба владела в совершенстве, бессознательно, конечно, как, впрочем, и вся семья.

После обеда, который в деревне кончался у нас около двух часов, поднялась я в свою комнатку во втором этаже и только что собралась сесть за письмо — слышу: рысь верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь и спрашивает у кухни, дома ли Анна Ивановна? Из моего окна ворот и этой части двора не видно; прямо под окном — пологая, зеленая железная крыша нижней террасы, справа — разросшийся куст сирени загораживает и ворота и двор. Меж листьев и ветвей только мелькает. Уже зная подсознательно, что это «Сапа Бекетов», как говорила мама, рассказывая о своих визитах в Шахматово, я подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь.

Автоматически подхожу к зеркалу, автоматически вижу, что надо надеть что-нибудь другое, мой ситцевый сарафанчик имеет слишком домашний вид. Беру то, что мы так охотно все тогда носили: батистовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, суконная юбка, кожаный кушак. Моя блузка была розовая, черный маленький галстук, черная юбка, туфли кожаные коричневые, на низких каблуках. Шляпы в сад я не брала.

Входит Муся, моя насмешница — младшая сестра, любимым занятием которой было в то время потешаться над моими заботами о наружности: «Mademoiselle велит тебе идти в Colonie, она туда пошла с шахматовским Сашей. Нос напудри!» Я не сержусь на этот раз, я сосредоточена.

Colonie — это в конце липовой аллеи наши бывшие детские садики, которые мы разводили в главе с mademoiselle, не меньше нас любившей и деревню и землю. Говорят, липовая аллея цела и посейчас, разросшаяся и тенистая. В те годы липки были молодые, лет десять назад посаженные, еще подстриженные, не затенявшие целиком залитую солнцем дорожку. На полпути к Colonie деревянная скамейка, лицом к солнцу и виду на соседние холмы и дали. Дали — красу нашего пейзажа.

Подходя немного сзади через березовую рожицу, вижу, что на этой скамейке и «занимает разговорам» mademoiselle сидящего спиной ко мне. Вижу, что он одет в городской темный костюм, на голове мягкая шляпа. Это сразу меня как-то отчуждает: все молодые, которых я знаю, в форменном платье. Гимназисты, студенты, лицеисты, кадеты, юнкера, офицеры. Штатский? — Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый». Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овевая светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У нас у всех ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало в то время человеку «актерский» вид — интересно, но не наше. Так, как с кем-то далеким, повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил не скоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, спуская веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели. Мы — это моя кузины Менделеевы, Сара и Лида, их подруга Юлия Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Кузьму Пруткова, целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «O yes, mein Kind» *. А так как это обращалось иногда

* О, да, мое дитя (англ. и нем.).

Въ моей смерти
прошу никого не
винить. Пришли
из Москвы „отшель-
ники“ и киево-общаго
съ „словесниками“
отношения не имее-
ют. Возвращаясь в Одессу
Светлую Соборную и
Апостольскую Церковь.
Такъ Воскресения мертвых.
И Жизнь Будущая
Всё. Аминь.
Поэтъ Александр Блок.

Мой адрес: Петербург-
ская Страница, Казарин
Л. П. Трехдверная комна-
та, полковника Курбасова
№ 13.

Декабрь 1902 года.
Городъ Петербургъ.

ЗАПИСКА БЛОКА 7 НОЯБРЯ 1902 г.

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

и прямо к тебе, то и это смущало некорректностью, на которую было неизвестно, как реагировать.

В первый же этот день кузины пришли вскоре, проводили время вместе, условились о спектаклях, играли в «хальму» и крокет. Пошли в парк к Смирновым, нашим родным; это была громадная семья — от взрослых барышень и студентов до детей. Играли все вместе в «пятнашки», в горелки. Тут Блок стал другой, вдруг свой и простой, бегал и хохотал, как и все мы, дети и взрослые.

В первые два-три приезда выходило так, что Блок больше обращал внимания на Лиду и Юлию Кузьмину; они умели ловко болтать и легко кокетничать и без труда попали в тон, который он вносил в разговор. Обе очень хорошенькие и веселые, они вызывали мою зависть. Я была очень неумела в болтовне и в ту пору была в отчаянье от своей наружности. С ревности и началось.

Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека, который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время считала пустым фатом, стоящим по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась; поцелуй, объятия — это было где-то далеко-далеко и нереально. Что меня не столько тянуло, сколько толкало к Блоку?.. «Но то звезды веленья», — сказал бы Леонор у Кальдерона. Да, эта точка зрения могла бы выдержать самую свирепую критику, потому что в плане «звезды» все пойдет потом как по маслу: такие совпадения, такие удачи в безнаказанности самых смелых встреч среди бела дня — что и не выдумаешь! Но пока допустим, что Блок, хотя и не воплощал моих девчачьих баброническо-лермонтовских идеалов героя, был все же и наружностью много интереснее всех моих знакомых, был талантливым актером (в то время ни о чем другом, о стихах, тем более, еще и речи не было), был фатоватым, но ловким «кавалером», и дразнил какой-то непонятной, своей мужской, неведомой опытностью (это что? кажется,

из Толстого?) и жизнью, которая не чувствовалась ни в моих бородатых двоюродных братьях, ни в милом и симпатичном, понятном Суме, студенте, репетиторе брата.

Так или иначе, «звезда» или «не звезда», очень скоро я стала ревновать и всеми внутренними своими «флюидами» притягивать внимание Блока к себе. С внешней стороны я, по-видимому, была крайне сдержанна и холодна, — Блок всегда это потом и говорил мне и писал. Но внутренняя активность моя не пропала даром, и опять-таки очень скоро я стала уже с испугом замечать, что Блок, — да, положительно, — перешел ко мне, и уже это он окружает меня кольцом внимания. Но как все это было не только не сказано, как все это было замкнуто, сдержанно, не видно, укрыто! Всегда можно сомневаться, да или нет? Кажется или так и есть?

Чем говорили? Как давали друг другу знак? Ведь в этот период никогда мы не бывали вдвоем, всегда или среди всей нашей многолюдной молодежи, или, по крайней мере, в присутствии mademoiselle, сестры, братьев. Говорить взглядом мне и в голову не могло прийти; мне казалось бы это даже больше, чем слова, и во много раз страшнее. Я смотрела всегда только внешне-светски и при первой попытке встретиться по-другому мой взгляд, уклоняла его. Вероятно, это и производило впечатление холодности и равнодушия.

«Нет конца лесным тропинкам...» — это в Церковном лесу, куда направлялись почти все наши прогулки. Лес этот — сказочный, в то время еще не тронутый топором. Вековые ели клянут шатрами седые ветви; длинные седые бороды мхов свисают до земли. Непролазные чащи можжевельника, бересклета, волчьих ягод, папоротника, местами земля покрыта ковром опавшей хвои, местами заросли крупных и темнолистных, как нигде, ландышей. «Тропинка вьется, вот-вот потеряется». «Нет конца лесным тропинкам». Мы все любили Церковный лес, а мы с Блоком особенно. Тут бывало подобие прогулки вдвоем. По узкой тропинке нельзя идти гурьбой, вся наша компания растягивалась. Мы «случайно» оказывались рядом. Помолчать рядом в «сказочном лесу» несколько шагов — это было самое красноречивое в наших встречах. Даже красноречивее, чем потом, по выходе из леса на луговины соседней Александровки, переправа через Белоручей — быстрый, студеный ручей, журчащий и посейчас по разноцветным камушкам. Он не широк, его легко перепрыгнуть, ступив один раз на какой-нибудь торчащий из воды большой валун. Мы всегда это легко проделывали одни. Но Блок опять-таки умудрялся устроиться так, чтобы без невежливости протянуть для переправы руку только мне, предоставляя Суму и братьям помогать другим барышням. Это было торжество, было весело и задорно, но в лесу, понятно, было большее.

В «сказочном лесу» были первые безмолвные встречи с другим Блоком, который исчезал, как только снова начинал болтать, и которого я узнала лишь три года спустя.

...«Золотой косой девичьей» — цитата из стихотворения Блока «Разгораятся тайные знаки...» (1902 г.):

Убегаю в прошедшие миги,
Закрываю от страха глаза,
На листах холодеющей книги —
Золотая девичья коса.

Анна Ивановна — Анна Ивановна Менделеева (1860—1942) мать Любови Дмитриевны. *Леонор у Кальдерона* — в драме Кальдерона «Врач своей чести» в переводе К. Д. Бальмонта («Сочинения Кальдерона», вып. 3. М., 1912, с. 43). «Нет конца лесным тропинкам...» — первая и последняя строфы стихотворения 1901 г., помеченного «Церковный лес»:

Нет конца лесным тропинкам.
Только встретить до звезды
Чуть заметные следы...
Внемлет слух лесным былинкам.

«Тропинка вьется, вот-вот потеряется». — Может быть, имеется в виду строка из Вл. Соловьева «Все та же вдаль тропинка вьется снова...» (из стихотворения «Нет, силой не поднять тяжелого покрыва...»).

18

<20 ноября 1902. Петербург>¹

У меня нет холодных слов в сердце. Если они на бумаге, это ужаснее всего. У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Тобой, Солнце моего Мира. Мне невозможно сказать всего, но Ты поймешь, Ты поняла и понимаешь, чем я живу, для чего я живу, откуда моя жизнь. Если бы теперь этого не было, — меня бы не было. Если этого не будет — меня не будет. Глаза мои ослеплены Тобой, сердце так наполнено и так смеется, что страшно, и больно, и таинственно, и недалеко до слез. Еще несколько дней я не могу, говорят, Тебя видеть, т. е. выходить. Это ужасно. Ты знаешь, что это так надо, но мне странно. И еще страннее, что я подчиняюсь нелепому благоразумию. К великому счастью, я только подчиняюсь ему, но оно вне. Во мне его *нет*. Пока я знаю, что дело идет о нескольких днях (сколько — несколько?) и что от этого зависит будущее, я терплю еще. Но если бы это были недели или месяцы и болезнь была бы непрерывна и мучительна, я бежал бы ночью, как вор, по первому Твоему слову, по первому намеку. Теперь, когда пройдут эти дни и я увижу Тебя, знай, что я сделаю все.

Будет говорить страсть, не будет преград. Вели — и я выдумаю скалу, чтобы броситься с нее в пропасть. Вели — и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы *и не из толпы*. Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении. Ты не увидишь перемены, кроме внешней, кроме ежечасно, ежедневно меняющихся т. н. «настроений». Во всех будет лежать печать рабства Тебе — от скептицизма мирового до печальной мудрости, от экстаза до неподвижности. Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве, и в Петербурге. Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты и волочат за собой по торжищам и по утонченным базарам, и по салонам, и по альковам красивых женщин, и по уютам лучших мира сего — знамена из тряпок и из шелка, и из неведомых и прекрасных тканей Востока и Запада. И волочат умы людей — и мой тоже. Но сердце, сердце незабвенное и все проникающее, знает Тебя. И покоряет ум и волю, и властвует над ними, и приказывает им. Там — мне нет числа. Здесь — я с Тобой и один. Мое тамешнее треплется в странностях века. И все оно собирается здесь, у Твоих ног, как непокорная змея, желавшая познать и заслушавшаяся лучшей и неслыханной Музыки. Твоя воля открыть мне все бездны, и я безвольно и безмысленно исчезну в них ².

¹ Дата почтового штемпеля.² Л. Д. Менделеева писала в ответном письме (почтовый штемпель 20 ноября 1902 г.): «Твои письма кружат мне голову, все мои чувства спутались, выросли, рвут душу на части, я не могу писать, я только жду, жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое счастье, мой бесконечно любимый!»

19

<21 ноября 1902. Петербург>¹

Мысли в таком вихре и так разбиваются, что мне трудно говорить Тебе о связанном и возможном. Только любовь имеет право теряться в бесконечном. Ничего не стоит столкнуться с берега самые грузные заключения и самые тяжеловесные теории. Но вернуть их обратно часто уже невозможно. Они плывут и погружаются, возвращаются назад только легкие щелчки — отзвуки прошедших времен. Ты в одну ночь сбила бесчисленное количество спокойных элементов в одну грудку, из которой я до сих пор извле-

каю с успехом и распознаю только мечты и сны о Тебе. Все другое беспорядочно, и у меня редко бывает желание приводить в порядок. Основы все те же, но все перевернуто вверх дном. Теперь я только каждый день все это констатирую. Часто все это давит неразрешенностью, но чаще только сладкая боль, только волнение, разбивающееся у подножия Твоей скалы.

Ты все точила мой гранит —
И в сладостном влеченьи —
Я знал, я знал, что мне сулит
Любви предназначенье ².

Для меня свершилось то, что не повинуется моей магии. Прежде многое я собирал изнутри, имея власть усыпить одних чудовищ и расшевелить других. Теперь я вижу, что над этой собирающей силой стоит другая совершеннейшая Твоя Сила извне. Потому я и говорю Тебе, что в Твоей власти теперь сделать все «мое», потому что я слепое орудие — не больше. У меня даже и стихи не выходят. Боюсь тех слов, которые обозначают действительное, нынешнее, когда Ты со мной. Я узнал все слова из тех легенд, которые говорят о том, что Тебя нет и не будет со мной. И привык к ним, — и с ними был, как у себя. Я знаю разлуку, мучительную и нескончаемую. Свиданья я еще не знаю. Твоей близости я еще не знаю. Все ново и непривычно, все люди кругом по-другому. Ты понимаешь это? И потому, Моя дорогая, я боюсь, что в моих словах Ты не найдешь того, что нужно. Не младенческие ли они, не бессвязный ли это лепет, не кощунственно ли говорить все это Тебе, с которой я говорю всегда с мыслью — можно ли это, годятся ли эти слова простые и человеческие? Ты представляешься мне в эти минуты Существом, знающим все это наперед, надыхавшимся лилий и роз в странах Неведомых для нас, для меня, как для толпы. И мне часто приходило это в голову в связи с легендами, поющими о Тебе (хотя бы посредством моих же стихов и дум), как о Царице Народной, все познавшей внутренне, молчаливой и недоверчивой к тому, что происходит здесь, что какой-то человек из народа (это был я) почуял один и стал мечтать и надеяться на Невозможное Счастье.

¹ Дата почтового штемпеля.

² Цитата из стихотворения польского поэта Адама Асныка (1838—1897) «Чудесный сон» в переводе В. Лебедева. Это стихотворение очень понравилось Блоку; он переписал его в особую тетрадь (позднее озаглавленную: «Моя декламация, роли, заметки, стихи разных поэтов, выписки из книг и пр.») и полностью привел в письме к А. В. Гишпиусу от 28 июля 1901 г. (VIII, 21).

Моя Дорогая, моя Бесконечно любимая, мое бесконечное Счастье. Сегодня я получил письмо от Боткиной с приглашением быть у них в воскресенье 24-го. И меня осенила мысль, я почувствовал, что могу увидеть там Тебя, и решил, что сделаю все, что могу, чтобы быть у них. Думаю, что меня выпустят не раньше этого. Будешь ли Ты там — одна или с мамой? Напиши мне, прошу Тебя, об этом скорее, мне необходимо это знать ². Можно ли сделать так, чтобы от Боткиных я проводил Тебя? Или Ты думаешь, что лучше встретиться не у них и в другой день. Мне кажется, что это самое лучшее, потому что самый ранний срок. Будет ли Тебе это неприятно — встретиться там и сразу все скрывать и казаться другими? Напиши мне об этом, Любовь моя, мне это страшно необходимо все знать



БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА

Фотография, 1898

Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

и ко всему этому приготовиться. Я ни о чем не думаю теперь, мне кажется все, что Солнце всходит; я вижу день, когда встречу Тебя. Это будет полно света и блаженства для меня и для всего мира! Теперь я ничего не понимаю, меня дергают со всех сторон и тащат, а я овеян и очарован, и ослеплен, и очень даже глуп снаружи, потому что довольно бессмысленно улыбаюсь не тогда, когда этого требует тема. Если бы мне сказали, что мой знакомый повесился, я бы в восторге обнял говорящего и нашел бы это обстоятельство приятным. Ты — лучше всех, важнее всех, глубже всего, все скрываешь за Собой от меня, Тебе нет равных, я люблю, люблю Тебя, моя Светлая, моя Дивная, Чудесная, Великолепная, Святая. Люблю Тебя страстно, звонко, восторженно, весело, без мысли, без сомнений, без дум, в снах, непробудных наяву, блаженных, как Ты. Тебе, Тебе и только Тебе вся моя жизнь, счастье и горе, все повергаю к Твоим ногам. Ты пишешь мне то, чего я не могу понять, так оно страстно, так

обнимает меня, ослепляет меня. Я сам без себя и с Тобой, с Тобой одной только, безраздельно. У меня нет слов. Я Твой, я Твой, верь и знай и не сомневайся в том, что бесконечна моя страсть. Все конечно, все ничтожно, когда я встречу Тебя, увижу Тебя опять, взгляну в Твои глаза и мимо-летно и недолго, среди людей; и, мож(ет) быть, мне удастся сказать Тебе два слова, урывками, незначительных и неважных. Знай, что Ты — моя жизнь. Каждое движение, улыбка, поворот впиваются мне прямо в душу. Я люблю Тебя, люблю одну Тебя, только Тебя одну и никого и ничего в мире, кроме Тебя. Пою, пламенею и молюсь. Жду Твоего ответа, Твоего согласия.

Т о й, Любовь моя, Твой раб до Смерти.

¹ Дата почтового штемпеля.

² Л. Д. Менделеева в тот же день написала Блоку: «Мой дорогой, мы не будем у Боткиных, а ты приходи к нам в воскресенье, может быть, мама и уедет куда-нибудь, а если нет, все-таки будет лучше, чем у чужих, в толпе. Наконец-то, наконец-то! Господи, какое счастье!..»

21

⟨23 ноября 1902. Петербург⟩¹

Конечно, я приду завтра вечером ². Конечно, я написал опять Боткиным, что, «к несчастью», не могу у них быть. Пусть думают, что хотят. Мне лучше, но «рекомендуется» побольше сидеть дома. Я не знаю, когда, наконец, увижу Тебя, моя Любовь, не у Вас, а в другом месте, когда мы будем вдвоем. На днях я получил письмо от Зин(аиды) Мережк(овской) с приглашением. По тону можно было ждать чего-то важного, по крайней мере увидеть там редактора или Брюсова. Так как это близко, то поехал, застал дам и чуть не раскаялся. Но было забавно. Узнал только, что в первом № моих стихов не будет, но будут непременно позже ³. Хуже мне не стало. Все, что там было и есть, и будет, — мне все равно. Я говорю об одном, а думаю о другом. «Здесь тайны все мои велики» ⁴. Мне или грустно, или томительно, и я на стену лезу без Тебя, моя очаровательная. Хочу видеть Тебя одну во всем Твоем молчаливом и ароматном очаровании, сводящем с ума «скитальцев, детей и богов» ⁵. Боюсь встретиться с Тобой завтра — Ты понимаешь, почему и о чем мои думы. Прежде страх был другой, я чувствовал, что я один боюсь и могу побороть страх в этих стенах, иногда заглушать его, иногда замаскировывать. Теперь боюсь еще потому, что у меня довольно расстроены нервы. Но все это пустяки и «сон мимо-летний» ⁶, «только сердца напрасная дрожь» ⁷, потому что ближе и понятнее, и таинственнее глубокий сон моей страсти к Тебе и скрытая радость быть около Тебя, чувствовать Тебя рядом и верить близости. Бог знает, сколько тут еще несбыточного, непонятого нами в этой страстной и туманной поре. Молодость делает свое дело, облекает мир в свои думы, в свои линии, путает числа, года и месяцы. Я уже иногда не верю и не помню, кто Ты, прежняя, обманчивая, манящая фея, так бесчисленны и многогранны, и многолетни были мои думы и мечты о Тебе, все о Тебе. Как молния иногда мелькнет ночью в лесу с лунными бликами, лошадь дрожит и шарахается в сторону. И право, я не знал тогда, где Ты, не здесь ли, и все депускал, все невероятное и все невозможное, и сам дрожал от восторга и ожидания. И часто не мог понять, где огонь, какой огонь, что в этом огне, не знак ли это расцветающей страсти. И чудилась Ты в лилиях Офелии, с тяжелыми потоками золотых кос ⁸. И кусты шевелились. Все это было, я знаю, что это было. И зима, и город, и внезапные встречи, — все вспыхивает и все безотчетно. Любви нет выхода из золотых сеток. Где я увижу Тебя? Лучше напишу послезавтра. Можно?

Скажи мне завтра, если будет можно. Если завтра не будет ни минуты



БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА

Фотография. 1898

Музей Д. И. Менделеева. Ленинград

возможной, все-таки напишу. Или ты напиши, можно ли, только можно ли? Я получу письмо в понедельник или завтра ночью, когда приду от Вас.

Завтра будет «Вы»⁹, и мне будет страшно и мятежно. Кончаю последнее письмо перед тем, как встречу Тебя. И «Вы» простите меня за кошмарность всех этих писем и бессмысленных мыслей. *Et Vous, Ma Dame*, верьте и помните, что «L.D.M своею кровью начертал он на щите»¹⁰. Завтра вы будете опять в отдаленном сиянии. И я целую Вашу ручку и прошу простить меня за все.

¹ Дата почтового штемпеля: 24 ноября 1902 г.

² То есть 24 ноября (письмо было написано накануне). См. предыдущее письмо.

³ В письме от 20 ноября 1902 г. З. Н. Гиппиус-Мережковская (1869—1945) приглашала Блока в этот день к себе. В это время кружок Мережковского — Гиппиус подготавливал к изданию первую книжку журнала «Новый путь», где должны были

впервые появиться стихи Блока. Еще 9 июля 1902 г. З. Гиппиус писала Блоку: «Нам, наконец, разрешили журнал «Новый путь». Надеюсь, дадите мне стихов (не декадентских, а мистических, какие у Вас есть)». Далее, 15 сентября 1902 г., З. Гиппиус сообщила Блоку: «Ваши стихи... пойдут; я надеюсь, в первой книжке... Перцов в Вас просто влюблен» (неизданные письма — ЦГАЛИ). Редактор «Нового пути» П. П. Перцов (1868—1947), в свою очередь, писал Блоку 1 ноября 1902 г.: «Я с искренней радостью прочел Ваши стихи: мало что на свете радует больше, чем встреча с истинным, «божией милостью» талантом, в какой бы то ни было области, в области поэзии особенно. Мне лично Ваша поэзия «Прекрасной Дамы», как говорите Вы, или «Бого-природы», как говорю я, на языке моей философии, — особенно близка и понятна. Пусть же Она пошлет Вам лучшие свои вдохновения!» (неизданное письмо — ЦГАЛИ). Ответное письмо Блока от 5 ноября 1902 г. см. в книжке Перцова «Ранний Блок» (М., 1922, стр. 13), там же — подробности о сотрудничестве Блока в «Новом пути». Стихи Блока (десять стихотворений под общим заглавием «Из посвящений») были напечатаны лишь в мартовской книжке «Нового пути». Собираясь навестить З. Н. Гиппиус, Блок надеялся встретиться у нее с приехавшим из Москвы В. Я. Брюсовым, который принимал близкое участие в «Новом пути». Встреча их состоялась лишь в следующий приезд Брюсова в Петербург, 30 января 1903 г., в редакции «Нового пути».

⁴ Цитата из первоначального, рукописного текста стихотворения Блока «Стремленья сердца непомерны...», написанного в сентябре 1902 г. (I, 680).

⁵ См. примеч. 2 к письму № 15.

⁶ Цитата из стихотворения А. А. Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...»:

И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотский и бесплотный, —
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.

⁷ Неточная цитата из стихотворения А. А. Фета «День проснется — и речи людские...»:

И мои зажурчат песнопенья, —
Но в зыбучих струях ты найдешь
Разве ласковой думы волненья,
Разве сердца напрасную дрожь.

⁸ Имеется в виду представление «Гамлета» в Боблове 1 августа 1898 г., когда Л. Д. Менделеева исполнила роль Офелии. Свидание с Блоком после этого спектакля Любовь Дмитриевна описала в своих воспоминаниях (см. ниже, на этой стр.).

⁹ То есть обращение на «вы» при встрече «на людях».

¹⁰ Цитата из стихотворения Пушкина «Легенда», с заменой латинской аббревиатуры А. М. Д. («Ave, Mater Dei» — «Радуйся, мать божия») инициалами Л. Д. Менделеевой.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку был вечер представления «Гамлета». Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распушенный напояк всем плащ золотых волос, падающий ниже колен... Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше на самом помосте. Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое: я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора. Этот, может быть, десятиминутный разговор и был нашим «романом» первых лет встречи, поверх «актера», поверх вымуштрованной барышни, в стране черных плащей, шпаг и беретов, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где ей суждено погибнуть. Этот разговор и остался для меня реальной связью с Блоком, когда мы встречались потом в городе уже совсем в плане «барышни» и «студента». Когда еще позд-

нее мы стали отдаляться, когда я стала опять от Блока отчуждаться, считая унижительной свою влюбленность в «холодного фата», я все же говорила себе: «Но ведь было же...» Был вот этот разговор и возвращение после него домой. От «театра» — сениного сарая — до дома, вниз под горку сквозь совсем молодой березничек, еле в рост человека. Августовская ночь черна в Московской губернии и «звезды были крупными необычно». Как-то так вышло, что еще в костюмах (переодевались дома) мы ушли с Блоком вдвоем в кутерьме после спектакля и очутились вдвоем Офелией и Гамлетом в этой звездной ночи. Мы были еще в мире того разговора, и было не страшно, когда прямо перед нами в широком небосводе медленно прочертил путь большой, сияющий голубизною метеор. «И вдруг звезда полночная упала...»

Перед природой, перед ее жизнью, и ее участием в судьбах мы с Блоком, как оказалось потом, дышали одним дыханием. Эта голубая «звезда полночная» сказала все, что не было сказано. Пускай «ответ немел», — «дитя Офелия» и не умела бы сказать ничего о том, что просияло мгновенно и перед взором и в сердцах.

Даже руки наши не встретились, и смотрели мы прямо перед собой. И было нам шестнадцать и семнадцать лет.

...Был вечер представления «Гамлета». — Представление состоялось в Боблове, в сенином сарае, 1 августа 1898 г. Описание этого любительского спектакля см. в книгах: М. А. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2, Л., 1930, стр. 62—63; М. А. Рыбникова. Блок—Гамлет. М., 1923, стр. 9—14. Факсимильное воспроизведение рукописной афиши этого спектакля (автограф Блока) см. в наст. томе, стр. 119. «И вдруг звезда полночная упала...» — цитата из стихотворения Блока «Я шел во тьме к заботам и веселью...» (1898), которое Любовь Дмитриевна вслед за тем приводит полностью.

22

⟨24 ноября 1902. Петербург⟩¹

ОФЕЛИЯ

Они шептали мне много, много,
Шептали страшное, страшное:
И, как он, искали дорогу,
А я забыла вчерашнее —
забыла вчерашнее.

Вчера и сегодня — давно ли?
Отчего он такой молчаливый?
такой молчаливый.
Я не нашла моих лилий в поле,
Я не искала плакучей ивы —
ах, не искала плакучей ивы.

И не помню, не помню — скрою,
О чем берега шептали —
берега шептали.
Ах, давно ли! Со мною, со мною
Говорили и меня целовали.

Он такой печальный и строгий,
Отчего он такой молчаливый —
такой молчаливый?
Я скажу ему много, много
Про лилии, про песни, про ивы.

Он ушел по той же тропинке,
Куда уходили вчерашние —
уходили вчерашние...
И было в каждой былинке
Лицо его страшное —
такое страшное.

А я оставалась в поле,
Ах, оставалась в поле.
И не стало больше печали.
Вчера и сегодня — давно ли!
Со мной говорили — и меня целовали.
Меня целовали ².

¹ Дата почтового штемпеля.

² Первоначальный текст стихотворения «Песня Офелии». написанного 23 ноября 1902 г. Без третьей и четвертой строф и с вариантами было в первый раз напечатано в журнале «Новый путь», 1904, кн. 11.

23

⟨30 ноября 1902. Петербург⟩¹

Я, изнуренный и премудрый,
Восстав от тягостного сна,
Перед Тобою, Златокудрой,
Склоняю долу знамена.

Конец всеведущей гордыне —
Прошедший сумрак разлюбя,
Навеки преданный Святине,
Во всем послушаюсь Тебя.

Зима пройдет — в певучей вьюге
Уже звенит издалека.
Сомкнулись царственные дуги,
Душа блаженна, Ты близка ².

¹ Дата почтового штемпеля.

² Стихотворение было написано 30 ноября 1902 г. и в первый раз напечатано в журнале «Новый путь», 1904, кн. 6.

24¹

⟨6 декабря 1902. Петербург⟩²

Я страшно тороплюсь писать. Мое единственное счастье, Ты написала мне то, чего я *никогда* не забуду. Каждое слово — перл ³. Мне нужно говорить с Тобой; завтра у меня реферат у г-на Варнека ⁴ от 2-х до 3-х часов дня. Это разбивает весь день. Кроме того, я боюсь, что Ты не получишь этого письма ⁵. Все это, все, что было вчера с посыльным, и сегодня, когда я ждал письма днем, — ужасно. Я думал, что мама ⁶ все узнала или что-нибудь в этом роде. У меня нет слов, чтобы ответить на все, что Ты пишешь. Даю Тебе клятву последней и высочайшей святости, что я *думал* обо всем. Успокойся. Все происшедшее в эти 3 дня мистичнее, чем когда-нибудь. Третьего дня я нанял комнату ⁷. Вчера я получил письмо и пошел на курсы ⁸, где Тебя не было. Оттуда — в эту комнату, которая оказалась *отданной* (почему — объясню после). При всем этом 2 *молчаливых* письма от Тебя (там не было причин) — с посыльным и после концерта ⁹. Наконец — последнее письмо Твое. Так произошло это все. И я опять *клянусь* Тебе так же непреложно, что Ты *можешь* быть *свободна от сомнений*.

Я понял все до конца в Твоем письме. Сути настоящего я еще не понял окончательно, будущего — тоже не окончательно. Этого еще *нельзя* понять. Я только твердо и непреложно знаю, что Ты *теперь должна* быть свободна от сомнений и *МОЖЕШЬ* твердо *ВЕРИТЬ*¹⁰ мне в том, о чем Ты думаешь. Все это я не могу довольно ясно выразить в эту минуту. Но *знай*, что *теперь* полновластны «свет, христианство и трагедия»¹¹, по причинам, частью темным для Тебя, а частью для меня. Говорю *теперь* (это теперь предположительно), верь, что это так, часть причин *должна* быть неизвестна, другую часть я попробую передать на языке, не достойном *Твоих* откровений и *Твоего* величия¹². Завтра, если Ты можешь, будь в Исаакиевском соборе в 4 часа дня, мне *нужно* сказать, и я страстно хочу Тебя видеть. Верь и будь спокойна. Рассуждать и придумывать буду я.

¹ Это письмо (как и следующее) откололось от коллекции и сохранилось среди бумаг Л. Д. Менделеевой-Блок в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР.

² Дата почтового штемпеля: 7 декабря 1902 г.

³ Приводим полностью письмо Л. Д. Менделеевой (почтовый штемпель 6 декабря 1902 г.), свидетельствующее, в частности, о том, что она пыталась усвоить мистическую «проблематику» и фразеологию Блока: «Мой дорогой, любимый, единственный, я не могу оставаться одна со всеми этими сомнениями, помоги мне, объясни мне все, скажи, что делать!.. Если бы я могла холодно, спокойно рассуждать, поступать теоретично, я бы знала, что делать, на что решиться: я вижу, что мы с каждым днем все больше и больше губим нашу прежнюю, чистую, бесконечно прекрасную любовь. Я вижу это и знаю, что надо остановиться, чтобы сохранить ее на век, потому что лучше этой любви ничего нет на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев... Но нет у меня силы, нет воли, все эти рассуждения тают перед моей любовью, я знаю только, что люблю тебя, что ты для меня весь мир, что вся душа моя — одна любовь к тебе. Я могу только любить, я ничего не понимаю, я ничего не хочу, я люблю тебя... Понимать, рассуждать, хотеть — *должен* ты. Пойми же все всей силой твоего ума, взгляни в будущее всей силой твоего провидения (ты ведь знал, что придет и эти сомнения), реши беспристрастно; объективно, что должно победить: свет или тьма, христианство или язычество; трагедия или комедия. Ты сам указал мне, что мы стоим на этой границе между безднами, но я не знаю, какая бездна тянет тебя. Прежде я не сомневалась бы в этом, а теперь... нет, и теперь, несмотря ни на что, я верю в тебя, и потому прошу твоей поддержки, отдаю любовь мою в твои руки без всякого страха и сомнения».

⁴ Борис Васильевич *Варнеке* (1874—1944) — в 1902 г. приват-доцент Петербургского университета по кафедре классической филологии.

⁵ Письмо было адресовано на Высшие женские курсы.

⁶ А. И. Менделеева.

⁷ С 8 декабря 1902 г. по 31 января 1903 г. Блок и Л. Д. Менделеева время от времени встречались в меблированных комнатах, помещавшихся на Серпуховской ул., дом № 10. По этому адресу частично шла их переписка. В дальнейшем «Серпуховская» будет упоминаться неоднократно.

⁸ Высшие женские курсы.

⁹ 6 декабря Блок был на концерте певицы М. А. Олениной-д'Альгейм. Ровно через год, после другого ее концерта, Блок писал С. М. Соловьеву: «Был концерт Олениной. Со мной делалось сначала что-то ужасно потрясающее изнутри (<...> Она пела, между прочим, «Лесного царя», «Двойника», «Два гренадера». К счастью, не было «Песен и плясок смерти», но была «Детская» Мусоргского. Люба была совсем потрясена, так же действовало и на маму. (<...> Возвращаясь домой, я собирался написать о ней в «Весы», но вместо того вышла рецензия на «Urbi et orbi» в «Новый путь» (VIII, 72—73).

¹⁰ Слова «можешь» и «верить» подчеркнуты дважды.

¹¹ Слова из письма Л. Д. Менделеевой (см. выше примеч. 3).

¹² Т. е. на языке поэзии.

(13 декабря 1902. Петербург)¹

Я все думаю о волшебном, о Тебе. И сквозь эти бесконечно прекрасные, удаленные от всех людей (они все без исключений не понимают или не знают, в чем дело) думы, — постоянное житейское беспокойство о Тебе, о том, что, может быть, Тебе лучше не приходить в эту комнату на Серпуховской, пока я болен, потому что все эти люди какие-то грубые и подозрительные. Вчера я не мог дождаться ни дворника, ни Османа², говорил с женой управляющего и со швейцаром. Они оба более или менее отвратительны. У меня, в конце концов, просто чувство отвращения ко всем им и к тому внутренне нечистому, что они говорят, а главное — думают. Не лучше ли устроить так, чтобы в какие-либо личные отношения и разговоры с ними входил только я. А иначе Тебе (Тебе!) придется говорить, например, о письмах. Кроме того — это мебелиров~~анные~~ комнаты, какое-то подозрительное и подмигивающее слово. И все они тоже подмигивают. Напиши мне прежде всего, что Ты думаешь об этом и можно ли писать Тебе, например, на курсы³ (а, м.б., к Шуре? ⁴). Тогда, по крайней мере, для этих серпуховских людей Ты будешь совершенно мимолетна. Понимаешь, что я боюсь не за одно имя, которое конечно никому из них не известно и не будет известно, а и за лицо, которое им примелькается, на которое они будут смотреть с любопытством (не с улыбкой ли еще?). Во всяком случае, моя репутация у них не высока, но это мне совершенно все равно, и я боюсь только за Тебя. Так как я говорил с ними не раз, то и имею основания для опасений. Если Ты согласишься, у меня сразу упадет гора с плеч, а так я и вчера и сегодня думаю об этом, и это отравляет самые чистые мысли. Как Ты получишь это письмо, меня тоже беспокоит. Напиши мне, как только можешь скорей, если хочешь, только несколько слов об этом⁵. Я лежу в постели и еще пока без жару. Не могу и просто не хочу догадываться о том, что говорила Тебе мама; думаю, что то, что она сказала, не похоже ни на что, что она необыкновенно далека от всего, что есть⁶. Имею дерзость и смелость так думать — и чувствовать, что я во всем своем бессилии и во всей тленности могу лучше хранить Твою вечную юность, чем все остальные, и имею на это неисповедимое право.

¹ Датировано по сопоставлению с письмом Л. Д. Менделеевой от 13 декабря 1902 г. (Дата почтового штемпеля — 14 декабря 1903 г.). См. примеч. 1 к письму № 24.

² Осман — очевидно, лакей в мебелированных комнатах на Серпуховской.

³ Высшие женские курсы.

⁴ Шуря — Александра Михайловна Никитина (1883—1942), подруга Л. Д. Менделеевой по Высшим женским курсам. Она была посвящена в роман Блока и Л. Д. Менделеевой; через нее иногда шли их письма. В дальнейшем имя ее будет встречаться неоднократно.

⁵ В ответном письме (почтовый штемпель 14 декабря 1902 г.) Л. Д. Менделеева писала из комнаты на Серпуховской: «Мой дорогой, конечно я не буду ходить сюда, если это тебе хоть немного неприятно; пока же все было хорошо, я разговаривала только с Османом о письме, он и принес мне его сегодня. Мне будет немножко жалко не ходить сюда, здесь так хорошо думать, вспоминать о тебе у того же стола, на том же кресле, когда никто не может помешать. Ну, да все равно, я не буду ходить, милый, не беспокойся за меня. А писать ты можешь и на курсы, и домой иногда, например, завтра, в воскресенье». В дальнейшем Л. Д. Менделеева все же посещала мебелированные комнаты на Серпуховской.

⁶ Опасения Блока были вызваны следующим письмом Л. Д. Менделеевой (почтовый штемпель 13 декабря 1902 г.): «Мой дорогой, моя радость, что-то ты теперь делаешь, думаешь? Очень тебе плохо? А я сижу в нашей комнате, перечитываю твои стихи, но

больше все вспоминаю, вспоминаю... Знаешь, пожалуй, и лучше, что нам нельзя видеться, потому что тебе необходимо сидеть дома: приезжают к нам Менделеевы из Москвы, завтра или в понедельник; мне, конечно, придется почти все время быть с ними; и если бы только это мешало нам встречаться, мне было бы слишком досадно, я не выдержала бы, пожалуй, наделала бы глупостей и выдала себя. А я этого страшно боюсь теперь, мама что-то меня все рассматривает, а вчера даже говорила, что у меня какое-то усталое лицо; ну, да я решила теперь хорошенько взять себя в руки и притворяться во всю — буду весела, буду ходить с Менделеевыми по театрам, они еще, пожалуй, кстати теперь приехали, помогут мне! А отдыхать, думать о тебе, ждать тебя, вспоминать буду приходить сюда, в нашу комнату, когда удастся вырваться на минуту. Только ты не бойся за меня, поверь, уж я сумею разубедить и успокоить маму, я поняла, что нужно для этого, из ее же «того самого» разговора...». В следующем письме (от 14 декабря) Л. Д. Менделеева успокаивала Блока: «Знаешь, мой дорогой, мы можем совершенно успокоиться насчет мамы, я в этом убедилась вчера, хоть и немного неприятным образом, но зато уже наверно: мы с мамой сильно поссорились. Началось с пустяков и общих вопросов, <...> вспомнился «тот» разговор, и тут-то я и убедилась, что мама ничего не подозревает; она сама говорила, что просто хотела меня предупредить на всякий случай. Мы были настолько возбуждены, что мама не могла бы не высказать, если бы она знала или подозревала что-нибудь, но она даже не намекнула ни на что. Сегодня мама захотела продолжать и вчерашний, и «тот» разговор, но мне было слишком невыносимо и оскорбительно за нас слушать такие вещи, так что мы с мамой поссорились окончательно».

26

(14 декабря 1902. Петербург)¹

Все, что только Тебе угодно, Ты должна исполнять. Если я буду иногда бояться за Тебя — ничего, если Тебе самой никогда не неприятно приходить в эту комнату, и даже немножко жалко не приходить. Теперь ночь, и я пишу один после целого дня стихов, разговоров и известий, литературных и политических. Я, наконец, написал настоящие хорошие стихи². Сейчас ушел от меня Гиппиус (Александр)³. Все это не так важно и не так интересно, лучше потом рассказать, смотря в Твои глаза. Я весь день — через все — исполнен Тобой. Во втором Твоем письме о ссоре с мамой⁴ мне все-таки мерещатся какие-то опасения. Какова была для Тебя эта ссора? У меня не было жара, я что-то надеюсь, что поправлюсь скорее. Лучше пока не думать о том, когда, потому что все может повернуться иначе. Я хочу все время писать о другом, чем пишу, — и не нахожу форм. Хочу сказать, что нет ничего обыкновенного (опять то же и так же бледно!), что нет ни сомнений, ни вопросов, что я люблю Тебя безумной, сумасшедшей частью души, самой глубокой и отдаленной, которая теперь охватила уже всю душу, безраздельно властна и могуча. Разум продолжает делать построения, душа горит и сгорает неугасимо. И опять о житейском: напиши мне, куда писать завтрашнее письмо, на Серпуховскую (если нет препятствий) или на курсы? Пока все это не устроится, не угнездятся все эти домашние птицы, я не могу не говорить о мелочах, не спрашивать Тебя о ненужном, потому что мне необходимо, чтобы Ты была устранена от мелкой практики, даже от заглазной критики недостойных. Прости меня, мне каждый день прибавляет знания о Твоем Совершенстве. Тут уж не о «небесном» даже я говорю. Это все — после, теория, не наше настоящее. Настоящее все вокруг Тебя, живой и прекрасной русской девушки. В Тебе то, что мне необходимо нужно, не дополнение, а вся полнота моя. Если Тебя не будет, я совершенно исчезну с лица земли, «исчерпаюсь» в творении и творчестве. Без Тебя я так немыслим, что, я думаю, некоторые просто видят, наконец, что действую не я сам, а что-то внутреннее вдохновляет. И уж конечно эти не

знают, кто это внутреннее, это Ты, и уж конечно я знаю, что это — Ты, что весь сложный механизм движется от Одного Двигателя — Тебя и Тобой. Тут вся моя цель и вся загадка и разгадка, «узел бытия», корни и цветы. Опять отвлеченно⁵. «Из окна» я вижу (теперь редко), как снег и Нева⁶, и все ждет весны. Это я жду Тебя. — Не лучше ли писать реже на Забалканский⁷? Прости за все скачки и нелепости. Думаешь ли Ты, что я пишу неискренно? Больше этого не бывает. Я всегда хочу писать, и всегда при этом недоволен собой. Бледно, вяло. Прости меня, целую складки Твоего платья.

Т в о й.

¹ Дата почтового штемпеля: 15 декабря 1902 г.

² Имеется в виду стихотворение «Царица смотрела заставки...», написанное 14 декабря 1902 г. См. его ниже.

³ Александр Васильевич Гиппиус (1878—1942) — друг юности Блока, товарищ его по юридическому факультету Петербургского университета; в молодости писал стихи, некоторые из них появились в третьем выпуске сборника «Русские символисты. Лето 1895 года» (под псевдонимом: Г. Заронин), другие, при посредстве Блока, были напечатаны в 1915 г. в журнале «Любовь к трем апельсинам» (под псевдонимом: Александр Надеждин).

⁴ См. примеч. 6 к письму № 25.

⁵ Л. Д. Менделеева 15 декабря писала Блоку в этой связи: «Твое письмо искренно и такое, которое я больше всего люблю — ты пишешь, что пишется, что приходит в голову; только зачем ты говоришь: «опять отвлеченно»? Разве ты думаешь, что мне «отвлеченное» менее интересно?»

⁶ Неточность Блока: он жил на берегу Большой Невки, а не Невы.

⁷ На Забалканском проспекте жили Менделеевы.

27

〈15 декабря 1902. Петербург〉¹

Пишу наудачу на курсы — и лучше без житейского, чище, свободнее и искреннее. Днем говорили, вечером говорили, теперь вечер кончается, и все говорят — и многое о ненужном. У литераторов делается чорт знает что! Мы будем смотреть со стороны и скоро увидим и услышим удивительные вещи. Все это теперь так меня касается, что я не могу не интересоваться этим, но если бы Ты знала, как это ни одной чертой, ни одной точкой не прикосновенно к моим глубочайшим и сокровеннейшим, всегда лучшим из всего, что было, есть и будет, мыслям о Тебе, песням о Тебе. Все кричат, а я молчу до неприличия, и через все так неизмеримо высоко и звонко поются песни о Тебе — слова и фразы, или одни только мелодии без звуков, иногда с случайными протекающими в голове словами — так же произвольно и безвольно, как шум деревьев, когда их качает ветер. Поет, поет — и все забывается, все светло и ярко, торжественно и тайно. Тут какая-то великая тайна «жизни по любви». Совершается закон лучшей награды за прежние и нынешние невозмутимые сны. Ты проходишь мимо, Ты здесь вся, неизгладимо вырезанное письмо на камне, глубокие черты сильной и верной руки Промысла. Вся судьба здесь. Я просматривал дневники, статьи и заметки, черновые стихи и прозу². Там все то же и опять по-новому прекрасно, новая память, новые мысли. Вспоминаю Тебя всюду, неисчерпаемо и страшно — до жуткости богато. Не могу исчислить всех этих сгораний сердца, которые я, часто незаметно для Тебя, расточал перед Тобой и о Тебе — в опасные минуты, когда загоралось, «занималось» сердце, и держала мои слова уже не воля, а судьба — значит судьба. Если бы она тогда не управляла мной, — все бы было или потеряно или удалено бесконечно. Сегодня от Тебя не было

Офелия.

Они шептали много, много,
Шептали страшное, страшное.

И, как он, искали дорогу,

А я забыла вершинное —
забыла вершинное.

Всегда и сегодня — давно-ли?

Оттого он такой молчаливый?

такой молчаливый.

Я не нашла моих шмил в поле,

Я не искала пчелушек иви —

Ах, не искала пчелушек иви.

И не помню, не помню — скоро,

О твоем берегу шептали —

Верху шептали.

Ах, давно-ли! Со мною, со мною

Говорили и меня уговали.

Он такой печальный и строгий,

Оттого он такой молчаливый —

такой молчаливый?

Я скажу ему много, много

Про шмил, про пчелы, про иви.

Он ушел по той же тропинке,

Куда уходили вершинные —

уходили вершинные.

И было в каждой выемке

Лицо его страшное —

такое страшное.

А я оставалась в поле,

Ах, оставалась в поле.

И не стали больше печальны.

Всегда и сегодня — давно-ли!

Со мною говорили — и меня уговали.

Меня уговали.

письма. Пиши только, когда хочешь. Напиши, куда писать, если хочешь, на Серпуховскую. Мне кажется, что я буду скорее здоров и скорее увижу Тебя. Ты «развлечена» теперь с Лид(ией) Дмитр(иевной)³, мож(ет) быть, это лучше? Напиши мне вдруг, внезапно, когда все смолкнет вокруг, — только несколько слов. Тут в эти мгновения, в этом внезапном молчании и отрешении, в этом возврате на мгновение, я уверен, что-то есть. Мы еще поговорим об этом. В таком же внезапном «да» после длинного и тягучего «нет» (м. б., целого дня — понимаешь?) я уверен, что когда-нибудь найду для Тебя забываемое слово или ощущение, или что-нибудь выходящее из обыкновенных рамок, из этой груды моих беспорядочных, хоть и любящих слов, которые я расстилаю перед Тобой устно и письменно. Тут нам откроется внезапное — и мы *поймем* до конца.

¹ Дата почтового штемпеля: 16 декабря 1902 г.

² См. примеч. 2 к письму № 18.

³ Имеются в виду дневник 1898—1900 гг. (впоследствии уничтоженный Блоком) и дневник 1901—1902 гг., в состав которого входят наброски статей и художественной прозы (этот дневник впервые был опубликован в 1937 г. в «Лит. наследстве», т. 27—28).

Среди этих заметок выделяется рукопись под заглавием: «Возражение на теорию Мережковского». Полемическая запись, вызванная впечатлением от книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», постепенно переходит в сатирическую зарисовку личности ее автора. Бесславный конец личной судьбы как бы символизирует безысходность идеологической позиции Мережковского: «... Это констатированье мирового процесса, который во всей своей разоблаченности и представляет титаническую скуку до своего разрешения. Констатированье без разрешения. (...) Скука — потому, что это не конец *мира*, а только исторического процесса. Усталый взгляд назад, концепт углубленного разделения (не мир, а меч). Обетование без провиденья. (...) Таким образом констатированье собственной внутренней трагедии, субъективное, лирика между двух стульев. (...) Жизненная драма человека (ангелы, не забывшие своего начальства, но оставившие свое жилище) и общественного деятеля (полупробужденность вселенского сознания). Неудача в жизни (приходится стоять на сквознике), в творчестве (поздно, не то мало — не то много), в религии («Скорей, скорей! Зина, скоро ли? — (через несколько лет): ... Еще долго. У меня в моем новом романе — вечное углубление, вечное раздвоение... Хоть бы кто-нибудь плюнул в мою сторону... У меня великая грусть... Попы, «Ипполит», журнал... все равно. Зина, ты так кричишь, что через все двери слышно!»). Нет и не будет последнего вопля, все вопли — предпоследние. Договорил все, пришло время кричать — простудился, нет голоса. Поехал лечиться к Симановскому — вернулся, испугавшись мороза.

Внезапно в доме № 24 по Литейной сверху донизу во всех этажах раздадутся звонки. На пустой лестнице застучат — не шаги, не беготня, не вздохи. Ни старые, ни молодые ничего не поймут. Все будут смотреть в темноту. Он поймет. Он услышит и не взглянет. Но медленно, удрученный тяжелой мозговой ленью, пройдет в загроможденный кабинет к левому ужасу бесконечных томов и бумаг, ляжет на жесткий диван; бедный, скромный, больной, замученный, истоптанный, заброшенный. И... уже нельзя будет даже сойти с ума. А как нужно, как своевременно, как жалко» (VII, 67—68).

Эта заметка развивает тему более ранних набросков Блока к статье о русской поэзии в дневнике 1901—1902 гг. (см. прим. 2 к письму № 15). Ироническое определение: «ангелы не забывшие своего начальства...» впервые употреблено Блоком в письме к З. Н. Гиппиус 14 сентября 1902 г.: «Декаденты ведь ангелы, не забывшие о своем начальстве, но «оставившие» свое жилище» (VIII, 46). Имея в виду связь своей поэтической темы с чувством к Л. Д. Менделеевой, Блок писал: «Если будет и дальше все в таком роде, моя литургия и моя симфония будет достойна тех надежд, которые я возлагаю на нее с давних пор» (там же). Знаменательно, что вскоре, 25 декабря 1902 г., Блок писал Л. Д. Менделеевой о той роли, которую ей, вернее поэтическому образу, наве-

явному его любовью к ней, суждено было сыграть в отходе поэта от декадентства: «Я ведь не декадент. Это напрасно думают. Я позже декадентов. Но, чтобы мне выйти из декадентства современного мне, затягивавшего меня бесформенностью и беспринципностью, нужно было волею божиею встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе» (наст. том, стр. 132).

⁴ Лидия Дмитриевна Менделеева — приехавшая из Москвы родственница Л. Д. Менделеевой, участница любительских спектаклей в Боблове летом 1898 г.

28

⟨15 декабря 1902. Петербург⟩¹

Только я послал письмо, как получил Твое. Все разошлись, ночь, слава в вышних богу². Ты, немеркнущая, мой голос, мой дух, мой Восторг, моя песня! Я хочу сказать красивей еще и еще, глубже еще, и еще, и еще. О, как я чувствую и думаю искренно! О, как я верю всему, зная все. Подлубезумное сознание, сознательный бред; неужели Ты думаешь, что я не пишу отвлеченно (т. е. стараюсь не писать) потому, что мне кажется, что Тебе это не интересно. Я сам не хочу теорий, они только помогают, они сбоку, они — цветное стекло в сверкающем переливчатом окне. В Твоем окне, моя Любовь, моя жизнь! И к Тебе на это окно слетают белые голуби. Под это окно прихожу я, то задумчивый, то страстный, и не смолкну. Прикажи мне петь — и я буду петь; шептать — и я буду шептать. Ты теперь осталась одна — и это лучше. Тебе будет легче и тише, может быть. Я еще наговорю Тебе теорий, и напишу. Теперь же — я Твой безумный, восторженный, неумело слагающий думы. Вот стихи, они — хорошие, но что же стихи, когда Ты — здесь, Ты — со мной. Угадай, кто царица. Я уж и на нее не всегда (!) сержусь. Не могу уж сердиться, очень далеко, в тридесатом царстве! Постарайся и ты не сердиться, будет легче, будет звонче.

Царица смотрела заставки,
Буквы из красной позолоты.
Зажигала красные лампы,
Молилась Богородице Кроткой.

Протекали над книгой Глубинной
Синие ночи царицы.
А к Царевне с вышки голубиной
Прилетали белые птицы.

Рассыпала Царевна зерна,
И плескались белые перья.
Голуби ворковали покорно
В терему под узорчатой дверью.

Царевна румяней царицы,
Царицы, ищущей смысла.
В книге на каждой странице
Золотые, да красные числа.

Отворилось облако высоко,
И упала Голубиная Книга.
А к Царевне из лазурного око
Прилетела воркующая птица.

Царевне так томно и сладко —
Царевна — Невеста, что лампадка.
У царицы — синие загадки,
Золотые, да красные заставки.

Помолись царица Царевне,
Богородице с золотыми косами,
От твоей глубинности древней —
Голубиной Кротости мудрой.

Ты сильна, царица, глубинностью,
В твоей книге раззолочены страницы.
А Невеста румянцем да невинностью
Твои числа замолит, царица³.

¹ Дата почтового штемпеля: 16 декабря 1902 г.

² Слова церковной молитвы.

³ Стихотворение было написано 14 декабря 1902 г. Впервые напечатано в «Новом пути», 1903, кн. 3 — с вариантами в седьмой и восьмой строфах (см. I, 249—250). В этом стихотворении нашло отражение народнопоэтическое предание о Глубинной (или Голубиной) книге, упавшей с неба на землю. Это одно из самых популярных произведений духовной литературы явилось средоточием церковной мудрости русского средневековья.

Глубинной книгу называли от глубины премудрости, в ней заключенной, голубиной — по известному символу «духа святого». У Блока это предание переосмыслено в плане противопоставления «глубинной», книжно-рационалистической мудрости царицы и подлинно мудрой (религиозно-мудрой) «голубиной кротости» царевны. Судя по вопросу, который Блок задал в письме к Л. Д. Менделеевой («Угадай, кто царица...» и т. д.), можно предположить, что он приравнивал символику своего стихотворения к З. Н. Гиппиус («царица») и к Л. Д. Менделеевой («Царевна»), но само собой разумеется, что такое приравнивание носило характер шутки. В седьмой строфе, очевидно, описка Блока; нужно: «Богородице златокудрой» (в окончательном тексте: «Царевне златокудрой»).

29

<16 (?) декабря 1902. Петербург>¹

Сегодня я приходил днем даже в уныние от разговоров с мамой и пр. Разговоры неприятные о том, что «вообще» (Тебе знакомые). Но, как-то до конца мы, к счастью, не договорились, и я обратился к греческой философии, которая очень помогает мне теперь. Удивит ли Тебя это? Как ни странно, но только греческая философия (особенно, времен Христа), но и всякая «настоящая» книга, трактующая о вечном, теперь понятна и близка мне. Я уже могу найти там Твое изображение. Более или менее длинные лестницы философских, литературных и исторических (даже естественноисторических!) понятий — все идут к Одному Незыблемому и Затерянному в тех Эдемах, куда я силюсь восходить, чтобы услышать там ясный и близкий Страх божий, запечатленный в моем существе *от века* (это уж религия), как *Твое* откровение. В этой запутанной формуле коренится однако вся суть «моего» и в ней же — приблизительное изображение моей молитвенной любви к Тебе. Оттого, что «все имеет свое место», как звено непрерывной цепи, все должно вступить в *органическую* связь с моим последним выражением, с тем, что составляет мою цель и полное уничтожение моего личного «я» — с Тобой в будущем. Здесь (как это ни странно) я все еще стою на точке зрения не собственной только, а на мировой, вселенской, постигнутой многими, как и непостижимой для многих, мистической философии. И без конца, если бы это было нужно, я разви-



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА В РОЛИ ОФЕЛИИ

Фотография, 1898

Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

вал бы очень стройную, далеко не рассудочную (это важно) систему, которая свелась бы к объяснению моих отношений к Тебе — к объяснению их отличия (резкого, крайнего, полного) от «обыкновенных» любовных отношений. Но это теперь не нужно, потому что, во 1-х, об этом лучше говорить, чем писать, во 2-х — теперь время еще первое, туманное, мы еще пробуждаемся, я еще «не угадал Твоего имени»², еще так ослеплен Твоим благоуханным настоящим, что не постигаю пророчески твоего будущего. Только еще, храня Страх божий, не смею взглянуть в лицо Тому, от Кого исходит этот Страх. Ты хотела верить, не смейся же теперь. Не думай, что все это один рассудок, воображение, идеализация, «небесное». Главное, об этом прошу Тебя; если не можешь верить этому, верь пока тому, что я в это верю. Помни одно: если бы я относился к Тебе теперь иначе, более обыкновенно, клянусь Тебе, что я бы *заставил* Тебя поверить во все чудесное. Это было бы кратковременно, но Ты бы верила, и теперь вот, в настоящую минуту — испытывала бы удивление, экстаз почти безумный. Но Ты для меня теперь — глубина неисповедимая, и я не имею силы до времени испытывать Твой Дух. Пока я только уверен сам, но уверять Тебя иначе, чем словами — не в моей власти.

Т в о й

Прости меня за это письмо. Ни оно, ни я, и ничего — не достойно Тебя.

¹ Датировано по связи с окружающими письмами. Это письмо было отправлено не по почте, а, очевидно, с посыльным и в адрес А. М. Никитиной (подруги Л. Д. Менделеевой). На конверте — надпись: «С просьбой передать Любови Дмитриевне Менделеевой».

² Измененная цитата из стихов Вл. Соловьева (см. ниже — примеч. 7 к письму № 31).

30

⟨17 декабря 1902. Петербург⟩¹

И я, как Ты, сегодня и днем и вечером много говорил. У меня был Грек², опять говорили о самоубийстве, я ему говорил спокойные и здравые слова, во многом скрывая мою мятельность, мой страстный порыв к Твоему солнцу. Кружится голова и возникают мечты и сны непрестанные, блаженные, тревожные — все о Тебе. При нем получил Твое письмо и распечатал его только сейчас, когда он ушел и я совершенно один, и никого нет в квартире. На меня дохнуло Твоей жизнью, Твоей чистотой и молодостью, — мне больше этого не надо, здесь — все. Брожу около этих берегов и слушаю волны. Твои слова прекрасны, им нет равных. Помни, что будет несказанно прекрасное, чего мы не поймем, а только будем счастливы. Не тревожься, помирись с окружающим³. Когда я ждал тебя в то отдаленное и прекрасное время Твоего молчания, мне были незаменимы часто простые люди, простые слова, разговоры, театры. В этом мимолетном, бесцельном можно все время прислушиваться, можно сгорать сердцем, чуя где-то вдали скрытое и готовое вспыхнуть мерцание другого сердца. Там бьется и замирает другое и близкое. И во всем невинном хаосе окружающего, как будто ненужном, всплывает прекрасное и доброе, как бы веет тихое, греющее, пророческое знамя. И в его теплых складках таятся мгновения, готовые снизойти и осуществиться. Это хорошо, это — так надо. Через это вся простая жизнь примиряется с желанной жизнью как будто в каком-то «голосе тонкого холода»⁴. И теперь, моя Тайна, моя Любовь, Ты, светлый и белокрылый Ангел, мне это чувство часто знакомо, через всю тревогу, через все глубокое потрясение, через вихрь моей Любви к Тебе. Ты устала теперь вообще, от «разного», от «нового», а не только от окружающих людей и слов. И я иногда чувствую эту усталость от «сладкого бремени». Она легка и выносима, потому что близка к томно-зовущему голосу. Ведь и райские птицы устают от счастья. Когда Ты очень устанешь, не пиши, Тебе трудно. Я все пойму и все знаю, и, хотя Ты бесконечно высоко надо мной, и в мои долины смотрит то же солнце — один и тот же луч. Помни все время, что я сердцем с Тобой, что Ты — властная, а я — подвластный, и нет больше моей Любви к Тебе; что никакая сила в мире не страшна для Тебя по отношению ко мне. Верь этому и будь хоть в этом спокойна. Мне нужна только Твоя жизнь, бьющаяся около, и в этом я сам чувствую свою силу и свою власть над остальным — бедным и преходящим. Для Тебя — мое сердце, все мое и моя последняя молитвенная коленопреклоненность.

¹ Дата почтового штемпеля.

² Виктор Викторович Грек (ум. в 1914 г.) — товарищ Блока с детских лет (сын одного из офицеров л.-гв. Гренадерского полка, сослуживца отчима Блока). Биограф Блока, М. А. Бекетова, сообщает: «В годы ученья в гимназии Блок дружил и с Греком, который был уже тогда юнкером, а потом и офицером Гренадерского полка. Они разошлись уже после женитьбы поэта просто потому, что жизнь их пошла различными путями, но у них сохранились хорошие отношения до самой смерти Грека, который был убит в германскую войну в одном из первых сражений. Грек был очень умный, страстный, самолюбивый юноша демонического склада, верил в судьбу, носил в кар-

мане заряженный револьвер. Одно время увлекался спиритизмом. По свидетельству его жены, очень крупной и своеобразной женщины, Блок занимал в его жизни исключительное место, и такого друга, по словам покойного, у него уже после никогда не было» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Изд. 2. Л., 1930, стр. 50).

³ Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 17 декабря 1902 г.): «Весь день ждала я этого часа, когда останусь одна вечером, в тишине. Думала, что смогу сказать тебе мои бесконечные думы о тебе, мою любовь... Но я так устала за день от всех людей, мне так нужно все время напрягать внимание и волю, пока я с ними (а сегодня у меня не было ни минуты покоя), что даже писать тебе мне трудно — прости, опять глупое, вялое письмо! Утром была я на курсах, не успела хорошенько вчитаться в твои письма (если бы я умела говорить о стихах, я сказала бы самые восторженные слова об этих, но я могу сказать только, что люблю их так же, как и все, что ты пишешь), пришла Шура, пришлось долго говорить с ней, ничего не рассказывая, а это трудно — не потому, что мне хочется рассказать, теперь этого со мной никогда не бывает, трудно отклонять вопросы или неопределенно отвечать на них, когда она знает так много. Сегодня же вернулась Лида, и с ней пришлось «проболтать» весь вечер, а завтра весь день тоже должна быть с ней, вечером идем опять в театр. Хорошо еще было бы, если бы хоть кончилось все скоро, но ведь, представь себе, мой дорогой, на рождество приезжает тетя (мамина сестра), я обыкновенно все время проводила с ней, часто ходили в театр, — как мы будем видеться? Такая досада на всех и тоска без тебя!»

⁴ «Глас холода тонка» — выражение из славянской Библии, примененное Вл. Соловьевым в стихотворении «В стране морозных व्यог...».

31

⟨18 декабря 1902. Петербург⟩¹

Сейчас я вошел в свою темную комнату и увидал на столе письмо. Когда зажег лампу, оказалось не от Тебя, а от Луцинской (матери)², которая просит читать у них на вечере в четверг. Разозлился на все и, конечно, написал отказ. Во 1-х — письмо не от Тебя. Кроме того, во 2-х — там говорится о том, что я, мож(ет) б(ыть), могу (все-таки!) возобновить в памяти все, «что забыто в силу новых вкусов и идеалов». В сущности, это ничего не значит, но я везде вижу намеки и злуюсь. Какое им всем дело до того, что им и присниться не может! Час от часу, миг от мига все страстнее хочу Тебя видеть, думаю о несбыточном. Велят сидеть дома, но я сокращу сроки, как только возможно. Что Ты делаешь, что Ты думаешь? Что вокруг Тебя? Думаешь ли Ты, как я, я о том, что когда-нибудь, скоро, совершится то, о чем мы и подозревать не можем — с нами? И скоро — «во мгновение ока»³. Я не даром надышался твоих вербен, и не даром пригрезилось мне много странного и великого в эти годы. Ты сильна той Лазурью⁴, которая не может «быть» без проявления (как истинное «бытие»). Нас колышет, нас влечет и дразнит. Одна женщина, принадлежавшая к Пифагорейской общине⁵, в VI веке до Р(ождества) Хр(истова) (заметь, заметь!) написала между прочим вот что: «Когда женщина победит низшие побуждения и овладеет гневною силою духа, тогда родится в ней божественная гармония»⁶. И все эти Пифагоровы братья и сестры считали себя «равными блаженным богам». И еще много чего «странного» есть в истории. «Люди» не поверят всему этому. Хочешь верить Ты? Я верю. Но мне нужно «угадать Твое имя», потому что уже «тает лед, расплываются хмурые व्यюги, расцветают цветы»⁷. Солнце повернуло на весну. Как красиво и как тревожно! — Я почему-то опять беспокоюсь о том, что у Тебя вышло с мамой. Не указывает ли это на то, что она о чем-нибудь догадывается? Конечно, это пустяки, и Ты будь

спокойна. Кончатся ли курсы 20 или 21 (в субботу)? Вот видишь, пишу опять, о чем пишется, о большом и о малом — все вместе. Сегодня опять были разговоры о Мережк^{овских}, о религ^{иозно}-фил^{ософск}ом общ^{естве}, и т. п. Скоро мы «оставим всех Мережковских»⁸. Зин^{анду} Ник^{олаевну}⁹ я понял еще больше, она мне теперь часто просто отвратительна. Чем больше я узнаю о «петербургском», тем глубже и чаще думаю и чувствую по-«московски». Чего хотят все эти здешние «на освященном месте»¹⁰? Скоро все это откроется. Знаменательно теперь новое появление г-на Добролюбова на литерат^{урно}-мистических горизонтах¹¹. О, как они все провалятся! Я же с Тобой и от Тебя беру всю мою силу противодействия этим бесам. А силы понадобятся много.

Твой безраздельно.

¹ Дата почтового штемпеля.

² *Лучинские* — знакомые Блока с осени 1900 г. В их доме устраивались литературные вечера, в которых принимал участие и Блок (см. «Письма к родным», стр. 57).

³ Цитата из «Первого послания к коринфянам» апостола Павла (XV, 52).

⁴ Ср. в стихотворении Блока «Не сердись и прости...» (10 июня 1901 г.):

Мыслью сонной цветя, ты блаженствуешь много,
Ты лазурью сильна.
Мне — другая и жизнь, и другая дорога,
И душе — не до сна.

⁵ *Пифагорейцы* — религиозно-мистическая секта и политическая партия, действовавшая в Греции в VI—IV вв. до н. э. и считавшая своим учителем математика и философа Пифагора (ок. 580—500 до н. э.). Мистика пифагорейцев была тесно связана с орфическими учениями о бессмертии души, о переселении душ и т. п.

⁶ Блок вычитал о пифагорейцах в «Очерках древнейшего периода греческой философии» М. Н. Каткова, напечатанных в сборнике «ПроPILEи», кн. 1, М., 1851, стр. 305—359. Среди бумаг Блока имеется сделанный им как раз в 1902 г. конспект очерков Каткова; здесь подчеркнута именно та фраза, которую Блок привел в письме к Л. Д. Менделеевой. В ответном письме (почтовый штемпель 18 декабря 1902 г.) Л. Д. Менделеева писала: «Ты пишешь что-то, что я не совсем понимаю, но раз ты веришь всему этому, буду верить и я, пойму потом. Только где я возьму «гневную силу духа»? Не знаю, ведь теперь-то уж никакой ни воли, ни силы у меня нет; сила любви — что-то похожее на полное бессилие. Но я все-таки твердо верю, что, когда это нужно будет для тебя, я сумею и силу найти, сумею и понять все, пойму, где твое счастье и что я должна делать. А теперь я понимаю только, что мне нужно видеть тебя, что пока я тебя не вижу, я точно не живу, так пусто и ненужно все кругом».

⁷ Цитаты из стихотворения Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем...» в первоначальной редакции («Книжки Недели», 1898, № 12, стр. 49):

Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы...
Только имя одно Лучезарной подруги
Угадаешь ли ты?

(в окончательной редакции первая строка читается: «Тает лед, расплываются хмурые тучи...»; Блок, очевидно, непроизвольно сконтаминировал первую редакцию с окончательной).

⁸ Фраза Л. Д. Менделеевой, занесенная Блоком в его записную книжку № 3 (август — осенние месяцы 1902 г.): «Я прошу Вас оставить всех Мережковских» (З. К., 42). Л. Д. Менделеева относилась неприязненно к кружку Мережковских и особенно — к З. Н. Гиппиус (в последнем случае примешивалось и чувство ревности).

⁹ З. Н. Гиппиус-Мережковская.

¹⁰ Блок в это время испытывал острое разочарование в «новохристианских» идеях Мережковских. Особенно раздражен он был их пренебрежительным отношением

к мистической проповеди и к литературному наследию Вл. Соловьева, которое для Блока было «освященным местом». Так, в письме к М. С. Соловьеву (брату философа) от 23 декабря 1902 г. Блок, откликаясь на известие о том, что стихи его должны появиться в альманахе «Северные цветы», утверждал: «Мне лично тут еще, кроме всего другого, особенно важно, что мои стихи будут помещены в *московском* сборнике — оттого, что Ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым петербургским вывертом Мережковских...». И далее: «М-ше Мережковская однажды выразилась, что Соловьев устарел и «нам» надо уже идти дальше. Чем больше она говорила таких (а также и многих других!) вещей, тем больше я на нее злюсь, и иногда даже уж до такой степени злюсь, что чувствую избыток злобы и начинаю напоминать себе о ее несомненных талантах» (VIII, 48—49).

¹¹ Александр Михайлович Добролюбов (1876—1944?) — поэт-декадент, предававшийся и в быту всем крайностям декадентского «демонизма», но в 1899 г. неожиданно обратившийся к религиозному аскетизму и проповедничеству. Впоследствии он основал в Поволжье многолюдную секту «свободных христиан» («добролюбовцев»). В 1902 г. после скитаний по монастырям Добролюбов на короткий срок снова появился в Петербурге и якобы был намерен «вернуться в жизнь интеллигенции» (см. Валерий Брюсов. Дневники. М., 1927, стр. 117 и 126). Блок в сентябре 1902 г., отмечая «отсутствие идеалов у декадентов», назвал Добролюбова — автора бессмысленных и бесталанных виршей — «главой лапсосушения» (З. К., 43). В декабре 1902 г. в цитированном выше письме к М. С. Соловьеву Блок, говоря об отрицательном отношении Мережковских к Вл. Соловьеву, добавлял: «В довершение всего на сцену выступает г-н Добролюбов, который «выздоровел»! Наше место свято» (VIII, 49), — в декабре 1902 г. А. М. Добролюбов по требованию матери был помещен в психиатрическую лечебницу, но по медицинскому освидетельствованию был признан душевно здоровым. Впоследствии, в апреле 1903 г., Блок, отчасти под впечатлением религиозно-нравственного проповедничества Добролюбова, посвятил ему сочувственное стихотворение («А. М. Добролюбов»), в котором охарактеризовал его, как «больное дитя». Еще позже, в 1906 г., Блок писал И. М. Брюсовой, приславшей ему книги А. М. Добролюбова («Собрание сочинений», М., 1900, и «Из книги невидимой», М., 1905): «У меня за последние годы все еще только приготавлиется какое-то «отношение» к Добролюбову. Часто я закрывал глаза на него; иногда мне казалось воистину, что А. М. Д. «своею кровью» начертал он на щите... Кажется, я начну теперь понимать в этом (добролюбовском) направлении все больше. Мало удовлетворяли анекдоты, да и сам Добролюбов, просящий сахару в чай у «сестры Зинаиды Гиппиус» (это было раз при мне)» (VIII, 150—151). О Добролюбове см. в издании «Русская литература XX века», под ред. С. А. Венгерова, т. 1, М., 1914, стр. 265—287.

32

(19 декабря 1902. Петербург) ¹

Утром 18 декабря на это письмо я, конечно, написал, что не приду. Послал также Мережковской свою Голубиную книгу (последние стихи, больше еще не написал) ². Можешь ли Ты устроить так, чтобы нам увидеться завтра (в пятницу 19-го) вечером в половине 9-го (8 1/2) на Серпуховской? Пойти к Шуре, например? Боюсь, что это трудно. Во всяком случае, до завтрашнего вечера Ты успеешь написать. Если нельзя, то напиши про субботу — днем, или вечером. Выйти мне, в сущности, можно и в пятницу. Хочу Тебя видеть больше всего на свете, расскажу Тебе «про лилии, про песни, про ивы» ³. На Зинаидином письме пишу нарочно — для веселья.

Твоя поэт и поклонник.

¹ Дата почтового штемпеля. Написано на обороте следующей записки З. Н. Гиппиус:

«Среда 17

Не придете ли завтра (четверг) вечером к нам? Я все время была больна, да и теперь еще не совсем выздоровела. Завтра, может быть, будет первый экземпляр «Пути».

Ваша З. Г и п и у сь.

² Стихотворение «Царица смотрела заставки...» (см. письмо № 28).

³ Из стихотворения Блока «Офелия» (см. письмо № 22).

33

«23 декабря 1902. Петербург»¹

Если бы только увидеть Тебя скорее, остальное все прекрасно. Ты знаешь, что я молодею около Тебя. С тех пор, как Ты изменила внезапно всю мою жизнь, я чувствую с каждым днем все больший подъем духа. У меня никогда не бывало зим без долгих и бесплодных часов апатии. Теперь нет давно уже ничего подобного, у меня столько энергии, сколько никогда не было. Твоя близость действует незримо и таинственно, дает сознание какой-то «породы», очищающейся и расцветающей. Сегодня я уходил днем в город, был на Забалканском и у нас². Когда я вошел, я увидел свет над дверью (там была поднята штора) и стал открывать ее и шевелить без ключа, и мне казалось, что я опять услышу за дверью шорох Твоего платья, и Ты откроешь мне. Почему-то мне казалось так, хотя я и не надеялся. И был немного разочарован. Но это будет, скоро и вместе как долго! Завтра, 25-е и потом только вечером 26-го — и Ты будешь не одна. Тогда нам лучше стараться не делать ни малейших намеков, это и легче даже, потому что от намеков разгорается сердце. Я читал Твое письмо³, которое Ты дала мне, и подумал, что если бы я получил его тогда же, в прошлом году (т. е. после 29 янв<аря>⁴), я и тогда же разубедил бы Тебя во всем. Я бы понял тогда сразу, что разом с отвлеченных намеков нужно перейти к реальному и страстному до сумасшествия признанию во всем. Может быть, Ты до сих пор думаешь, что было когда-нибудь время, когда я *только* думал о Тебе, и не чувствовал Тебя, живую, источник моей *жизни*, а не моей фантазии. Этого никогда не было. Было только время, когда Твоя холодность принимала такие размеры, что мне *оставалось* только ждать загробных свиданий. Но не было дня, когда бы я на первое слово, движение, улыбку в мою сторону не ответил бы Тебе со всей земной страстью; и Ты напрасно думаешь и теперь, что бывают у меня дни отвлеченные и реальные. Бывают *более* отвлеченные, когда я надышусь метафизикой из книг или от людей, которые все говорят, в сущности, об одном. Тогда я только чувствую еще и будущие миры. Но никогда, раз навсегда клянусь Тебе, я не в силах уйти в полную отвлеченность. Я *никогда* не забуду, что Ты живая и молодая, такая, как Ты есть перед глазами, в простом человеческом сердце моего существа. Ты принимаешь за отвлеченное, м. б., иногда образы и фантазии в рифмах. Но ведь стихи и образы не рассудочны. Только форма их граниится рассудком (окончательная), а содержание и, главное, «субстанция» всегда выпевается из сердца прямо, непосредственно. Воля, которая выражается в стихах, есть страстная, а не разумная воля. Я люблю Тебя так, как наверно никогда и никого не любил и не люблю. Ты — вся моя *молодость*, моя *живая* надежда, мое *земное* бытие. Ты — мой идеал не только «там», но и «здесь». И это было так всегда с тех пор, как я Тебя встретил. И *всегда* я сказал бы Тебе о моей страсти, если бы Ты *позволила* мне в прежние года говорить не только о бесстрастном. Но Ты никогда *не позволяла* мне этого, и это было так *надо*. Я писал бы Тебе сейчас всю ночь. Я полон Тобой весь день. Я хочу обнять Тебя, гладить Твои волосы, смотреть в Твои глаза. Напиши мне о том, что Ты чувствуешь, какое настроение, приехала ли Твоя



БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА («ГАМЛЕТ»)

В роли королевы Гертруды — Серафима Дмитриевна Менделеева

Фотография, 1898

Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

тетя? Я получил очень интересное и важное письмо, которое покажу Тебе, — от Мих<аила> Серг<еевича> Соловьева, который спросил Брюсова, будет ли он печатать мои стихи в «Северных цветах», на что Брюсов ответил: «О, да — и как можно больше». Это приятно во многих отношениях⁵. А Ты поверь мне до конца, что я люблю Тебя земной любовью, что больше этой любви нет пока, а *потом* только настанут иные времена. Но мне *не надо* их *теперь*, потому что в Тебе такой, как Ты есть, — мое все, моя вера, мой бог.

¹ Дата почтового штемпеля: 24 декабря 1902 г.

² На Забалканском — т. е. у Менделеевых; у нас — т. е. в меблированных комнатах на Серпуховской улице.

³ Вероятно, имеется в виду письмо Л. Д. Менделеевой от 29 января 1902 г., которое она передала Блоку позже.

⁴ См. примеч. 1 к письму № 3.

⁵ «Ваше известие о Брюсове, которого я в Петербурге не видел, обрадовало нас с мамой очень сильно. Еще раз благодарю Вас за все это», — писал Блок М. С. Соловьеву 23 декабря 1902 г. (VIII, 48). Михаил Сергеевич Соловьев (1862—1903) — педагог и переводчик, брат Вл. Соловьева и редактор посмертного издания его сочинений; был близок с символистами. Был женат на двоюродной сестре матери Блока и содействовал установлению связей Блока с московскими символистами, в частности — с В. Я. Брюсовым. В октябре 1902 г. он передал Брюсову стихи Блока. Тогда же, говоря о знакомстве своем с произведениями ряда молодых поэтов, Брюсов записал в дневнике: «Всех этих мелких интереснее, конечно, А. Блок, которого я лично не знаю» (Валерий Брюсов. Дневники. М., 1927, стр. 122). См. также примеч. 10 к письму № 31.

⁶ Ольга Михайловна Соловьева (1855—1903) — жена М. С. Соловьева, художница и переводчица — с большим интересом и сочувствием отнеслась к первым произведениям Блока. Стремясь содействовать их опубликованию, она послала два стихотворения З. Н. Гиппиус. Отрицательный отзыв Гиппиус и Мережковского вызвал возмущение Соловьевых и друга их сына Сергея — юного поэта Бориса Бугаева (Андрея Белого). 19 сентября 1901 г. О. М. Соловьева писала матери Блока: «Мне кажется, я виновата перед тобой и Сашей. Меня колет это сознание <...> Да, я виновата, я послала Гиппиус Сашины стихи, на что не получала от него никакого разрешения и не знаю, позволял ли бы он. Двое стихов: «Предчувствую тебя» и «Ишу спасенья». Я не скрыла имени автора, но ни о каком «Мире искусства» или чем-либо подобном не упоминала. Это было бы похоже на искание протекции. Просто послала с прибавлением всех наших мнений. Гиппиус разбранила стихи, написала о них резко, длинно, даже как будто со страстью. Я почувствовала себя предательницей и мне стало нехорошо.

Теперь я в первый раз за всю нашу переписку сердита на Гиппиус. Можешь себе представить Борю и Сережу! Сережа говорит, что «вся эта компания, и Гиппиус, и все они» принадлежат к партии Антихриста и что в случае с Сашей видны рожки» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 55, лл. 49—50 об.).

В «Автобиографии» Блок писал: «Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы» (VII, 14). Вероятно, и о них он думал, говоря: «Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы неистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах» (там же).

34

<24 декабря 1902. Петербург>¹

Прости меня, что я не приду сегодня. Сейчас получил Твое письмо (утром). Чувствую себя так, что знаю, что, если выйду сегодня, должен буду просидеть дома еще несколько дней. А это хуже еще, чем мой сегодняшний отвратительный поступок — сиденье дома, когда Ты ждешь меня. Но Ты простишь, я верю и все-таки раскаиваюсь и сержусь на себя. Но ведь лучше один день, чем несколько. Отчего Ты просишь разорвать письмо, оно прекрасно². Напишу еще вечером, потому теперь прекращаю. Прости меня еще раз — в том числе и за это бестолковое письмо. Хуже трудно написать. Вот его-то и нужно уничтожить.

Твой

¹ Дата почтового штемпеля.

² В этом письме (почтовый штемпель: 23 декабря 1902 г.), которое Л. Д. Менделеева охарактеризовала как «чепуху», она сообщала о незначительных семейных событиях и уславливалась с Блоком об очередной встрече: «Тетя приехала сегодня. Сейчас они с мамой уехали, а я сижу дома и досаую, что не знала раньше, что это будет так, и что ты так далеко и поздно предупредить тебя. Но завтра я хочу видеть тебя во что бы то ни стало и, кажется, это можно устроить так: я пойду за билетами в Итальянскую оперу, а оттуда на Серпуховскую часа в два. Только мне можно пробыть никак не позже 4 часов. Если хочешь, приходи к 2 часам, я постараюсь быть непременно, выдумая что-нибудь».

«24 декабря 1902. Петербург»

У меня опять жар, и потому я пишу карандашом (а бумага нарочно другая — от мамы). Все это нелепо и возмутительно. Пожалуй и 26-го придется сидеть дома. Теперь я совсем один, наши уехали. Средств примирения у меня два: 1) Постоянная бодрость духа, которую даешь мне только Ты. 2) Надежда на сравнительно скорое выздоровление. Если бы не Ты, мне было бы довольно все равно, есть или нет жар. Но такая моя частая связанность постоянно беспокоит меня по отн^ошению к Тебе. Есть, пожалуй, еще утешение, что теперь праздники, и мы все равно не могли бы видеться каждый день. Несмотря на все эти «преимущества», мне очень тяжело и тоскливо без Тебя. Твое утреннее письмо было такое живое и свежее. Какая досада, что в то время, как Ты вчера была дома одна, я был на Серпуховской и смутно надеялся Тебя видеть! Ко всему еще досадно, что после моего выздоровления, мне придется отбыть несколько праздничных условных посещений. И это отнимет время. Сегодня Ты ждала меня, это всего ужаснее. Сердишься ли Ты на меня? Во всем этом, конечно, виноват опять-таки я. Сколько времени Ты ждала меня? Неужели два часа? Напиши, прошу тебя. Я напишу завтра еще. Не лучше ли писать не только к Тебе, а также через Шуру¹. Если Ты не боишься серпуховских швейцаров, приходи туда, если это может доставить Тебе сколько-нибудь удовольствия. Прости меня, до свиданья.

Т в о й

СПб. 24 дек. 1902.

¹ А. М. Никитина.«25 декабря 1902. Петербург»¹

Пишу Тебе, очертя голову, не зная, как Ты получаешь письма. Беспокоюсь об этом. Сегодня — два твоих письма, боже мой, какие небывалые, несказанные слова! Я совершенно окружен излучинами Твоего сердца, думаю о том, когда мы увидимся, упрекаю себя за вчерашнее. Кажется, у меня до сих пор жар — придется ждать. Наконец-то у Тебя озарены глубины Твоей души. Я думал, что туда, в загадочную для меня область, в мое несбыточное, не проникнут мои лучи при всем их пылании. Но здесь, очевидно, судьба, дело какого-то светозарного бога, ангела, благосклонного ко мне. Здесь завязываются узлы каких-то заранее предначертанных целей, как у Ап. Григорьева:

Да, я знаю, что с Тобою
Связан я душой.
Между вечностью и мною
Встанет образ Твой².

«Знаю только одно, что безумно люблю»³. Это и есть моя вечность, моя углубленная стихия, последняя цель, с которой издавна связывалось все происшедшее в моей жизни. Сегодня у меня нет слов, я предпочел бы петь. Написал хорошие стихи, но теперь не пошлю их Тебе. Они совсем другого типа — из Достоевского, и такие христианские, какие я только мог написать под Твоим влиянием⁴. Часто я хочу теперь всех простить. То, что в прошлом году воспринималось с болью и ожесточением, теперь чище и светлее. Из сердца поднимаются такие упругие и сильные стебли, что часто кажется, будто я стою на пороге всерадостного познания — и хочу говорить: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии — и Аз упокою вы. Ибо время Мое легко»⁵. Жизнь светлая,

легкая, прекрасная. К счастью, мы переходим из эпохи чеховских отчаяний в другую, более положительную: «мы отдохнем»⁶. И это правда, потому что есть от чего отдыхать: перешли же весь сумрак, близимся к утру. Чего только не было — и романтизм, и скептицизм, и декаденты, и «две бездны»⁷. Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов. Но, чтобы мне выйти из декадентства современного мне, затягивавшего меня бесформенностью и беспринципностью, нужно было волею божиею встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе. И открылось дремавшее сердце. В Тебе — все спасение, от отчаянья, потому что непрестанно можно черпать из живого родника, неиссякающего, неутомимого. Ты нужна мне, как религия. Чувствую, что все что будет еще когда-нибудь нужно, я найду в Тебе. «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал»⁸. Прости, что все цитирую чужих. Но мне надо песен, когда около нет Тебя, воплощенной песни моего духа.

Т о й

¹ Дата почтового штемпеля: 26 декабря 1902 г.

² Из стихотворения Ап. Григорьева «Е. С. Р.»

³ Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Нет вопросов давно, и не нужно речей...».

⁴ Имеется в виду стихотворение «Все кричали у круглых столов...», написанное 25 декабря 1902 г. Л. Д. Менделеева в ответном письме (почтовый штемпель 27 декабря 1902 г.) писала: «Пришли же христианские стихи, а то выходит, что я их недостойна, а я не настолько учена, чтоб не обижаться, как Зинаида <Гиппиус>». Блок исполнил эту просьбу, стихи были посланы в письме от 28 декабря.

⁵ Цитата из Евангелия от Матфея, XI, 28, 30.

⁶ Слова Сони — героини драмы Чехова «Дядя Ваня», которыми заканчивается пьеса.

⁷ *Две бездны* («верхняя» и «нижняя») — термин мистической спиритуалистики Д. Мережковского, символизирующий дух и плоть, «начало» и «конец», жизнь и смерть. Поэтическое раскрытие термина — в популярном некогда стихотворении Д. Мережковского «Двойная бездна»:

...И смерть и жизнь — родные бездны:
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
Одна в другой отражены.
Одна другую углубляет,
Как зеркало, а человек
Их съединяет, разделяет
Своею волею навек...
Ты сам — свой бог, ты сам — свой ближний,
О, будь же собственным творцом,
Будь бездной верхней, бездной нижней,
Своим началом и концом.

⁸ Слова П. П. Рындина к романсу М. И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть...» (1840). Этот романс входил в песенный репертуар М. А. Олениной-д'Альгейм.

Я придумал следующее: не писать ли письма к Тебе пока так: Загородный, 14; 2-е почтовое отделение. До востребования. Литеры, например, АМД. Можно ли так? Следующее письмо я напишу так, потому что еще не получу ответа. Для того, чтобы получить, нужно прийти и спросить

письмо с литерами АМД (Alma Mater Dei) ². Если хочешь другие буквы — напиши, только не Л. Д. М., во избежание каких-нибудь подозрений, могущих проявиться всл<едствие> непредвиденного случая. Если Ты думаешь, что это пошло, напиши тоже. Но уверяю Тебя, что это все зависит от нас самих — вся внешность; мы совершенно вольны изменять по своей прихоти весь внешний жизненный обряд. Для меня это несомненно. Как Ты думаешь об этом? Сегодня утром я получил Твое письмо о том, как Ты ждала меня, и о «ветре, задувающем свечи» ³. Если бы этот ветер был до сих пор властен надо мной внутренне, как был некогда, это было бы ужасно. Но я чувствую только его последнее озлобление, невозможность повредить в корне. Уже он бессилен, потому что наступило Твое царство. Болезнь временна и пройдет. Это только мелкая досада. А мои «белые думы» далеки от этого смрадного ветра, глубоко гнездятся «у заветных тропинок души» ⁴. Прости, что я так бессвязен сегодня и вообще не всегда пишу ровно. За окном — весенние струи, тающие снега, Твое дуновение, «песни весенней язык» ⁵. Мне иногда мучительно хочется встретить Тебя и вместе с Тобой оградиться от всех людей разноцветным щитом любви. Может быть, от некоторых и не надо ограждаться, но теперь я чувствую, что от *всех*, потому что даже понимающие поймут что-то свое, другое, а не наше; все чужие. Это то, что Ты пишешь мне, это наша одинаковая песня, наше ближайшее ⁶. Лучшее в жизни должно быть хранимо. И если это лучшее не перенято от других, то нет причины верить его и делить с другими, которые не принимали участия в устройении наших тайнодействий, алтарей и священных обрядов; и даже я, больше, чем Ты, связанный с житейским, неодолимо свободен и осенен Твоей девственной ризой ⁷. Вот вчерашнее стихотворение, не то, о кот<ором> я писал ⁸, а еще другое и больше идущее к дню Рождества Христова.

Покраснели и гаснут ступени.
Ты сказала сама: Приду.
У входа в сумрак молений
Я открыл мое сердце — и жду.

Что скажу я Тебе — не знаю.
Может быть, от счастья умру.
Но, огнем вечерним сгорая,
Привлеку и Тебя к костру.

Расцветает красное пламя.
Неожиданно сны сбылись.
Ты идешь. Над храмом, над нами —
Беззакатная глубь и высь ⁹.

А сейчас вечер 26-го, когда я мог бы видеть Тебя!

Т в о й

¹ Дата — по заключительной фразе письма.

² Описка Блока. Нужно: «Ave, Mater Dei» (см. примеч. 10 к письму № 21).

³ См. стихотворение Блока «Мы всюду. Мы нигде. Идем...» (5 декабря 1902 г.):

Мы всюду. Мы нигде. Идем,
И зимний ветер нам навстречу.
В церквах и в сумерки, и днем
Поет и задувает свечи.

Я знаю все. Но мы — вдвоем.
Теперь не может быть и речи,
Что не одни мы здесь идем,
Что Кто-то задувает свечи.

Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 25 декабря 1902 г.): «Милый, бедный, опять ты болен!.. Это становится уж совсем несправедливо и жестоко со стороны судьбы... Ведь это не хорошая судьба насылает на тебя болезнь, а ветер, который задувает свечи, с ним надо воевать и делать ему все на зло. Спрятаться бы от него куда-нибудь, как мы спрятались в нашу комнату! Без тебя мне не хочется больше ходить туда, буду вспоминать, как я ждала тебя, а это было совсем не весело: я больше часу просидела в кресле, все слушала, ждала твоих шагов, боялась пошевелиться, чтобы не пропустить их...».

⁴ Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Белые колокольчики»:

Мы живем, твои белые думы
У заветных тропинок души.

⁵ Цитата из стихотворения Блока «Ветер принес издалека...» (29 января 1901 г.), в первоначальной редакции:

Ветер принес издалека
Песни весенней язык,
Где-то светло и глубоко
Небо разверзлось на миг.

⁶ Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 25 декабря 1902 г.): «Настроение у меня теперь всегда одинаковое, когда я одна без тебя: полная нечувствительность ко всему, что не касается тебя, не напоминает о тебе; читать я могу теперь только то, что говорит мне о тебе, что интересует тебя, потому я и люблю теперь и «Мир искусства», и «Новый путь», и всех «их», люблю за то, что ты любишь их и они любят тебя. Страшно это! Ведь после 7-го ноября, когда я увидела, поняла, почувствовала твою любовь, все для меня изменилось до самой глубины; весь мир умер для меня и я умерла для мира; я всем существом почувствовала, что я могу, я должна и хочу жить только для тебя, что вне моей любви к тебе нет ничего, что в ней мое единственное возможное счастье и цель моего существования. Я повторяю, кажется, что писала прежде, но мне хочется говорить об этом, я так ясно сознаю, ощущаю это сегодня. Как бы ты ни любил меня, моя любовь к тебе всегда одна, потому что она вся глубина души моей, то, что в ней постоянно и вечно и не может изменяться. Раньше я не знала, не понимала, что у меня в этой глубине души, я все старалась найти себя (это ты мне сказал, и это правда), теперь я нашла себя».

⁷ См. у Блока, в стихотворении «Я понял смысл твоих стремлений...» (26 февраля 1901 г.):

Но риза девственная зрима,
Мой день с тобою проведен...

⁸ См. примеч. 4 к письму № 36.

⁹ Стихотворение было написано 25 декабря 1902 г. Впервые напечатано (с незначительными изменениями) в сборнике Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

Прости меня, я ничего не сообразил и написал Тебе в почтовое от-дел⟨ение⟩, которое очень далеко от Тебя. Есть гораздо ближе, куда я и напишу следующее письмо: Измайловский просп⟨ект⟩ 7, 5-е почт⟨овое⟩ отд⟨еление⟩ (также— А. М. Д. до востреб⟨ования⟩). Если Ты находишь все эти предосторожности совершенно излишними, я напишу не туда, а опять прямо к Тебе. Тебе это виднее, а мне все что-то кажется, что ма-ма² может что-нибудь заметить..

Теперь день, и ветер свистит в трубе. А мне это необыкновенно безразлично. Прежде дни и вой ветра ложились на душу гнетущим ужасом, и только вечером становилось легче, когда я знал, «завершая дневные дела», что «Ты снова придешь»³. Теперь все иначе, особенно, когда я знаю



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА В РОЛИ ОФЕЛИИ. БЛОК В РОЛИ КОРОЛЯ КЛАВДИЯ («ГАМЛЕТ»)

В ролях: королева Гертруда—Серафима Дмитриевна Менделеева,

Лазрт—Лидия Дмитриевна Менделеева

Фотография, 1898

Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

из Твоего письма, что и Тебе не тяжело и не тоскливо, как было раньше. Когда-то я гнал от себя дневные, нервные, мелкие томления, но это было искусственно, потому что я знал, что изгнанное сегодня возвратится завтра и будет, наконец, день (как оно и бывало), когда иссякнет самое желание изгонять и наступит очередь апатичного подчинения «греху, проклятию и смерти»⁴. Ибо «не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Ев[ангелие] Иоанна, IV,⁵ 27). Никакое усилие над собственной волей не поможет, если в ней самой не заложено чувство духовного роста, *священное* устремление к предмету культа. Тут различается истинная любовь от неистинной: к неистинной нужно принуждать себя. Нужно представить себе, «вообразить» предмет любви так, как этого хочешь. Здесь, значит, внешнее принуждение. И так как всякое желание, идущее извне, а не изнутри, имеет свой предел, то и здесь потухает искусственно раздутый огонь и начинается медленный и естественный, ничем не истребимый прилив простой житейской скуки —

«охлаждение», как говорят циничные и пошлые люди, которые сами себе даже отказывают в разукрашении собственной несостоятельности. Согласно ли Ты с такими формулами не теории, но жизни? Истинная любовь сама в себе заключает непрерывный поток, расширяющийся по мере своего течения. И потому, обратно тому, как в ложной привязанности, под конец ее, всегда сожалеют (только) о «красивом» начале, в истинной любви, удаляясь от этого туманного начала, уже не жалеют о нем, а только сладко и благодарно вспоминают об истоке вод, который теперь, все расширяясь, проникает все области жизни, освящает и освещает их. Некогда жалеть о прошедшем, когда прекрасно настоящее. Нечего также жалеть о прошедшем, если существо его не изменилось, а только разрослось и еще разрастется, и всегда будет заключать в самом себе силу этого роста. А в ложном, наоборот, изменится *как будто* самое существо, потому что то, что сначала *кажется* истинным, оказывается под конец выдумкой. Здесь основание всякого «искушения». В нем — мера истинного чувства. Истинное не перегорит ни в одном горниле — его не отдашь и за «царство над вселенной» (хотя бы в искушении Христа), когда его обещает соблазнительно «приступающий» диавол⁶. Ложное не выдержит никакого искушения: у него нет сопротивления, оно «мишурно», эластично, поддельно. И никогда «свергнувшегося вниз» с *ложной* вершинки не понесут Ангелы и не поддержат «крылами своими». Он «преткнется о камень»⁷. Даже, пожалуй, он и не полетит. Ему только покажется; он испытает невинное головокружение. А камень, о который он преткнется, будет мировая, громадная, серая «скука», которая всех поджидает внизу, и стоит потушить огонь, чтобы остаться в потемках, сбиться с дороги и погрузиться в неизвестность и безысходность не жизненного, а житейского процесса. — Прости, что пишу все это Тебе. Ты все это знаешь еще лучше и совершеннее меня. Но это — воля, бьющаяся во мне, не знающая, куда деваться, не видящая Тебя вблизи, рядом, устремляющая к Тебе одни слова от невозможности (временной) действовать. Будь бодр, разгорайся, верь во все, во что Ты веришь теперь, — что нам «не суждено» «*врозь*» «выше восходить к сиянию Правды Вечной»⁸. Ты видишь теперь уже ясно, что все это — не метафизика, не выдумка, не мой самообман, а вся моя жизнь. Нечего отсылать религию за пределы бытия, как это делали средневековые и некоторые нынешние, невольно «средневековствующие», монашествующие по бессилию, сами того не сознавая (даже напротив, будучи глубоко уверены, что они «сводят небо на землю», разумею, конечно, Мережковского). Но с другой стороны, нечего и утверждать религию на «матушке сырой земле» (разумею Вас<илия> Вас<ильевича> Розанова)⁹. Последнее очень талантливо, но тоже «слишком» умно. Все — теория, теория. Религия сама здесь, среди нас, «идеже *два* или *три*е во имя Мое — ту есмь посреди их»¹⁰. Земля низко, небо — далеко, высоко. Между ними нет *середин* (всякая середина — ужас и смерть). Но есть то неопределимое (для чистых теоретиков), неисповедимое, куда вступили мы, куда привела нас не теория, а жизнь, откуда мы простим других и приблизимся к богу. А Он — в огне (сверхмирном), не в землетрясении (земном), а в «глазе холода тонка»¹¹. Мы слушаем этот глас.

Т в о й бесконечно.

¹ Дата почтового штемпеля.

² А. И. Менделеева.

³ Цитата из стихотворения Блока «Днем вершу я дела суеты...» (5 апреля 1902 г.):

Как ты лжива и как ты бела!
Мне же по сердцу белая ложь...
Завершая дневные дела,
Знаю — вечером снова придешь.

⁴ Источник цитаты не установлен.

⁵ Ошибка Блока. Нужно: III.

⁶ Имеется в виду евангельский рассказ о том, как Сатана искушал Христа, обещая ему господство над миром (От Матфея, IV, 8—10).

⁷ См. Евангелие от Матфея, IV, 5—6.

⁸ Цитата из стихотворения А. К. Толстого «О, не спеши туда...»:

Слиась в одну любовь, мы цепи бесконечной

Единое звено,

И выше восходить в сиянье правды вечной

Нам врозь не суждено!

⁹ Василий Васильевич Розанов (1856—1919) — реакционный философ, публицист и литературный критик, много писавший по вопросам религии и пола. Один из видных деятелей Религиозно-философского общества. Отличался крайней беспринципностью и цинизмом. «Признаюсь тебе, что редкий талант отвратительнее его», — заметил о Розанове Блок в письме к С. М. Соловьеву от начала апреля 1903 г. («Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 52).

¹⁰ Цитата из Евангелия от Матфея, XVIII, 20: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их».

¹¹ См. примеч. 4 к письму № 30.

39

(27 декабря 1902. Петербург)¹

Сейчас получил Твое длинное письмо. Я глубоко виноват перед тобой в том, что не прислал стихов, о которых писал (они здесь), и в том, что послал сегодня по глупости одно письмо в почтовое отд^еление на Загородный. Оно там и будет лежать с завтрашнего дня. Если нечего бояться, буду опять писать к Тебе, а Ты еще простудилась и не можешь выходить. — Это — о «делах». Сейчас, когда все утихнет, буду писать о том, что мне необходимо говорить Тебе каждую минуту, для чего слов и мало и много, отчего я в странном восторге.

Оттого, что прежде я находил шаткие истины, которых я сам боялся. Оттого, что Ты далеко и невинно от меня совершала тот таинственный путь, который привел нас к одному — теперешнему. Тогда я не знал этих очарований настоящего. Все они были в будущем, предчувствовались только и было опасно проходить по краям пропастей. Но теперь дорога вывела, и почва тверда. Истина близка, она — в Твоем Существо. Зачем Ты пишешь, что сила «немного» от Тебя. Она — вся Твоя, все остальное призрак, бегающие двойники, смесь непонятных исчезновений. У Гейне есть очень туманное романсеро — «Ночное плаванье»². Я в него не вник и не очень хочу вникать. Но вся мелодия говорит о каком-то тревожно-колеблющемся призраке. Так все колеблется, все прежние истины колеблются. Каждый обречен (из ищущих, конечно) проходить через леса исчезающего и временного, пока не достигнет настоящего и вечного. И эти леса именно потому заманчивы и не сразу ясна их временность, — что в них уже лежит предчувствие будущей настоящей истины. Каждый стебель моих теорий, каждый цветок и каждая ветвь говорила мне о Тебе. Но это было о Тебе и не Ты. Ты — убегающая, блуждающий огонь. Ты замыкалась и исчезала, когда я подходил, и, как только отходил, опять манила и мелькала факелом. Но я любил вечно, неудержимо, стремительно, сознательно: знал, что раскроется круг и будет мгновенье, когда Ты, просиявшая, сомкнешь его уже за мной, и мы останемся в нем вместе, и он уже не разомкнется для того, чтобы выпустить меня, или впустить третьего, черного, бегущего по следам, старающегося сбить с дороги, кричащего всеми голосами двойника-подражателя. И вот мы и с нами бог, и «третий» безвластен. Любовь победила. — Теперь о том, что Ты пи-

шесть. Зачем Ты думаешь, что мне «не нравится», что Ты не миришься с мамой? Этого не может быть. Я понимаю это только, как способ выражения. Мне *все* нравится — без исключений. Если хочешь, если можешь — помирись, это я думаю, для Тебя лучше. Лучше, чтоб не было натянутых отношений, маленького диссонанса в доме, особенно, когда этого не нужно и можно обойтись без него.

«Новый путь»³ не прислали, это не говорит в пользу компании Мережк(овских)). Думаю, что журнал очень интересный. Нравится ли Тебе и что именно? Занятен Тернавцев⁴. Вероятно, талантлив Розанов, Минский в прозе бледен, хороши некоторые стихи (Сологуб?), а о Толстом и Нитцше по отрывкам и говорить трудно⁵.

Мне лучше, но лучше не буду загадывать на будущее. Напиши, какие у Тебя планы в начале января. Если будешь не в настроении писать, — не пиши. Твое чувство ожидания и невозможной надежды у меня постоянное. Иногда кажется, что Ты вошла и около меня. Завтра напишу еще.

* * *

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место.
Было тускло от винных паров.
Вдруг кто-то вошел — и сквозь гул голосов
Сказал: — Вот моя невеста.

Но никто не слышал ничего.
Все визжали неистово, как звери.
А один, сам не зная отчего,
Качался и хохотал, указывая на него
И на девушку, вошедшую в двери.

Тогда она уронила платок,
И все они — в злобном усилии,
Как будто поняв какой-то намек,
Разрывали с визгом каждый клочок
И окрасили кровью и пылью.

Когда все опять подошли к столу,
Притихли и сели на место,
Он указал им на девушку в углу
И звонко сказал, пронизывая мглу:
— Господа! Вот моя невеста.

И вдруг тот, кто качался и хохотал,
Бессмысленно протягивая руки, —
Прижался к столу, задрожал,
И все, кто прежде безумно кричал,
Услышали — плачущие — звуки.

25 декабря⁶

Что ты скажешь про это?

Это — не декадентство? Это не бесформенно. Это просто и бывает в жизни, на тех ее окраинах, когда Ставрогин кусает генералов за ухо⁷. Но это «скорпионисто»⁸ и надо будет отдать Брюсову. Здесь⁹ не понравится. А, мож(ет) б(ыть), это чепуха? Напиши об этом. Всего важнее, что думаешь Ты.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля: 28 декабря 1902 г.

² «Ночное плавание» Гейне Блок знал, очевидно, в переводе Вл. Соловьева.

³ Только что вышедшую в свет первую книжку «Нового пути» (январскую за 1903 г.).

⁴ Валентин Александрович *Тернавцев* (1866—1940) — чиновник Синода и писатель по церковным вопросам, видный деятель Религиозно-философского общества. В «Записках Религиозно-философских собраний в С.-Петербурге», печатавшихся в качестве приложения к журналу «Новый путь», были опубликованы (при первой книжке) тезисы доклада В. А. Тернавцева «Русская церковь перед великою задачею».

⁵ В первой книжке «Нового пути» в числе другого материала были напечатаны: очерк В. Розанова «Мимходом (Из случайных впечатлений)» — о древности еврейского народа; трактат поэта и философа Н. М. Минского (1855—1937) «О свободе религиозной совести»; стихи К. К. Случевского, З. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонта и Ф. К. Сологуба («Как часто хоронят меня!..» и «Пойми, что гибель неизбежна...»); «Дополнения к оконченным частям Заратустры» Фридриха Ницше и извлечения из писем Л. Н. Толстого к М. А. Н(овоселову).

⁶ Стихотворение было написано 25 декабря 1902 г. Впервые напечатано (с незначительными изменениями) в сборнике «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

⁷ См. роман Достоевского «Бесы» (ч. I, гл. 1, 3).

⁸ Имеется в виду издательство символистов «Скорпион», литературным руководителем которого был В. Я. Брюсов.

⁹ Т. е. в редакция журнала «Новый путь», в кружке Мережковских.

40

⟨28 декабря 1902. Петербург⟩

Пишу на Измайловский пр⟨оспект⟩¹, но боюсь, что Ты опять придешь на Загородный из-за моей путаницы.

Сейчас у нас было все семейство Кублицких², и потому теперь у меня одно из тех страстных желаний видеть Тебя здесь сию минуту, какие всегда приходят с особ⟨енной⟩ яркостью после пребывания в чуждой обстановке. Тебе это знакомо.

А сегодня днем и вечером перед их приездом было нечто очень странное: разговор у нас с мамой. Очень трудно даже описать его, до такой степени он был сложен и вместе не выходил за пределы жизненной практики. Один из самых необыкновенных, и из них — самый необыкновенный. Прежде всего, помня (как и во все продолжение разговора), что Ты мне говорила один раз на Серпуховской — относительно того, что Тебе *не* неприятно, если мама (моя) знает нечто и подозревает остальное, — я скажу Тебе, что теперь она знает *почти все* (кроме, конечно, нашего главного, заключающегося *только* в нас, незнакомого никому и чего выдать нельзя по самому его существу). Но, останавливаясь на этом пункте, я прежде всего ужасно жалею, что Ты не знаешь мою маму. Во всяком случае, если можешь, поверь мне пока на слово, что большего *сочувствия* *всему* до подробностей и более положительного отношения встретить нам никогда не придется. Кроме того, все, что возможно, она понимает, зная и любя *меня* больше всех на свете (без исключений). Подробностей разговора я даже пока не напишу Тебе, потому что они сравнительно второстепенны. Разговор начала она сама, и во все время его (он был *без* имен) я имел две руководящие нити: во-первых — помнил то, что говорила мне Ты — поразительное для меня до крайности, чему я придаю теперь значение громадное; во-вторых — все время все-таки говорил *мнимому* того, что можно и *нужно* было сказать (раз уж принять во внимание первое), *сдерживал* себя в словах. Теперь мне, конечно, всего важнее то, как отнесешься к этому Ты. Если можно, напиши мне как можно ско-

рее только несколько слов. Во всяком случае все это очень важно. В случае Твоего положительного и благосклонного ответа в совершившемся факте откроются многие горизонты, в том числе даже практического свойства. Если же Ты *хоть на одну ноту недовольна этим*, даю Тебе клятву, что я *прекращу немедленно* всякие расспросы со стороны мамы и все будет так, как будто она *ничего не знает* (а это она сумеет сделать). При этом имей в виду, что мама относится к Тебе более, чем хорошо, что ее образ мыслей направлен вполне в *мистическую* сторону, что она *совершенно* верит в предопределение по отн<ошению> ко мне. Кроме того, *необходимо*, чтобы Твоя мама *менее чем когда-нибудь* могла подозревать что бы то ни было, потому что здесь (как Ты и сама, конечно, чувствуешь) *или* то, *или* другое. На этом я пока и кончаю — и мне *необходимо* знать, что думаешь Ты, ради бога, до глубины искренно. Малейшее принуждение может повернуть *даже нас* на ложный путь, потому что мы еще вполне, как я теперь совершенно ясно вижу, — в критическом периоде. Если Ты *сколько-нибудь* *против*, ради бога, так и скажи — и я ручаюсь, что *все будет по-прежнему*. Жду Твоего ответа. Сегодня я не написал Тебе ни одного красивого слова. Все слова житейские. Но это так надо.

Мое настроение все такое же бодрое, только я злюсь на тех, кто ровно ничего ни в чем не понимает. Но злюсь, а не раскисаю. Стихов новых еще нет. Я злюсь на тех, кто не Ты, Ангел Светлый, Ангел Чистый, моя Судьба, мое Все.

Твой

Напиши.

Целую Твое платье.

28. XII. 1902. СПб.

¹ Т. е. до востребования в почтовое отделение на Измайловском проспекте.

² *Кублицкие-Пиотух* — Адам Феликсович (1855—1932), брат отчима Блока, крупный чиновник Удельного ведомства; жена его Софья Андреевна (1857—1919), тетка Блока (сестра его матери); сыновья их — Андрей Адамович (1886—1960) и Феликс Адамович (1884—1970). Блок недолюбливал эту чиновную и чопорную семью, жившую совершенно иными, нежели он, интересами. Впрочем в ранней молодости он поддерживал дружеские отношения с двоюродными братьями.

Жду с нетерпением Твоего ответа на мое вчерашнее письмо к Тебе о маме. Потому пока об этом еще не буду писать. Напишу лучше в ответ на Твой вопрос о том, не кажешься ли Ты мне мертвой². Этого не только никогда не было, но я думаю еще, что в Тебе такая глубокая сила истинной жизни, что Ты свободно и безболезненно-спокойно все время отдаешь часть ее мне, и эта часть так громадна, что я чувствую себя совершенно возродившимся и необыкновенно бодрым. Все в другом свете. Об этом я уже писал Тебе. Кроме того еще сила развивается все время через мою связь с Тобой, и в этом постоянном упражнении духа несомненно кроется энергия будущего. Но главное — все от Тебя. Ты — первая причина, заставившая меня вскрыть в себе свои собственные силы, дремавшие или уходявшие на бессознательное. Я говорю Тебе, что мне никогда не было так легко воспринимать все жизненные явления, как теперь.

Если Ты не можешь помириться с мамой теперь, это ничего. Если даже что-нибудь теряется от этого теперь, то наверстается потом. Но мне кажется, что даже и теперь от этого мало теряется, потому что причина ссоры лежит не очень глубоко, а основана главным образом на том, что мама совершенно не понимает Тебя и едва ли вникает в сложность Твоей



Липовая аллея или «Белая дорожка» в
Боблове, место одно из самых памятных
из наших разговоров с Сашей и место
первой встречи
1/XII 1931 г. Л. Блок

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ В БОБЛОВЕ

Фотография, 1890-е гг.

Надпись рукой Л. Д. Менделеевой-Блок: «Липовая аллея или «Белая дорожка» в Боблове, место одного из решающих наших разговоров с Сашей и место первой встречи. 1/XII 1931 г. Л. Блок»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

развивающейся души, забывая, как это часто бывает, свое собственное прошлое. Едва ли ее можно винить за это, тем более, что она и не могла бы понять, при всем желании даже, Твоих исключительно громадных сил, частью еще покоящихся, частью начинающих приходить в брожение. Тем хуже для нее, если она не может присутствовать при Твоем пробуждении и расцвете, которому я, кажется (и дай бог), единственный сознательный и восхищенный свидетель. Это необходимо должно быть именно так, потому что к нашему возрасту особенно применимы евангельские слова об «оставлении человеком отца своего и матери»³ — соверш(енно) естественном. Все придет впоследствии само собой, теперь же период более чем критический, окраина жизни, на которой все отношения никоим образом не могут быть уравновешены, потому что это было

бы в ущерб *главным*, что вполне немыслимо (думаешь ли и Ты так?) и, если выбирать, то нельзя не предпочесть первое — иначе выйдет *середина* — хуже безнравственности, просто отсутствие всякой нравственности и всего настоящего и сильного.

Думаю, что нам можно буд^(ет) увидеться в первых числах января. Твои письма для меня целебны. Я у Твоих ног и непрестанно с Тобой.

¹ Дата почтового штемпеля: 30 декабря 1902 г.

² Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 29 декабря 1902 г.), делясь своими впечатлениями от первой книжки «Нового пути»: «Новый путь» для меня был очень интересен; именно то, что ты пишешь, и еще один рассказ «Вымысел», забыла фамилию автора, а журнал у мамы. Там молодая девушка, кот^(орая) кажется «ему» древней, тысячелетней и не живой, с мертвыми глазами. Ты меня тоже называл древней, а мертвой я тебе не кажусь? Стихи мне понравились Зиночкины, «Снег», и Сологуба. Когда же они напечатают твой?» (автор рассказа «Вымысел» — Л. Денисов; *Зиночка* — З. Н. Гиппиус; «Снег» — стихотворение З. Гиппиус).

³ См. Евангелие от Матфея, X, 35—37.

42

⟨30 декабря 1902. Петербург⟩

Сегодня я целый день думал и говорил, и вдруг меня охватила непомерная жажда Тебя видеть и говорить с Тобой, и я почувствовал страшное беспокойство, какую-то непонятную тревогу. Это также и оттого, что целый день напряженно ждал Твоего ответа, и теперь уже нет и не может быть письма до завтрашнего утра. Неужели что-нибудь случилось. Может быть, Ты рассердилась на меня за мой два предыдущие письма? Ответь мне на это, прошу Тебя. Нам можно будет встретиться скоро. Можешь ли и хочешь ли Ты 2 января в 3 часа дня на Серпуховской. Или — лучше вечером там же. Если бы Ты могла уйти к Шуре¹, у которой Ты давно не была? Я совершенно стосковался о Тебе, между тем раньше нет никакой возможности, а Тебе, может быть, и тогда нельзя. Если нельзя то 3-го, когда угодно, только бы видеть Тебя и слышать. Напиши мне обо всем этом, как это можно устроить. В первый день января я не буду делать никаких визитов и буду «потом» извиняться, а вечером придется поехать на Вас^(ильевский) Остр^(ов) к Ник^(олаю) Ник^(олаевичу) Бекетову². Завтра вечером мы будем «встречать Новый Год» у Кублицких³. Все это мне не повредит, надеюсь, потому что выходить уже можно, я чувствую себя лучше. У меня какая-то тоскливая сила, энергия жизни, вечно бьющаяся сердце, и, пока я Тебя не увижу, будет все тревожнее и тяжелее. Не знаю, куда девать себя. Это пусть будет последнее письмо, потому что 1-го Ты едва ли можешь достать письмо с почты, все будет закрыто. Если бы Ты могла 2-го вечером или хоть днем. Разве не лучше вечером? Мне вместе тоскливо и весело и страшно тревожно, я боюсь, что есть какая-ниб^(удь) причина в Тебе, потому что о чем же я могу тревожиться, если не о Тебе. Послезавтра Новый Год. Пусть будет и Новое Счастье. Я безумен, но лучше безумие, чем что-нибудь темное. Пускай мне снятся падающие звезды и вихри мировой страсти, все кошмары и ужасы, только бы Ты была светла вечно и ничто не омрачило Тебя. Только скажи мне слово, и я отрекись от всего и от себя и забуду все прошлое и настоящее, и открою окно на будущие зори, и под Твоим окном, у Твоих ног мне будет жутко и весело и страшно. Ответь мне на это письмо, даже если Ты написала уже ответ на те два, хоть одно слово, чтобы я знал опять, как я знал это вчера, что Ты не проходишь мимо, как лучезарное светило, к которому я влекусь всем существом и не могу уловить мелькающий луч. Это все не рито-

рика, и Ты прости меня за бессвязность и туманность. Ты видишь, что необходимы и неизбежны минуты величайших напряжений, когда утрачивается даже чутье слов и мерной красоты. Я говорю бог знает что. Прости меня и будь благословенна.

Безраздельно Т в о й

30 дек.

¹ А. М. Никитина.

² Николай Николаевич *Бекетов* (1827—1911) — брат деда Блока, А. Н. Бекетова, выдающийся ученый (физико-химик), академик.

³ См. примеч. 2 к письму № 40.

43

Вечер. 31 <декабря 1902. Петербург>

Сейчас я получил Твое письмо ¹. Вчера я послал вечером письмо, которого Ты, может быть, не получишь. Оно глупое и беспокойное. Теперь все иначе, чем было вчера, когда я чего-то вдруг испугался и сегодня с утра опять был в глупейшем беспокойстве. Теперь все прошло — после Твоих Слов, проникающих в сердце. Ты пишешь, все-таки, то, чего нет, о чем и речи не может быть, что кто-то должен прощать Тебя. Неужели Ты не видишь, что у меня может быть мысль не о прощении, а только о бесконечном поклонении. Ты, без сомнения, все время указывала мне дорогу среди ночи и, когда я стал сбиваться, внезапно подняла факел и брызнула мне в глаза ослепительным светом Истины, Добра и Красоты. Ты, не переставая, ведешь меня по неуклонной дороге все дальше, все цветистее, все шире, указываешь мне в синюю даль. В этом для Тебя не должно быть сомнения, так же как я верю в это с каждым днем тверже. Ты учишь меня счастьем. Я учусь, но «никогда не буду выше Учителя» ².

Я писал Тебе, что мы можем видеться 2 января (четверг). Можно вечером? Если Ты уже написала, не пиши больше. Если нельзя, назначь когда угодно потом, и я брошу все, если что-нибудь нужно будет бросить.

Относительно разговора (с мамой) мы лучше будем говорить. Он был «практический» и больше не повторялся. Но мама довольна всем «этим». Она многого не знает еще, все-таки. И о мистической сути я ей говорить не буду, она только может думать об этом сама. Больше никому говорить не буду ³. Что будет в 1903 году? Я молюсь о счастье, Ты сияешь мне. Нет минут, не освященной Тобой.

¹ Л. Д. Менделеева писала (почтовый штемпель 30 декабря 1902 г.): «Мой дорогой, я рада, что мама знает все, я давно этого хотела в глубине души, потому что хотела, чтобы она знала, что тебе хорошо теперь, что ты счастлив и что если я и сделала тебе что-нибудь злое в прошлом году, то теперь и ты, и мама можете мне все простить за мою любовь. Кроме того, я твою маму люблю теперь больше всех на свете, после тебя, и мне хотелось всегда, чтобы и она хоть немного знала меня и любила... Мама ничего не знает и теперь ей и подозревать нечего. Помни, что, кроме моей любви и тебя, у меня ничего нет на свете, я верю только тебе, делай что хочешь, говори все, кому хочешь, а маму твою я люблю и верю ей».

² Цитата из Евангелия (От Матфея, X, 24; От Луки, VI, 40).

³ По этому поводу Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 2 января 1903 г., см. письмо 44, примеч. 1) и признавалась: «Ни о чем другом не хочется писать. Я все время всей душой с тобой, жду письма, жду нашей встречи; так нужно, наконец, поговорить, не скажешь всего в письме, что хочется сказать».

1903

44

2 января (1903. Петербург)
5 часов

Сегодня вечером я буду на Серпуховской, хотя у меня нет почти никакой надежды. Досадно, что Ты не получила двух писем (одно — в почт-
<овое> отд<еление> на Изм<айловском>, а другое — к Тебе прямо. Не случилось ли с ним чего-нибудь неприятного?). Если можешь, будь на Серпуховской завтра (3-го) вечером. Если это письмо получится завтра утром, можно телеграфировать одно слово: «буду» (или — «не буду»). Может быть, сегодня Ты не могла бы все равно — это хоть некоторое утешение. Я безумно хочу Тебя видеть прежде всего, и потом уж говорить обо всем, но сначала — видеть и слышать голос: Сегодня утром было Твое письмо о разговоре ¹. Я опять не напишу подробно, лучше поговорим. Тут есть то «странное», о котором пишешь Ты и о кот<ором> трудно писать. Во всяком случае, маме известна «внешняя» сторона дела. Во внутреннюю я не посвящу никого, потому что она священна. Церковная проскомидия ² проходит тайно — вне народа, хотя бы и молитвенно настроенного. У меня бесконечные думы и бесконечные силы, не знающие, куда себя деть, ждущие Тебя. Если бы Ты могла прийти завтра! Если нельзя, напиши и назначь, когда Тебе угодно и когда Ты можешь. Адрес на конверте напишет мама ³ — это ведь совсем «внешнее», — так же, как она знает в общих чертах о наших прошлогодних встречах, о переписке, о Курсовом вечере ⁴ и о комнате ⁵. Если Ты не получила писем, надеюсь, что это новогодняя путаница на почте — не более того. Дай бог, чтобы это дошло.

Т в о й ⁶

¹ Л. Д. Менделеева писала (почтовый штемпель 2 января 1903 г.): «Мой дорогой, теперь я жду твоего письма о маме и беспокоюсь, не понимаю, отчего ты так долго не пишешь об этом... Пожалуйста, напиши мне скорее, этот разговор так важен, мне так нужно знать, что говорит и думает мама, что — ты».

² *Проскомидия* — один из разделов православного богослужения, когда священник и дьякон готовят просфоры и вино для причащения.

³ В целях конспирации, — поскольку Л. Д. Менделеева скрывала от домашних свою переписку и встречи с Блоком.

⁴ Бал, устроенный слушательницами Высших женских курсов в зале Дворянского собрания 7 ноября 1902 г., после которого произошло решительное объяснение Блока с Л. Д. Менделеевой.

⁵ О комнате, снятой на Серпуховской улице.

⁶ После этого письма в переписке — перерыв до 31 января, а вслед за тем — до 22 февраля (сохранились лишь две телеграммы Л. Д. Менделеевой от 4 и 13 января). Это объясняется известной легализацией отношений: 2 января Блок сделал формальное предложение Л. Д. Менделеевой, получил принципиальное согласие ее



БЛОК В РОЛИ ЧАЦКОГО. Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА В РОЛИ СОФЫ
 («ГОРЕ ОТ УМА» ГРИБОЕДОВА)

Фотография, 1898

Литературный музей, Москва

родителей (срок свадьбы не был определен) и стал открыто встречаться с невестой («конспиративные» встречи на Серпуховской, однако, продолжались). Тем самым отпала необходимость в ежедневной переписке.

45

⟨31 января 1903. Петербург⟩

Милая, пишу Тебе до воскресенья, чтобы Ты знала, что особенно беспокоиться не о чем ¹. Сегодня же, как только Ты ушла, я пошел к управл⟨ящему⟩ и узнал от него, что во вторник ночью на Серпух⟨овской⟩ была полиция, между прочим *и у нас*. Хорошо, что нас не было. Управл⟨ящий⟩ очень любезен, кажется, не виноват, получил выговор от пристава за то, что я не прописан у него в доме. Оказывается, что недавно градонач⟨альник⟩ подтвердил, что без прописки отдавать комнаты нельзя и пр. Обо всем этом даже писать неприятно, разорви это письмо. Управл⟨ящий⟩

сам предлагает оставаться до 8 февраля, но предупреждает, что есть *всегда* риск (даже и днем). Потому мне кажется, что больше оставаться там нельзя ни в каком случае, иначе может случиться ужасная неприятность, тем более, что обыски обставлены очень грубо и гадко; кроме того, если мы и будем рисковать, все время будет беспокойно. Поверь мне, что это очень важно и, прошу Тебя, согласись. Завтра (в субботу) я пойду на Серпуховскую¹ и возьму оттуда все (даже Твои булавки и мои письма) к себе. В воскресенье мы встретимся в 2 часа и погуляем, если погода будет не опасная для Твоей простуды. Сегодня все обговорил с мамой. Видеться совершенно можно у меня. Мама поговорит с отчимом, который отнесется ко всему более чем очень хорошо. А главное, мы не будем видеть (если Ты не захочешь) ни маму, ни отчима. Мама будет у себя в комнате на другом конце квартиры, а отчим, когда будет дома, — там же. Ничего не слышно совсем, везде ключи. Самое ужасное — расстояние², но придется помириться пока. Через мосты есть закрытая конка. Подумай об этом и согласись. Все подробности, из которых многие я уж обдумал, обговорим в воскресенье. Комнаты никакой уже придумать нельзя, потому что везде опасно. А здесь, у меня, лучше и чище всех других (наемных) комнат.

Ничего обыкновенного нет. Я говорю об этой «практике» только потому, что без нее не обойдешься. Но мне не жалко, не больно, меня она не беспокоит. Ничего нет обыкновенного. «Там» расцветают новые цветы, уже более благоуханные, чем были здесь. Внутри поднимается и растет. Сердце занялось. Комната (на Серпуховской) **ОСТАНЕТСЯ НАШЕЙ**³. Я оставляю там знак⁴. Завтра все это будет сделано и пройдет. Память останется. Если и жаль, то только стен. Но не жалею, потому что нет потери. Там самый воздух запоет. Здесь, у меня, Тебе понравится. Больше я ничего не скажу. Сказать нельзя. Мне хорошо теперь, завтра и всегда. Не думай об ужасном. Мне хорошо.

Твой

31 янв. 1903. СПб.

¹ Речь идет о полицейском осмотре меблированных комнат на Серпуховской улице, при котором выяснилось, что Блок занимал там комнату, не будучи прописан. Позднее он отметил: «31 января — очень неприятный конец Серпуховской» (VII, 425).

² Квартиры Менделеевых (на Забалканском пр.) и Кублицких-Пиоттух (в казармах Гренадерского полка на Петроградской стороне) были очень удалены друг от друга.

³ Подчеркнуто дважды.

⁴ В дневнике 1921 г. непосредственно после слов «Очень неприятный конец Серпуховской» Блок записал: «Мистическая записка под полом» (VII, 425).

46

⟨22 февраля 1903. Петербург⟩

Это — вечернее письмо. Мама на панихиде¹ — никого нет. Мне свободно и страшно грустно. Страха нет никакого, он прошел вместе с вчерашним вечером, и ушел в ту же сереющую, туманную ночь, куда ушла Ты. Там он дожидается, может быть, вернется, но не сегодня. И совсем не в нем *самом* деле.

Ты не пугайся, что я пишу Тебе. Все неизменнее, чем когда-нибудь. Но мне вдруг пришло в голову, что написать лучше, чем говорить, о том, о чем я думаю уже несколько дней. Ты во мне *чувствуешь* эти думы и постоянно спрашиваешь, не «сержусь» ли я, даже иногда говоришь, что я «притворяюсь», когда смеюсь, чтобы что-то такое скрыть. Но это не так, потому что я *перед Тобой* не притворяюсь, а, когда смеюсь, то смеюсь оттого, что весело, или оттого, что Ты близка, или оттого, что мы говорим друг другу смешные вещи. Я люблю Тебя — это так ясно, так неизменно,

и так само собой разумеется, что говорится только в страстные минуты, иди в минуты нежного веселья сердца, как дополняющий певучий аккорд. Но это уже не требует повторения, как *подтверждений* — и Ты, я думаю, знаешь это уже теперь до конца.

Но Ты не знаешь, что мне было нужно пройти, чтобы любить Тебя так, как теперь. Этого всего все равно не опишешь, и не расскажешь; все это можно только *пережить*. А то, что пережито, совершенно «вросло», уже неизгладимо и навсегда. Свой «мистицизм» я уже пережил, и он *во мне* неразделен с жизнью. Может быть, Ты замечала, что, говоря с «людьми», я мало спорю об «основах», про них молчу, прямо-таки «пугаясь хулы и похвал»², пугаясь не за самый мистицизм, а за то, что еще лишний раз кто-то совершенно чужой мне, не любящий меня и не желающий вникнуть (таковы все «люди»), будет бередить и возмущать, все равно, что без всякой причины и цели (главное — без цели!) делать надрез на живом теле дрянненьким маленьким перочинным ножиком. То же самое и о «стихах». Если кто-нибудь скажет, что стихи не важны, а гораздо, например, важнее «помогать ближним», или: «Как вы можете *этим* заниматься, когда у вас в университете беспорядки?» (последнее сказал мне покойный В. П. Острогорский, редактор «Мира божьего», когда я принес ему стихи)³, — я *ничего* не возражаю по существу, а скорее стараюсь быть благодушным, если же злуюсь, то — про себя. Ибо, что же отравляться *чужим* непониманием. Да, наконец, самый этот «мистицизм» (под которым Ты понимаешь что-то неземное, засферное, «теоретическое») есть *самое лучшее*, что во мне когда-нибудь было; он дал мне *пережить* и *почувствовать* (не *передумать*, а *перечувствовать*) все события, какие были в жизни, особенно 1) ярко, 2) красиво, 3) глубоко, 4) таинственно, 5) религиозно. И главное, он дал мне *полюбить Тебя любовью*, не требующей оправданий, *почувствовать* перед Тобой правоту сердца, увидеть все ближайшие и *многие дальнейшие* цели этой как будто бесцельной любви (как бывает *бесцельна* красота в природе... в «Мире искусства») ⁴. «Мистицизм» дал мне всю силу *к жизни*, какая есть (если ее не так много, то это уже лежит в натуре; но, во всяк(ом) случае, она проявилась хотя бы в тех же стихах, а я думаю, что еще сильнее в том, что я чувствую по отн(ошению) к Тебе, ибо и стихи — отсюда). Это — все мое лучшее «я» — лучшее, и **САМОЕ НУЖНОЕ ТЕБЕ** — потому что Тебе **НУЖНА** моя любовь. Теперь же, когда Ты *близка*, это и **ВСЕ**⁵ мое «я», потому что нет ни одной области в жизни, которую бы не проникала Ты, Твое присутствие, — через этот же самый «мистицизм». Мистицизм не есть «теория»; это — *непрестанное* ощущение * и констатирование в самом себе и во всем окружающем таинственных, **ЖИВЫХ**⁶, нарушающих связей друг с другом и через это — с Неведомым. Это — религиозное сознание, а не бессознательное затуманивание головы. Твой отец⁷ совершил *мистический* поступок, когда в великом напряжении энергии своего творчества открыл *биологический закон (жизненный)*, и самые эти *биологические* законы *мистичны*, потому что говорят о *причинности*, т. е. «детерминизме» (зависимости от...). Когда по стеблю поднимаются *живые* соки — происходит *мистический* процесс. Мистика происходит от греческого слова *misterion* (Μυστήριον), что значит — *тайна*. Тайны в конце не отрицают и матерьялисты (их разновидность — *позитивисты*), говоря, что открыто *почти* все, осталось открыт только еще «небольшой кусочек». Вопрос — откроют ли они это, разложат ли, анализируют ли *бога* жалкие дети земли. «Земля — и в землю обратятся» (*revertitur in terram suam unde erat. Et spiritus redit ad Deum, — qui dedit illum!*) ** Нет ни одного чело-

* Не в психологическом смысле. (Сноска Блока. — Ред.)

** «Вернется в землю свою, которою был, и дух отдаст богу, который даровал его» (лат.).

века, в котором не был бы заложен мистический элемент уж по одному тому, что он живет себе спокойно, а в минуту смерти вдруг ему станет *отчего-то* жутко. Мистики совсем не юродивые, не «олухи Царя Небесного», а только разряд людей особенно ярко и непрерывно чувствующих связи с «Иным», притом чувствующих не только в минуту смерти, а на протяжении всей жизни.

Не думай, что я один называю именно это «мистицизмом». Это — общее понимание (конечно, не специально ученых философов и пр.). Тут нет точного определения, но его и вообще нет для мистицизма в самом широком смысле, как нет определений для неисповедимых путей божиих.

Вот что такое «мистицизм». Он проникает меня всего, я в нем, и он во мне. Это — моя природа. От него я пишу стихи.

*Через него я полюбил Тебя. Бог один знает, как это произошло. И оттого я всегда говорю, что в моей любви к Тебе — необыкновенное. Непрестанно люблю, как молюсь. Знаю, что это не просто любовь — не такая, как между неведающими и неверующими. Я ЗНАЮ многое, БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ*⁹. Дай бог, чтоб узнал еще и еще больше. Влад(имир) Серг(еевич) Соловьев, человек редкой учености и энциклопедической образованности, по ночам плакал и молился розовой тени. Мне каждая вечерняя заря приносит неслыханное обетование о Тебе.

Все неизменно. Но невыразимо грустно, когда Ты изгоняешь из меня меня же самого, как бесов. Если хочешь, мы не будем говорить о тайнах. Нам много можно говорить о будущем счастье, в реальность которого я верю совершенно. Но только позволь мне не убивать себя самого, свою душу, которая вся направлена к Тебе одной. Когда Ты говоришь «пожалуйста, без мистицизма», Ты как будто произносишь смертный приговор над моими стихами даже. А они поют Тебе и о Тебе.

Вот все — и прости меня. В понед(ельник) я буду ждать Тебя в 2 часа между курсами и 1-й линией В(асильевского) О(строва)¹⁰. А сегодня я буду Тебе и о Тебе молиться.

Т в о й

22 февр. 1903. СПб.

Вот, я написал стихи перед письмом. Теперь после письма уж не так грустно. Я люблю Тебя. Я молюсь Тебе.

Снова иду я над этой пустынной равниной.
Сердце в глухие сомненья укрыться не властно.
Что полюбил я в Твоей красоте голубиной, —
Вечно прекрасно, — но сердце несчастно.

Я не скрываюсь, что плачу, когда поклоняюсь,
Но, перейдя за черту человеческой речи,
Я и молчу — и в слезах на Тебя улыбаюсь —
Проводы сердца — и новые встречи.

Снова нахмурилось небо — и будет ненастье.
Сердцу влюбленному негде укрыться от боли.
Так и счастливому страшно, что кончится счастье,
Так и свободный боится неволи¹¹.

¹ По ком была панихида — не установлено.

² Цитата из стихотворения Блока «Я к людям не выйду навстречу...» (14 января 1903 г.):

Я к людям не выйду навстречу,
Испугаюсь хулы и похвал.

³ Об этом эпизоде Блок рассказал в «Автобиографии»: «От полного незнания и неумения сообщаться с миром со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю

с удовольствием и благодарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься *этим*, когда в университете бог знает что творится!» — и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах» (VII, 14). Виктор Петрович *Острогорский* (1840—1902) — педагог. «Мир божий» — литературный и общественно-политический журнал (1892—1906), вокруг которого группировались «легальные марксисты».

⁴ «Мир искусства» — художественный и литературно-критический журнал (1899—1904). С полным основанием А. М. Горький считал, что в этом журнале было представлено «целое течение, возродившее русское искусство». А. В. Луначарский назвал это объединение художников «главным отрядом нашего изобразительного искусства» (см. И. С. Зильберштейн. Парижские находки. Лучший иллюстратор Пушкина. — «Огонек», 1966, № 52, стр. 9).

⁵ Подчеркнуто четыре раза.

⁶ Подчеркнуто три раза.

⁷ Д. И. Менделеев.

⁸ Слова католической погребальной молитвы.

⁹ Подчеркнуто четыре раза.

¹⁰ Высшие женские курсы находились на 10-й линии Васильевского острова, д. 33.

¹¹ Впервые напечатано в журнале «Вопросы жизни», 1905, № 6, с вариантом в 3-м стихе («красоте лебединой»). В рукописи озаглавлено: «Безумец».

47

«26 февраля 1903. Петербург»

Очень досадно и глупо! Приехала сестра отчима ¹, которая будет у нас в пятницу днем!

Если можно вечером в пятницу уйти к Шуре ² (вариант: к Зине Лине-вой ³? К Ленцам ⁴? К Вере ⁵ под предлогом того, что она Шурина подруга и именинница!), я буду ждать у Сампс<ониевского> моста у конки в 8 часов. Можно уйти в 12 ч<асов> домой — все-таки ⁴ часа. Если получишь это письмо завтра (в четверг утром), напиши сейчас же два слова — можно ли?

Как и оказалось, я вечером не мог ничего делать и только хотел Тебя видеть. Поехал с мамой к Кублицким ⁶. Так как, придя домой, получил огромное письмо от Бугаева ⁷, то сначала вечером пошел к Перцову ⁸, а к Кублицк<им> пришел только в $\frac{1}{2}$ 12-го. Подробности после, но могу хвастаться своей честностью *перед Тобой*. Пишу все это ночью.

Если нельзя в пятницу вечером, то буду днем ждать Тебя, где Ты хочешь, и будем где-нибудь опять блуждать. Но это неприятно. Попробуй устроить вечером — что же делать? Завтра будет очень трудно без Тебя. Буду учиться и пойду в университет. И после завтра — целый день!

Т в о й

Среда. 26 февр. 1903. СПб.

¹ Фелиция Феликсовна Лозинская, по второму мужу — Бражникова (1858—1934).

² А. М. Никитина.

³ Подруга Л. Д. Менделеевой.

⁴ Знакомые Л. Д. Менделеевой и Блока.

⁵ Очевидно, Вера Макопкова, также одна из подруг Л. Д. Менделеевой.

⁶ См. примеч. 2 к письму № 40.

⁷ Борис Николаевич *Бугаев* (1880—1934) — настоящее имя Андрея Белого. Письмо, о котором идет речь, см. в книге: «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка». М., 1940, стр. 20—26 (напечатано в выдержках).

А. Белый, в частности, писал: «Прежде всего о Ваших стихах: как и всегда, я в восторге (и это не комплимент — совсем нет). «Запевающий сон, зацветающий цвет» — сколько тут милой ясности и свежести! Врубелевская глубина и не врубелевская нежность — слиянно, нераздельно. Скажу откровенно: последние Ваши стихи, по моему убеждению, наиболее глубокие и поэтически прозревающие» («Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», стр. 20).

⁸ См. примеч. 3 к письму № 21.

48

«22 марта 1903. Петербург»

Моя Дорогая, Радость моя, мне вдруг показалось ужасным не видеть Тебя два дня. Если сколько-ниб<удь> возможно, приходи завтра вечером (воскресенье). Буду ждать у конки от 8-ми до $\frac{1}{2}$ 9-го (у моста). Если нельзя, или не хочешь, напиши. Может быть, я могу прийти в понед<ельник> вечером? Кроме того, во вторник угрожает опасность раннего прихода Катиньки ¹. Если Тебе лучше завтра вечером быть дома, в как<ом>-ниб<удь> отношении, прошу Тебя, не приходи, а только напиши относительно понедельника — могу я прийти, или нет. Прости за растрепанность письма. Мне почему-то немного страшно; Ты сегодня была грустная, тихая, ленивая и озабоченная. Я скоро уйду в «Нов<ый> путь», там будут чужие и далекие сердцем; а когда я уйду, будет казаться особенно несправедливым, что я не сейчас же увижу Тебя. Зачем, ах, зачем Ты беспокоишься за меня относ<ительно> г-жи Гиппиус ², или кого бы то ни было! Если бы Ты знала до какой степени я не могу сравнивать Тебя со всеми остальными! Если бы Ты была уверена в моей уверенности и верности! Если бы Ты не сомневалась, как я хочу, чтобы все осталось позади и далеко от нас двоих, до какой степени все это часто просто давит однообразием; знаю наизусть, кто что скажет. Спорить и разговаривать просто лень. Защищаться не стоит ³. Пускай все отдалится и, хоть на время, забудется. Остаться с Тобой — прямая и несомненная цель.

22 марта. 1903. СПб.

Т в о й

¹ Катинька — может быть, Екатерина Евгеньевна Хрусталева, дальняя родственница Блока, в ту пору молодая талантливая пианистка.

² См. примеч. 8 к письму № 31.

³ Это настроение Блока, все более определенно ощущавшего самобытность своих духовных исканий, переключается с тем, что было высказано в письме к Белому за два дня до того. 20 марта 1903 г.: «Прекрасна молчаливая зоркость. Мне чудятся надежды в некоторой уступке нашей всеобщей напряженности. Бросая «эстетизм», необходимо сохранять красоту. Еще рано отбрасывать то, что единственно может приготовить сердце» («Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», стр. 28).

49

«30 марта 1903. Петербург»

Что с Тобой происходит, моя Светлая Радость? Отчего Ты не скажешь никогда прямо, почему все Твое существо возмущается вдруг против меня? Ведь Ты никогда ничего не говоришь об этом, кроме редких намеков, иногда ужасно горьких, почти всегда не прямых, скрытых, запятанных так, что их надо раскутать, — и они запоминаются особенно резко и особенной тяжестью какой-то неразгаданности ложатся на душу. Потом через два дня Ты опять приходишь, а я иду к Тебе навстречу и все еще те-



БЛОК В РОЛИ САМОЗВАНЦА («БОРИС ГОДУНОВ» ПУШКИНА)

В роли Марины Мнишек — С. Д. Менделеева

Фотография, 1898

Литературный музей, Москва

ряюсь в догадках, никогда не зная, какова Ты, что произошло у Тебя в сердце, прекрасном, добром, молодом, благоуханном, неожиданно богатом и до того неоткровенном в самой глубине. Большая часть Твоих слов о чем бы то ни было содержит в себе еще что-то, что я силюсь и не могу понять. Самого глубокого тайника Ты и сама не знаешь и, по крайней мере, не мо-

жешь открыть мне, и не мне его узнать, может быть. Но отчего не сказать когда-нибудь хоть о том, что Ты сама называешь «нервами», и что, по-моему, лежит гораздо глубже простых нервов, и, во всяком случае, сложнее их бесконечно. Я подозреваю эту сложность, подозреваю сложнейшие чувства, целые лабиринты препятствий, по которым Ты часть не хочешь сказать, часть не можешь, часть ленишься, часть, *мож(ет) быть*, боишься. Теперь у нас такое время, когда всюду чувствуется неловкость, все отношения запутываются до досадности и до мелочей, соображениям нет числа, и, особенно, в крайних резких и беспощадных чертах просыпается двойственность *каждой* человеческой души, которую нужно побеждать; если хочешь, даже марьонетки, дергающиеся на веревочках, могут приходить на ум и болезненно тревожить. Всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба и постоянное непременное ощущение того, что есть нечто выше и лучше, даже чище и надежнее, настоящее *счастье*, к которому нужно прийти так или иначе *сознательно*. Не скрывайся от меня, все, что только могу, я пойму и обдумаю, все, что Ты ни скажешь, приму, как *очень важное*. Помни, что все произойдет среди нас *двоих*, и, что бы ни произошло, будет как будто забытым для других *всех без исключения*, потому что *моя гордость* Тобой совершенно исключает все остальное и я уже никуда не возвращусь больше в этом главном души, просто *не поведу и не открою органически*. Теперь подумай: Ты внезапно становишься на такую точку, что я могу бояться за *все*. Как будто Тебе доставляет необъяснимое очарование сознание того, что Ты в одну минуту можешь распахнуть и свалить все здание. Боишься Ты этого очень (я думаю). Тяжело Тебе от этого непомерно. Вдруг останавливается всякое движение, еще минута — и душа совершенно опустеет (это называется «страх»). В Твоих руках в эту минуту все, и, если была у меня власть (ничтожная, слабая власть минуты, состоящая только в том, что вся жизнь напряжена и вся ее сила дрожит и трепещет от Твоего дыхания) — она вся распадается и обрывает все свои нити. После этого — мы расстанемся (обыкновенно еще тут играет огромную роль эта, специального наша, опять-таки сложнейшая психология разлуки, ее двухдневной перспективы, и т. д., и т. д.). И после этого опять два дня — у Тебя — разговоров с Шурой¹, мыслей, отрывочных забот об экзаменах и и *мн(огого) др(угого) чего?* Ты не говоришь, у меня — тоже мыслей, тоже забот — и опять мы встречаемся и не знаем, *победоносны* ли были эти два дня? Я не могу угадать, Ты молчишь, и мы оба *замалчиваем*. Если говорить *по заказу*, — ничего не будет. Надо, чтобы *хотелось* говорить и было легко, а от разговора — еще легче. Надо привыкнуть друг к другу и легче относиться к окружающему. А для этого помнить не переставая, что я всегда с Тобой, где бы и при каких обстоятельствах это ни было (напр(имер), при разговоре с мамой (моей) и всегда всей душой около Тебя и за Тебя, что я боюсь дуновения ветра на Тебя и особенно зорек и придиричив, когда что-ниб(удь) касается Тебя (впрочем, тут я говорю, конечно, не о маме, которая сама очень чутка и всей душой к Тебе; но — я все понимаю в этом, что Ты чувствуешь и думаешь). Для примера следующее: если при мне бралят Пушкина или «старую церковь», я буду возражать или соглашаться в том и другом *мягко*. Если при мне издали хоть сделают намек о Тебе, или о чем-ниб(удь), Тебя касающемся, Тебе близком, или, даже, связанном с Тобой отдаленно, я буду до последней степени *резок* и совсем не перенесу малейшего недоброжелательства. Года три тому назад я до неприличия грубо выбранил моего дядюшку (действит(ельного) статск(ого) советника Качалова²) за то, что он сказал что-то умеренно пошлое о Твоем папе. *Так будет и теперь*. Если это будешь Ты сама, то человеку, посмеявшему что-н(ибудь) сказать, будет очень неприятно. И Ты думаешь, что есть какая-то область, сравнимая с Тобой для меня! Когда *ТЫ*³ — источ-

ник всех сил и надежд; до такой степени, что я жизнь мою отдам за то, чтобы Ты теперь не мучилась так ужасно, как, напр<имер>, сейчас мучилась, уходя. Делай, что хочешь, решай, что хочешь, будь определеннее (мож. б., *безжалостнее*) теперь, чтобы не запутать бесчисленных узлов и не довести до самого невыносимого и болезненного разрубания их в последнюю минуту. Помни, что все во мне будет похоронено, как в могиле, и никогда не выйдет наружу, что нет ничего святее и целомудреннее во мне, что это все «останется между нами» и **НИКОГДА** ³ не будет вынесено наружу. Или — будем проще, будем говорить, будем опять-таки распутывать узлы немедленно, чтобы их не накопилось столько, сколько ни одна человеческая сила не может распутать.

Теперь скоро 3 часа, сейчас опущу письмо, перечитал его, но pošлю все-таки. Если Тебе совсем не по настроению будет писать, напиши слово «*Приду*» — и больше ничего (или, наоборот: «*Не приду*»). Говорю про вторник, 8 часов веч<ера>. Если можешь, напиши что-нибудь ⁴. Я клянусь Тебе, что беру совершенно на себя — безраздельно все, что Ты решишь относительно нас теперь и в будущем (говорю неясно, но пойми). «Никто не соблазнится о нас» ⁵ — и я сам не сделаю никакого «скандала» (вроде самоубийства). Письма, пожалуйста, не показывай никому. Если причины ближе, попробуй сказать мне о них, м.б. — написать. Я пойму, что в моих силах.

Т в о й

30 марта 1903.

¹ А. М. Никитина.

² Николай Николаевич *Качалов* (1852—1909) — муж тетки Блока (сестры его отца), Ольги Львовны Блок, директор электротехнического института.

³ Подчеркнуто дважды.

⁴ В ответном письме (с пометой Блока: «31 марта 1903») Л. Д. Менделеева писала: «Конечно, я приду во вторник. Я очень хотела бы написать тебе, чтобы ты не боялся и не беспокоился обо мне. «Траха» не будет и не может быть. Совсем не в нем дело. Но в чем — мне совершенно невозможно объяснить тебе. Я все-таки, может быть, даже попробую написать тебе вечером, когда не нужно будет торопиться, но уверена почти, что такие вещи не высказываются. Только ты не думай, что мне нужно решать что-то, мне нужно бы только объяснить тебе мои идиотские поступки и настроения. а, для этого, правда, пришлось бы быть к себе очень «безжалостной». Мне кажется, в этом случае нам лучше бы было говорить». Письма Л. Д. Менделеевой с «объяснениями» нет; очевидно, объяснение имело место при встрече.

⁵ Цитата из Евангелия (От Матфея, XI, 6; От Луки, VII, 23).

50

<5 или 6 апреля 1903. Петербург> ¹

Вот они — белые звуки
Девственно горних селений...
Девушки бледные руки,
Белые сказки забвений...

Медленно шла от вечерни,
Полная думы вчерашней...
У кодокольни вечерней
Таяли белые башни...

Белые башни уплыли,
Небо горит на рассвете...
Песню цветы разбудили —
Песню о белом расцвете ².

¹ Датируется как пасхальное поздравление.

² Стихотворение было написано 5 апреля 1903 г. В рукописи (тетрадь беловых автографов) — посвящение Л. Д. Менделеевой и помета: «При посылке белой азалии». Впервые напечатано в альманахе «Гриф» (1904), с посвящением: Л. Д. М.

51

(7 апреля 1903. Петербург)

Моя Милая, моя Дорогая, сейчас я получил письмо. Счастлив без конца ¹. Весь день были ужасные разговоры. Все измучились. Я уж написал Тебе растерянное письмо ². В эту минуту получил Твое.

Думаю, что будем венчаться осенью, потому что за границу ехать надо ³. Что Ты думаешь об этом? Потом останемся в Шахматове. Обо всем нужно говорить. Завтра придет мама. Нужно скорее написать отцу ⁴. Твой папа, как всегда, решил совершенно необыкновенно, по-своему, своеобычно и гениально. О пятнице думаю, как об обетованном дне. Моим душам о Тебе нет и не будет конца.

Т в о й

7 апр., вечер.

¹ В этот день, 7 апреля, Блок получил от Л. Д. Менделеевой письмо, в котором она извещала о согласии родителей назначить срок свадьбы. Вот это письмо: «Милый, дорогой, не знаю, как и начать рассказывать. Папа, папа согласен на свадьбу летом! Он откладывал только, чтобы убедиться, прочно ли «все это», «не поссоримся ли мы». И хоть он еще не успел в этом убедиться, но раз мы свадьбы хотим так определенно, он позволяет! Началось это очень плохо: мы с мамой стали ссориться из-за этого же, конечно. Вдруг входит папа. Мама (очень зло, по правде сказать) предлагает мне сказать все сначала папе, а потом уже строить планы. Я и рассказала. А папа, совсем по-прежнему, спокойно и просто все выслушал, спросил, на что ты думаешь жить, я сказала, и папа нашел, что этого вполне довольно, и (отому) ч(то) он может мне давать в год 600 р(ублей). Теперь он хочет только поговорить с твоей мамой о подробностях, узнать, что она думает. Я прямо и поверить не могу еще, до чего это неожиданно! Мы-то думали ведь, что папу будет труднее всех уговорить, а он смотрит так просто и видит меньше всех препятствий. У него все вышло так хорошо, что и мама сдалась, хотя и пробовала сначала возражать, приводить свои доводы. Жаль ужасно, что мы с ней опять поссорились. После разговора с папой я пошла просить у нее прощения за первую ссору, а вышло еще хуже. Но я непременно помирюсь с ней завтра. Теперь все зависит от нас, т. е. от тебя. Бедный, мне тебя жаль — столько придется обдумывать, устранять, хлопотать, ужасно много надо будет энергии и воли. Я-то помочь ведь почти не могу, знаешь ведь, какая у меня энергия. Хорошо хоть, что не очень долго все будет продолжаться, потом «мы отдохнем, мы отдохнем». А все-таки бедный ты! Не привык ты к таким скучным, практическим делам. А тут еще экзамены твои! Ты думай все время обо мне, а у меня нет минуты, кот(орая) не была бы твоя. — Мы сейчас, утром, помирились с мамой». На другой день мать Блока побывала у Менделеевых. Она привезла Блоку следующее письмо от невесты: «Дорогой мой, как хорошо все выходит! Они все сговорились и все согласны. Поговорить бы и нам скорей! Ну, до пятницы, приду к вам. Ты не будь в плохом настроении, как говорит мама! Ведь теперь же все так дивно хорошо выходит! Ну, до свиданья, мама ждет. Т в о я» (на письме — помета Блока: «Незапечатано. Привезла мама 8 апреля»).

² Это письмо, по-видимому, было уничтожено Блоком.

³ Блок должен был сопровождать мать в Бад-Наугейм (курорт в Германии).

⁴ Письмо Блока к отцу, в котором он извещал его о предстоящей женитьбе, не сохранилось. Ближайшее по времени письмо (от 24 апреля) является уже ответом на письмо А. Л. Блока, в котором он давал согласие на брак сына (см. «Письма к родным», стр. 84).

«8 апреля 1903. Петербург»¹

Если я и посылаю это письмо, то не знаю зачем? Могу ли я что-нибудь новое прибавить; думаю, что страстно желаю музыки Твоей души, оттого и пишу. Пока пишу, слушаю. И пока слушаю, могу расслышать то, чего нет здесь. Не знаю, как бы Тебе выразить, что обозначают мои резкости и разговоры с мамой. Иногда я думаю, что этого нет и другой «ссорится», а не я, который может и вовсе не ссориться. «Инерция страдательности», если хочешь. Оставим. До такой степени жизнь переполнена, точно чаша до краев и наверху медленно и верно вскипает. Что это — оно? (оно — вскипающее). Я не знаю. Я никогда этого не встречал. Пока я любил Тебя отдаленно, были звезды, были цветы и было все прекрасное, что есть в мире, было здесь — при мне. Верные прислужники метафизических прихотей — цветы и звезды. Они исполняли меня и они выводили в равнину, где ближе, чем думалось, и дальше, чем хотелось, — где-то — вне времен, воли, жизни даже — билось Твое Сердце. И оно билось — этого я до сих пор не пойму. И вот еще: этому я никогда в жизни *окончательно* не поверю. Не испугайся. Это все — к Тебе. Я только хочу сказать, что я никогда не постигну моего собственного «достоинства», т. е. той моей лучшей части, которая призывала Тебя. И вот что вышло. Ты стоишь около и видишь меня — такого, как я есть на самом деле! Ты — такая, как Ты есть, видишь и *хочешь* видеть. Ты — белее стен Нового Иерусалима, Невесты Христовой² и краше цветов, распускающихся ночью в тех странах, куда никогда никто не придет, которых никто никогда не увидит, которых — *нет*. Такой белизны Твоего внутреннего Света никогда не будет. Таких цветов, каких Ты краше, никогда не было. Но Ты — есть — теперь — в настоящем — и живая. И отчего это — для меня? Что я *могу*? Что мне может *присниться* о Тебе? Где во мне То, к чему Ты пришла? Я не знаю Его — и не встречу. Это — Знак — благодать божия, «данная бедным в дар и слабым без труда»³. Когда я узнаю Это, я узнаю в то же мгновение, что Ты — *двоем* со мной. Раньше я не буду видеть, не буду знать, буду слеп, как Савл, у которого очи в чешуе⁴. Но будет время, когда я стану Твоим Апостолом.

Вот, когда я любил Тебя отдаленно, я знал, что вся природа мне служит Символом Твоим. Я часто был верен и дерзок, как верна дерзкая рука, пишущая Тебе эти строки. Я знал тогда, что Ты *не сойдешь*, — и ошибался. Так же и только обратно ошибался черный невольник, которого отталкивала Царица. И он умирал тогда — его жизнь сгорала. Но я ошибся не так, Ты пришла и повеяла. И значит, я не должен умереть. Или правда, что я «не умру, но изменюсь скоро, во мгновение ока, по Последней Трубе» (ап<остола> Павла послание к Коринф<янам>). Прости, прости и прости меня — я вечно буду *требовать* Твоего прощения. За что Ты (или Ты не одна, и Тебя ведут в сумерках по белым ступеням Невидимые Руки Той, с кем у Тебя завет?) — за что Ты *воскрешаешь* меня? Отчего Ты избираешь меня из толпы, которая до сих пор нестроительно и безразлично для Тебя колыхалась перед Твоими голубыми окнами⁵?

Великий «грех» и великая ересь молиться женщине. Но бог видит, какова моя молитва и, может быть, простит мне не только это, но и все, что было и что будет, даже смерть от счастья быть с Тобой и угадывать Тебя. Сердце как будто хочет раздаться в своей напряженности. Если в нем тот драгоценный камень, который привлек Тебя и которого искали в сумерки у ворот своего города люди с неподвижными глазами в длинных струящихся седилах, люди страны забытой и несуществовавшей (это — мой миф, прости, что я его сейчас придумал), если Этот Камень — в моем сердце, то он треснет и по нему побегут бесчисленными линиями, разбегаясь

и скрешиваясь, как тонкие паутинки, струи Откровения. Но — все равно:

Как тогда — с безгласной улыбкой
Ты прочтешь на моем челе —
О Любви, неверной и зыбкой,
О Любви, что цвела на земле ⁶.

Довольно. Оставим опять. Через два дня Ты придешь. Сегодня я не напишу ни слова о «делах». «Дела» мои и наши сегодня закутались от меня в «дни». А дни ведь все Твои, и у них такие длинные, бесчисленные складки в одеждах, что мне невозможно миновать их. И я хочу туда возвращаться. Прости опять. Все это длинно и тяжело. Теперь ночь — и завтра днем будет опять иначе. Но всегда — хорошо. Жизнь переполнена до краев — и вот она — Твоя до смерти.

Да простит мне бог! Но в каждой церкви я вижу Твой образ. Он знает, что это значит, — и простит. И ты прости.

¹ Дата почтового штемпеля: 9 апреля 1903 г.

² См. «Откровение св. Иоанна», XXI, 2.

³ Источник цитаты не установлен.

⁴ По евангельской легенде, апостол Павел, называвшийся в бытность его язычником Савлом, из яростного гонителя христиан превратился во вдохновенного проповедника новой веры. По пути в Дамаск ему явился Христос и поразил его слепотой; когда же Савл обратился к христианству и прозрел духовно, «тотчас как бы чешуя отпала от глаз его» («Деяния апостолов», IX, 18).

⁵ Ср. в стихотворении Блока «Ты была у окна...» (12 октября 1900 г.):

Ты была у окна,
И чиста и нежна,
Ты царила над шумной толпой.
Я стоял позабыт
И толпою сокрыт
В поклоненьи любви пред тобой.

Мне казалось тогда,
Что теперь я всегда
Ты без мысли смотрела вперед.
А внизу, у окна,
Как морская волна,
Пред тобой колыбался народ.

⁶ Цитата из стихотворения Блока «Будет день, словно миг веселья...» (31 октября 1902 г.).

Должно быть, я слишком много пишу Тебе. Но я не могу иногда не писать. Я совершенно не могу иногда не говорить с Тобой, потому хоть пишу. Такой полноты счастья у меня никогда еще не было. Таких настроений — тоже никогда. Были сплошные таинственные восторги одиночества. То было совсем не так. Потому что я знал, что следующий час будет опять в затишьи. Теперь я знаю, что Ты завтра придешь, и этим живу. У Тебя будут новые очарования; а у меня — снова открытое сердце. И кроме того, самое главное, все это совсем не так, и совсем иначе, а как, я никогда не могу ни сказать, ни написать. Но это ничего, потому что Ты знаешь, как.

Глухая полночь медленный кладет покров.
Зима ревушим снегом гасит фонари.
Вчера высокий, статный, белый подходил к окну.
И Ты зажгла лицо, мечтой распалена.

Один я жду, я жду, я жду Тебя, Тебя.
У черных стен Твой профиль, стан и смех.
И я живу, живу, живу сомнением о Тебе —
Приди, приди, приди — душа отравлена.

Горящий факел к снегу, к небу вознесла
Моя душа Тобой, Тобой, Тобой распалена.
Я трижды звал — и трижды подходил к окну
Высокий, статный, белый — и смеялся мне.

Один я жду, я жду Тебя, Тебя, Тебя Одну².

Ты не сердись на это стихотворение и никому его не показывай. Оно плохо в литерат<урном> отнош<ении>, по-моему. Это — моя страсть к Тебе. Размер — величавость и напряженность Гете и древних трагедий. Так говорила Троянская Елена.

Ты придешь завтра. Я буду ждать³.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.

² Стихотворение было написано 18 апреля 1903 г. В рукописи (тетрадь беловых автографов) озаглавлено: «Его шаги». Впервые напечатано в альманахе «Корона» (1908).

³ Ответное письмо Л. Д. Менделеевой (почтовый штемпель 21 апреля 1903 г.): «Ты изгоняешь бесов, вот что! Я сегодня тиха и кротка так, что даже жаль, что ты не увидишь. Но я твердо решила изо всей силы держаться за такие настроения, вот увидишь в четверг, какая я могу быть смиренная, смиренная... Я рада, что мне удалось так скоро тебя послушаться и понять. Теперь не нужно будет рассаживаться по разным углам, все будет хорошо так, само по себе. Я не раскаиваюсь и не прошу прощенья, за то, что было, — ты не можешь на меня сердиться. Ведь в этом безумии вся моя душа, она тобой, тобой, тобой распалена и только ты же своим приказаньем можешь укротить ее, п<отому> ч<то> я вся в твоей власти, приказывай, делай со мной, что хочешь... Вот у меня теперь опять такое время, что я усиленно чувствую себя твоей Дианкой; так хочется быть около тебя, быть кроткой, кроткой и послушной, окружить тебя самой нежной любовью, тихой, незаметной, чтобы ты был невозмутимо счастлив всю жизнь, чтобы любить тебя и «баловать» больше, чем мама...» (Дианка — отзвук популярного в эстрадном исполнении стихотворения А. Н. Апухтина «Письмо», — речь идет о влюбленной женщине:

Она отдаст последний грош,
Чтоб быть твоей рабой, служанкой,
Иль верным псом твоим — Дианкой,
Которую ласкаешь ты и бьешь!

Кстати сказать, у молодого Блока в Шахматове была собака, которую тоже звали Дианкой).

Я сегодня не могу написать много, в третий раз разрываю и бросаю. Мне так хорошо и спокойно. Хочу только, чтобы Ты совсем не боялась и помнила, как мы прочно, неразрывно и несомненно связаны. Мы бесстрашны и свободны, и вчера я говорил то, что Тебе не нравилось, не от

страха и не от рабства. Будь спокойна и тиха, я с Тобой все время. Ничего дурного мы не сделали и не можем сделать. Если бы Ты знала, с какой уверенностью я это пишу и как я близок к Тебе, Ты ни минуты не боялась бы и не сомневалась. С Тобой, моя Белая Невеста, я думаю, дышу и живу.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.

55

⟨21 апреля 1903. Петербург⟩¹

Моя Дорогая, Ты, если понадобится, скажи папе, что отец прислал мне 1000 р⟨ублей⟩². Письмо я пишу не так, чтобы показывать, да и кто же может спросить? Сейчас вернулся, скоро 12 ч⟨асов⟩. Главное, будь спокойна, не очень волнуйся. За Тебя я беспокоюсь и мне очень больно, что Твое молодое и прекрасное время так тревожно, и главное — тревоги все какие-то не молодые и не прекрасные, и разговоры Твои с мамой³ все тяжелые и не тонкие. Совсем Тебя не шадят, Тебе совсем *не нужно* говорить о том, о чем говорится, и это — самое горькое и самое несправедливое. Когда мы будем жить вместе, Ты увидишь, что *можно* не говорить о многом, о чем не хочется или неприятно говорить. А теперь я Тебе прямо говорю, что я *не понимаю*, как это выходит, что такая «серость» забирается во все без исключения самые святые и самые неприкосновенные тайники. Я старше Тебя и мужчина, и прожил всю жизнь без этих навязчиво-не нужных подробностей, какого-то обихода, который только тогда имеет значение, когда к нему относятся не кисло. И, главное, все это ведь не настоящая практика и не окончательная трезвость взглядов, которую я могу понять, а какие-то мелочи — дрянь, из-за которой нечего трудиться. Ведь никому не весело и никому не хорошо, значит никто ни юты не выигрывает, к чему же все это? Все устроится, будь спокойна, Ты можешь, потому что Ты — добрая, ласковая и милостивая. За все это прости, я, право, только из-за Тебя, да я и пойму, мож⟨ет⟩ быть, все это, если только увижу хоть какую-нибудь причину. А я сам в этом трескучем и докучном шепоте не теряюсь, у меня только разгорается душа, и я все яснее, яснее и яснее знаю о Тебе, о нашем счастье, о нашей свободе, о красоте нашего близкого будущего. Право, незачем все это, все пустяки какие-то, что-то несерьезное и какие-то полумеры. Тебя жаль так, как никогда, помни, что я отдам Тебе все, что в силах отдать. Мама⁴ сейчас приехала, говорит, что, когда Тебя видит, не знает, что ей сказать. Нравись Ты ей с каждым разом все больше, и очень она Тебя любит.

А я Твой безраздельно и вечно, Ты знаешь, что об этом нечего говорить.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля: 22 апреля 1903 г.

² «В конце апреля я получил от отца 1000 руб., с очень язвительным и наставительным письмом», — записал Блок впоследствии (VII, 425).

³ С А. И. Менделеевой. Разговоры, нужно думать, касались вопросов материальных и бытовых — в связи с предстоящей свадьбой.

⁴ А. А. Кублицкая-Пиоттух.

56

⟨22 апреля 1903. Петербург⟩

Что-то Ты думаешь и делаешь теперь? Ночь и гроза, все небо в зарницах и молниях. Все какое-то глухое беспокойство. Что с мамой? Твое письмо я получил утром¹, мож⟨ет⟩ быть, завтра будет еще? Так устал, что не

ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.

Сегодня, 1 августа 1898 года имеем бытъ
спектакль въ Бобловском театръ.

НАЧ. ВЪ
8 ЧАС.

Представлено будетъ:

НАЧ. ВЪ
8 час.

I

Отрывки изъ трагедии Шекспира

Гамлетъ, принцъ Датскій.
Действующіе:

Король Датскій	2-нѣ ^X
Гертруда, жена его	2-жа С. МЕНДЕЛѢВА. ^{X X}
Гамлетъ, ея сынъ	2-нѣ БЛОКЪ.
ЛАЕРІЙ, придворный	2-жа Лид. МЕНДЕЛѢВА
ОФЕЛІЯ — сестра его	2-жа ЛЮБ. МЕНДЕЛѢВА
Свита, народъ, и пр.	Дѣйствіе въ Гибсикоръ.

II

Монологъ изъ „Орлеанской дѣвы“ Шиллера, прочтетъ
2-жа С. Д. МЕНДЕЛѢВА.

III

БУКЕТЪ

Комедія въ 1 дѣйствіи И. Потапенко.

Людмила Николаевна Топорусова	2-жа С. МЕНДЕЛѢВА.
Екатерина Александровна Тоброва	2-жа ЛЮБ. МЕНДЕЛѢВА.
Евгенія Ивановна Полинская	1-жа Лид. МЕНДЕЛѢВА
Владимиръ Петровичъ Ростовцевъ	2-нѣ БЛОКЪ.
Маша, горничная Топорусовой	Мисс Менделѣва.
Разсѣянный изъ гостиницы	Вас. Менделѣва.

АФИША ПРОЩАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ ВЪ БОБЛОВСКОМЪ ТЕАТРѢ, НАПИСАННАЯ БЛОКОМЪ

Автографъ, 1898

Институтъ русской литературы АН СССР, Ленинградъ

напишу много. Думаю о Тебе, Ты знаешь сколько. Думаю вообще, все думаю — и не знаю, где «несчастья» будущей жизни? Вижу только Твою весну, вижу так ясно и так просто.

Нам будет хорошо. Ты знаешь, где счастье, я понимаю, где счастье. Мне не изменяет мое чутье и моя молодость. Я вижу над головой звезду и знаю, куда Ты ведешь меня. Твой ученик, Твой жрец, Твой раб.

Послезавтра я жду Тебя. Вот письмо Панченки². И многие, и самые разные люди относятся именно так. Отчего бы и нам не прожить так? Я не вижу, отчего молодость такое большое несчастье... или недостаток? У меня в долине — цветы и страстная мгла. Приходи — и увидишь. У меня в душе для Тебя целый мир нераскрытых песен. То, что я еще не спел, я спою — и Ты услышишь. Ведь мои песни, цветы и страсти — одно, и это одно — для Тебя одной, о Тебе одной. И я Твой ученик, Твой жрец, Твой раб.

Гроза прекрасна и воздух чист. Я думаю о Тебе весенней ночью. Какое счастье!

Т в о й

22 апр. 1903. СПб.

¹ Вопрос связан с какими-то разговорами, которые Л. Д. Менделеева должна была вести с родителями относительно своей свадьбы. В письме от 22 апреля Л. Д. Менделеева писала Блоку: «Мама не выходила из своей комнаты весь вечер, у папы кто-то сидит. Разговоров не было. Жду твоего письма с известием от отца. Как только будет что-нибудь новое, я напишу тебе... Сегодня папу не увижу, ложусь спать».

² Семен Викторович Панченко (1867—1937) — композитор, знакомый семьи Бекетовых. Будучи много старше Блока, он оказывал на него довольно сильное влияние; молодой Блок прислушивался к мнениям и советам Панченко, но в зрелые годы относился к нему несколько иронически. Многочисленные письма Блока к С. В. Панченко не сохранились; о значительности этой переписки можно судить по ответным письмам Панченко (ЦГАЛИ). Блок переслал Любове Дмитриевне письмо С. В. Панченко от 18 апреля (1 мая) 1903 г., в котором тот писал: «Сыплю на Вашем пути цветы, папоротники и душистые травы. Пусть это будет Вам ковром на всю Вашу жизнь, столь длинным, сколь долог будет путь Вашей жизни. Пусть по сторонам этого ковра — вашего пути — юноши греческие прекрасные встречают Вас торжественной музыкой флейт и гобоев, в строях дорийском, фригийском, ионийском. Пусть поэты слагают Вам звучные стихи. Пусть на пути Вы будете встречать священные рощи Беклина для отдохновения — рощи тенистые, таинственные и задумчивые. И пусть там Вам жрицы прекрасные и стройные поют гимны под аккомпанемент арф многострунных. А над Вами, во все время пути Вашей жизни, пусть непрестанно льются серебряные песни светлых серафимов. Пусть Ваш путь весь, до самой крайней черты, будет счастливым и добрым» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 358).

⟨25 апреля 1903. Петербург⟩

Сегодня я кругом виноват. Но прошу и Тебя: не будем больше. Это — мое твердое и несомненное. Только Ты будь тверже и еще несомненное. Лучше об этом теперь не говорить — это и трудно и ненужно. Если хочешь, поговорим в след⟨ующий⟩ раз, но я все сказал и все заключаю в одном: не *легкомысленно* ли дразнить смехом и *СТРАШНОЙ*² близостью красоты? Если Ты придаешь значение моему *лицу*, то *легкомысленно*. А в отнош⟨ении⟩ к т-те Мережковск⟨ой⟩ я не мальчик и Ты напрасно подзреваешь, разные возможности³. Моя Дорогая, не то время и не таков я, чтобы переносить на меня эти подозрения в возможностях. По крайней мере, когда завязана в моем сердце мистическая поэма о Тебе, оно —

не слепо и свободно направлено только к Тебе — и нет ни одной точки, на которой можно бы было успешно построить что-ниб<удь> противное этому. А Твои подозрения возможностей совсем не имеют оснований, потому что я имею право осуществлять свободу своего сердца в рабстве *Одной Тебе*. Ведь не вопрос же это, в сам<ом> деле, к чему же я пишу столько? В субб<оту> я не пойду в «Нов<ый> п<уть>» — не оттого, что Мережк<овская>, а оттого, что там будет Розвадовский⁴ и, главное, некогда и не хочется. Выбери субботу и воскресенье. В один из эт<их> дней я приду к вам, а в другой — Ты придешь, если захочешь и сможешь — вечерами. Уйти нужно непременно раньше, обещаю Тебе. Как Тебя встретил папа? Буду ждать письма — с завтр<ашнего> вечера? Еще вот что: если один раз что-ниб<удь> неприятно — в другой всегда лучше. А мелочи, напр<имер>, милостивые неприязни, *должны* вычеркиваться. Будем милостивы вообще и теперь особенно. Тогда все будет хорошо. Теперь утро — светает.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.² Подчеркнуто дважды.³ См. примеч. 8 к письму № 31.

⁴ Александр Иванович Розвадовский (1883—1946) — польский граф, в 1903 г. студент физико-математического факультета Петербургского университета, товарищ брата Л. Д. Менделеевой — Ивана Дмитриевича, на свадьбе Блока был шафером невесты. Воинствующий католик, целиком погруженный в религиозно-мистические настроения и ратовавший за внесение «западных начал» в русскую жизнь, Розвадовский уже тогда «готовился к пострижению в монахи» (см. «Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 20). Осенью 1903 г. он уехал за границу, в конце 1904 г. принял монашество (в Польше). Блок был заинтересован этим, по его характеристике, «странным человеком», вел с ним «длинные разговоры» (см. там же. стр. 68) и находился с ним в переписке (письма Блока к Розвадовскому не выявлены). См. также «Письма к родным», стр. 92—93; «Ал. Блок и А. Белый. Переписка». М., 1940, стр. 51.

58

<25 апреля 1903. Петербург>¹

Все устраивается так, что Тебе необходимо прийти завтра (в субб<оту> вечером), если Ты хочешь и можешь. В воскресенье будут обедать Гиппиус² и Фероль³. Во вторник, в день экзамена, Фероль придет днем, так что нам не придется видеться днем и вечером; я лучше приду к вам в этот день (29) вечером. Вообще все это так сложно, главное оттого, что мы запираемся и не выходим. Например, если завтра кто-ниб<удь> придет случайно, невозможно запирается, потому что из этого выходит целая история. Приходи, пожалуйста, завтра вечером, нам необходимо и об этом поговорить. Если Ты получишь письмо во-время, приходи завтра днем, чтобы остаться обедать — ведь можно обедать у Шуры⁴? Если не придешь днем, ответь, можешь ли прийти вечером. Все это до того оказывается сложно, потому что весной всегда приходит гораздо больше народу, и так, как теперь, продолжать невозможно.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.

² Александр Васильевич Гиппиус — друг Блока (см. примеч. 14 к письму № 7). В письмах и дневниках Блок неизменно упоминает о Гиппиусе с чувством сердечной привязанности. Позднее, в июне 1911 г., Блок писал ему: «Много хочу тебе сказать и обо многом говорить, всегда люблю тебя и надеюсь, что мы когда-нибудь будем жить в одном городе» (VIII, 348).

³ Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух — двоюродный брат Блока.⁴ А. М. Никитина (см. примеч. 4 к письму № 25).

<25 апреля 1903. Петербург>¹

Я опять пишу Тебе. Мне ужасно трудно, больно и тяжело говорить об этом. Мы с мамой сегодня утром ужасно поссорились, а теперь помирились. Она ужасно обиделась вчера, и вообще ей все время кажется, что мы хотим не обращать на нее никакого внимания. Ты знаешь, до какой степени она от всей души делает все. Она — ужасно больная и ужасно нервная. Ведь Ты поймешь, в каком смысле она обиделась? Ты не сердись на меня сразу за это, а подумай, что нам надо жить вместе. Нельзя ее так игнорировать. Ведь Ты знаешь, как я это говорю и что Ты для меня. Пойми все это, ради бога, если Ты любишь меня, и не сердись на первое слово. Ведь я не за нее заступаюсь, потому что Ты знаешь, что мне нельзя заступаться перед Тобой даже за нее. Но мне ее невыразимо жаль, и она так несчастна все эти дни, если бы Ты знала. У меня душа болит за то, как ты отнесешься к этому письму. Если Ты сразу примешь враждебный тон, как вчера, когда я хотел пойти к маме, чтобы сказать ей, чем все кончилось, — нам нужно решить не жить вместе, а жить отдельно, не на этой квартире. Ты знаешь мои отношения с мамой всю жизнь — это совсем необыкновенное. Я для Тебя сделаю все, Ты знаешь. Если Ты не сделаешь этой уступки, тогда нам нужно будет уйти. Но разве Ты не видишь и не чувствуешь, что тут, как это сравнительно просто улучшить, — к чему же, к чему же? А Ты знаешь, почему мы никогда не выходим и не пускаем к себе маму. Брани меня, как хочешь, называй холодным или еще хуже, но Ты все увидишь и поймешь потом, если захочешь, если любишь меня. Господи, как все это трудно и тяжело, если бы Ты знала, если бы Ты видела, если бы Ты слышала все эти наши разговоры. Ты снизойди и будь милосерднее. Я пишу, потому что знаю, как Ты можешь быть милосердна². А если рассердишься и не захочешь понять, тогда скажи определенно, жить или не жить вместе на этой квартире. Завтра я жду Тебя. Будь благосклонная и добрая, как Ты умеешь, и прости меня за все это.

Твой

¹ Дата почтового штемпеля.² Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 27 апреля): «Когда я буду с вами, и мама увидит, что я не «отгораживаюсь», увидит на деле, как я отношусь к ней. Мы не можем не быть счастливы все, все!.. Так бы хотелось знать, что ты спокоен и весел и что мама не сердится больше на нас. Скажи ей про меня что-нибудь хорошее, если есть что».<27 апреля 1903. Петербург>¹

Я пишу мало. Ушел Гиппиус² ночью, и я ничего уж не понимаю. Я Твой, я с Тобой без конца. Спасибо Тебе за Твои слова в письме³. Приду во вторник вечером. Можно видетсья в среду? Можешь Ты прийти на весь день? Или — когда? Ответь, как хочешь. Если писать не хочется, скажи во вторник. Я счастлив. Я Твой. Мне хорошо, и весело, и радостно. И все хорошо. Я Твой. Я не видел Тебя без конца. Ты видишь теперь, что думает мама? Ты получила ее письмо? Я счастлив всем. Я с Тобой.

Твой

¹ Дата почтового штемпеля: 28 апреля 1903 г.² А. В. Гиппиус.³ 30 апреля Блок написал ему: «Больше уж не приду к вам. У меня все складывается странно радостно. Спелось столько всего, что ни написать, ни рассказать кратко

немыслимо. Но все это — цепкое, весеннее, пахучее, как ветки сирени после весенних ливней» (VIII, 56).

³ См. примеч. 2 к письму № 59.

61

<28 апреля 1903. Петербург>¹

Я ждал Твоего письма, моя Дорогая, теперь уж, вероятно, не будет (9 час(ов) веч(ера)). Если будет, я все сделаю, что будет написано, а если нет, то после экзамена пойду домой и вечером приду к вам. Это письмо Ты получишь уже придя с экзамена ². Только бы Ты не дожидалась меня на курсах. Мне кажется, что я Тебя не вижу без конца. Ты, впрочем, давно знаешь и видишь все. Как все хорошо! Ты придешь в среду? Скажи мне завтра. Обещаю Тебе быть менее бездарным в письмах после всех экзаменов.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля: 29 апреля 1903 г.

² И Блок и Л. Д. Менделеева в эти дни готовились к сдаче экзаменов в университете и на Высших женских курсах. Блок был занят экзаменами с 15 апреля по 20 мая.

62

<1 мая 1903. Петербург>

Каюсь перед Тобой, коленопреклоненный, во всем, что я Тебе делаю злого. У меня скверный и неровный характер, и Ты постоянно, кажется, чувствуешь это. Я буду уравнивать его после экзаменов и летом. Прости теперь за мою Любовь, она сильна, она безмерна — и за мою страсть. И еще — нам нужно вместе исповедываться и причащаться ¹, я часто думаю и об этом и о многом другом, и, когда Ты присутствуешь — здесь, или у вас, — все эти думы ускользают. А когда мы обручимся? Мне хочется ехать за границу обрученным с Тобой, и Ты говорила, что хочешь этого. О заграничье мы сегодня разговаривали, кажется, что нужно решить отъезд на 25-е мая, позже уже трудно будет найти пансион или отель — и дороже. Еще нам надо вместе купить кольца, где? В субботу поговорим об этом. Еще мы непременно снимемся, только когда? Все это нужно обговорить, а мы все не можем разговаривать и все — я, уверяю Тебя.

Передо мной — Твои ландыши, совсем свежие, а сирень опустилась и совсем завяла. О том, что было третьего дня ночью, думается сонно — сквозь туман. И письма нет никакого. Мне, однако, скоро захочется спеть или расшевелить рифму о безумном романтике, о сером рассвете, о серых ступенях, по которым Ты всходила и сходила. Когда в верхней квартире были смехи и возгласы, я стоял ниже, под желтой лампой, и видел в домишке на дворе вечный красный огонь — целый костер. Там, надо полагать, занимались каким-то «производством» и «промышленностью». Но я не вникал и до сих пор не знаю. По правде Тебе сказать, я до сих пор вхожу на эти ступени и слушаю шорох Твоего платья и кладу земные поклоны, и целую серые ступеньки. И не верю, не верю, что я не прав, что я романтик. Я верю в Другое. Много из сердца осталось в этих стенах лестницы под желтой лампой. Слишком много там было истинной, нечеловеческой дрожи и радости страдания, чтобы покидать это. И к чему? Ты понимаешь, что Там вместе с моей памятью осталась и Твоя — Твоя Розовая Тень — Твоя. А где прошла Ты, то навеки священно и навеки — поэт. Ты — Певучая, Ласковая, Розовая — без имени и в венце из имени: Любовь.

Т в о й

1 мая 1903. СПб.

¹ Перед обручением. Исповедовались они 24 мая, причастились и обручились — 25 мая в университетской церкви (VII, 425).

(2 мая 1903. Петербург)

Знаю, что Ты придешь завтра. Эта мысль — самая ясная, остальные — неясны. Сегодня днем я почувствовал такую головную усталость, что ушел гулять и был в поле за Петербургом и на Гагаринской (!) ¹. Ты удивишься или рассердишься. А скорее — ни то, ни другое. Тебе это не может быть неприятно, моя Дорогая. Писал очень плохие стихи ². Но не думай, что не учился — также и учился. А все-таки, в поле трава зеленая, дали голубоватые и подозрительные, — точно там что-то есть (последнее для меня даже не «точно», а «наверное»). Я чувствую скорое освобождение. Весна идет в этом году неуклонно, потому что я твердо знаю, что будет за ней. А прежде ведь никогда не знал — ничего о Тебе. Сердца не могу забыть и запрягать, от этого плохо сковывается ум. А между тем перевожу с греческого диалог Платона о благоразумии... рассудительности... самообладании и пр. ³ Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum (Платон) *, однако в моем случае он оказался под влиянием Сократа, а потому и наговорил много несвойственного собственной величавой и седой душе. Впрочем, много и очень умного, и при всем весеннем и порывистом настроении, не могу не согласиться, что многое мне по нраву, но... по-гречески, а главное — перед экзаменом.

Я ужасно несмирен и горжусь в глубине души. Горжусь Тобой. Получили ли «Новый путь»? На этот раз мои произведения мне не нравятся ни качеством, ни количеством. Надо бы лучше и побольше ⁴.

Завтра Ты придешь — и в этом часе Твоего прихода и в кратких часах Твоего свидания со мной расположено все предыдущее и последующее — до нового свиданья. Так всегда. Счет дней аккуратен в моей голове — аккуратнее всего, что ее загромождают в большом количестве и в некотором беспорядке. Приходи, как можешь раньше, моя Дорогая, Несравненная, Единственная.

Т о и

2 мая 1903.

¹ То есть возле Драматических курсов М. М. Читау, где раньше училась Л. Д. Менделеева. Это место было дорого Блоку по воспоминаниям.

² Имеется в виду стихотворение «Нам довелось еще подняться...», снабженное пометой: «Поле за Петербургом». Блок это стихотворение ни разу не напечатал.

³ Перевод одного из диалогов, составляющих книгу Платона «Пир», для экзамена в университете.

⁴ В апрельской книжке «Нового пути» были напечатаны заметка Блока о «Симфонии» Андрея Белого (в отделе «Из частной переписки») и краткая рецензия на роман А. Зарина «Спирит» (за подписью: Ал. Бл.). Это была первая напечатанная проза Блока.

(7 мая 1903. Петербург) ¹

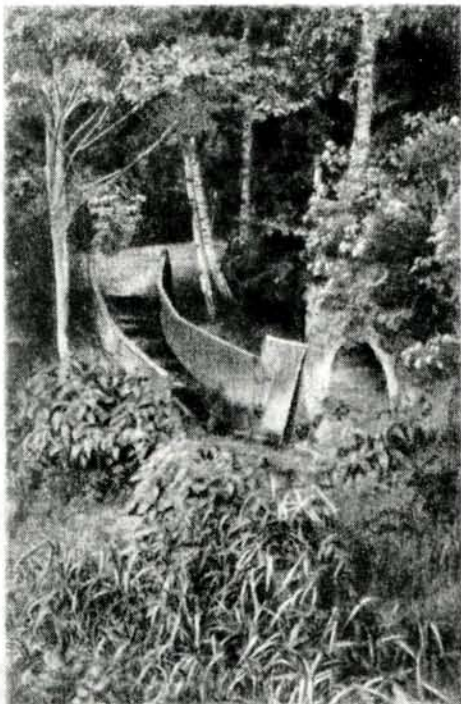
Не думай, что я пишу так коротко оттого, что не в настроении. У меня душа слишком переполнена, оттого мне можно сказать всего несколько слов, а больше — нельзя. Все равно, какие слова. Но не сказать нельзя чего-нибудь нежного. И, к тому же, Ты так привыкла к моим словам. Есть ли что-нибудь *новое* для Тебя во всем строе моей любви? Может быть, нет. А, может быть, и есть. Как угадать все, что в Твоей бездонности заключено? И, может быть, я иногда *ошибаюсь* Твои несбыточные мечты? «Убей

* Верю, есть племя богов, и вера моя не напрасна. — Латинское стихотворное изречение.

КОЛОДЕЦ В БОБЛОВЕ

Фотография, 1900-е гг.

Надпись — рукой Л. Д. Менделеевой-Блок (1931)

Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград

Колодезь в Боблове

раба...» Знай, что если опошляю, то невольно и под влиянием недобрых созвездий. Но вечно праздную Твой праздник, Тебя, несбыточная и сбывшаяся мечта, Тебя, живое воплощение, Тебя, Кроткая Прелесть моя! Слова мои — старые, глупые, малозвучные слова, но есть во мне огоньки новых надежд. Оттого я и вышел на распутья в Твою зеленую ночь и гляжу, расширяя зрачки. Какой я некрасивый и бледный перед Твоим факелом! Какую Ты мне розовую сказку рассказываешь? Сказку о том, что я живу, думаю, цвету и пою. Ты увидела меня во сне. И, все-таки, я думаю, что получу от Тебя письмо — тонкие, бесконечно дорогие, любимые черты Твоей детской и женской руки. Мне хотелось бы закрасться в Твою душу.

Т в о й

Вышло не очень кратко, но — все равно.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.

Я еще вчера (в среду) получил Твое письмо, моя Дорогая. Отчего Ты всегда думаешь, что в Твоих письмах «идиотский тон»²? Я люблю его, как все, что от Тебя. И, кроме того, что я его люблю, в нем вот что: женская, женственная, до глубины женственная манера, будто вялая, на самом деле — тонкая, нежная, как тонки буквы. Я люблю всякую букву. Буквы все убегают в длину фраз, а фразы длинные, как жемчужная нитка — нижутся, нижутся слова о любви. Вот, например, передо мной письмо от

12 ноября ³ — две страницы, а все состоит из трех фраз, из которых две разделены только многоточием. И все о любви. Не ленивое и не вялое — и какое женское! До чего нет ни тени грубости, а когда пишет мужчина (настоящий), всегда даже должно быть, пожалуй, резче. У Тебя письма цельные, в них есть и Твой профиль, и Твои движения. Благоухание Твоих писем в том, что они — будто холодны, сначала. Потом — верность и неуклонность, какая-то вера помимо времени, вера сверх минуты, будто мгновение из жизни, а не из мгновения жизнь: нет принуждения (кроме внешнего), пишется, как пишется. И вся лень Твоей походки, «мягко-ниспадающей», призывной для избранного... Обаяние скатывающейся звезды, цветка, сбежавшего с ограды ⁴, которую он перерос, ракеты, «расправляющей», «располагающей» искры в ночном небе, как «располагаются» складки платья — и с таким же не то вздохом, не то трепетом и предчувствием дрожи. Ты не оправдывайся в письмах, я знаю их, знаю, о чем они. В них — мои вести и мои сказки. Между строк вырастают для меня предания о временах прошедших и будущих. И где же лучше располагать эти предания, как не между строк *Твоих* писем. Малая церковь Твоя — для меня эти письма, и я бы хотел украшать их любовной живописью. Нопш с собой последнее письмо и перечитываю, распеваю в сердце, учусь мелодии Твоей лени, Твоих линий, Твоего ума. И вся Ты передо мной за исключением того, чего я не знаю, чего узнать все не могу, что и Ты не расскажешь, потому что не знаешь сама, — то тайное, любимое дуновение, от которого Ты — сказочная Царевна. И вот, Ты придешь в субботу, наверное, я давно жду субботы. Ты устаешь теперь? Да. Не отвечай, оттого что Тебе не... отвечать. Слово пропускаю, потому что его не существует, но я его очень хорошо знаю так. Я хожу в Ботанический сад на 1/2 часа, там черемуха цветет, вся мокрая, белая и светло зеленая. Прохожу по дорожкам, где проходила Ты. Размышляю. Зелено, сыро, никого нет.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля: 9 мая 1903 г.

² В этом письме (без даты) Л. Д. Менделеева писала: «Нет, лучше не буду писать, такой глупый тон, что самой противно, а лучше не могу».

³ См. примеч. 4 к письму № 12.

⁴ Ср. в стихотворении Блока «Я буду факел мой блюсти...» (4 декабря 1902 г.):

Я буду факел мой блюсти
У входа в душный сад.
Ты будешь цвет и лист плести
Высоко вдоль оград.

Цветок — звезда в слезах росы
Сбежит ко мне с высот...

66

⟨10 мая 1903. Петербург⟩¹

Моя Дорогая, моя Несравненная, я получил Твое удивительное, необыкновенное письмо ², спасибо Тебе, жду Тебя всей силой души в субботу вечером. Ты получишь это письмо, когда вернешься с экзамена, усталая и сонная, и все-таки придешь. Скоро все это кончится — и экзамены, и расстояния, и все, даже мелочи и хлопоты, будут веселые, без постоянной озабоченности. Почтительно и страстно целую Твои маленькие, белые руки и Твои золотые волосы.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.

² В этом письме (без даты) Л. Д. Менделеева писала: «... то вспоминаю, то пред-

ставляю себе, что будет дальше; и все такое хорошее, все «несбыточные мечты» так несбыточно, сказочно сбываются. Ведь вот ты не знаешь, как я тебе благодарна, прямо-таки благодарна за твою любовь, за счастье. Иногда тебе кажется, что я становлюсь равнодушной; это когда я устаю быть откровенной, до такой непривычной степени устаю открывать тебе, отдавать в твои руки всю душу. Тебе кажется тогда, что душа закрыта для тебя, ты не видишь ее; а всегда, всегда каждое твое слово, взгляд, ласка проникает ее всю, она жадно ловит их и хранит все, и дрожит от счастья, и благодарна тебе, и любит, любит, любит. Вот мне не хватает слов, не нужно бы писать все это так по-детски некрасиво и слабо, а хочется иногда, вот как сейчас, хоть как-нибудь сказать, хоть так уж, если не умею лучше. А в твоих словах всегда музыка и сила и красота; ты не думай, я всей душой понимаю их музыку и ее смысл, за смыслом самих слов. Пусть слова старые иногда, но я всегда слышу их новую музыку, новую с каждым разом. Я, может быть, понимаю немного больше, чем ты думаешь, чем это кажется из того, что я говорю; конечно, почти всему научил меня ты; еще давно началось это переучиванье, с мистического года, и все это верно так подошло, что ли, ко мне, что кажется, будто и мое собственное» (*Мистический год* — на языке Блока и Л. Д. Менделеевой — с лета 1901 по лето 1902 г.).

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«И вот пришло «мистическое лето» (1901 года).

Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он придет; это теперь — верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто розовые. Одно было любимое — желтовато-розовое с легким бежим узором.

Вскоре звякала рысь подков по камням, Блок отдавал своего Мальчика около ворот и быстро вбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить и мы подолгу, часами, разговаривали, пока кто-нибудь не придет. Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как мы называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов». Знакомство пока еще лишь из книг. Он без конца рассказывал, цитировал так легко запоминаемые им стихи, привозил мне книги, даже первый сборник «Северных цветов», который был чуть ли не заветнейшей книгой. Я читала по его указанию первые два романа Мережковского, «Вечных спутников»; привозил он мне Тютчева, Соловьева, Фета. Говорил Блок в то время очень трудно, в долгих переплетах фраз ища еще не пойманную мысль. Я следила с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, уже ощущала, чем «они» берут и меня.

Раз как-то я в разгаре разговора спросила: «Но ведь вы же наверно пишете? Вы пишете *стихи*?» Блок сейчас же подтвердил это, но читать свои стихи не согласился, а в следующий раз привез мне переписанные на четырех страницах листка почтовой бумаги: «Αυραφα Δόγματα», «Servus — Reginae», «Новый блеск излило небо...», «Тихо вечерние тени...» Первые стихи Блока, которые я узнала. Читала их уже одна.

Первое было мне очень понятно и близко; «космизм» — это одна из моих основ. Еще в предыдущее лето, или раньше, я помню что-то вроде космического экстаза, когда, вот именно, «тяжелый огонь окутал мирозданье...» После грозы на закате поднялся сплошной белый туман и над далью и над садом. Он был пронизан огненными лучами заката — словно все горело: «Тяжелый огонь окутал мирозданье». Я увидела этот первозданный хаос, это «мирозданье» в окно своей комнаты, упала перед окном, впиваясь глазами, впиваясь руками в подоконник в состоянии потрясенности, вероятно очень близком к религиозному экстазу, но без всякой религиозности, даже без бога, лицом к лицу с открывшейся вселенной...

От второго. — «Порой слуга — порою милый...» щеки загорелись пожаром. Что же — он говорит? Или еще не говорит? Должна я понять, или не понять?..

Но последние два (стихотворения) — это образец моих мучений следующих месяцев: меня тут нет. Во всяком случае, в таких и подобных стихах я себя не узнавала, не находила, и злая ревность «женщины к искусству», которую принято так порицать, закрадывалась в душу. Но стихи мне пелись и быстро запоминались.

Понемногу я вошла в этот мир, где не то я, не то не я, но где все певуче, все недосказано, где эти прекрасные стихи так или иначе все же идут от меня. Это обиняками, недосказанностями, окольными путями Блок дал мне понять. Я отдалась странной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но, в сущности, одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы. Часто что было в разговорах, в словах, сказанных мне, я находила потом в стихах. И все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, пролившую свой тонкий аромат так же напрасно, как и этот благоуханный летний день. Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в цветущих кустах...

И вот в июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши, все Смирновы собрались ехать пикником в далекий казенный сосновый бор за белыми грибами. Никого не будет, даже и прислуги, останется только папа. Останусь и я, я решила. И заставлю Блока приехать, хотя еще и рано по ритму его посещений. И должен быть, наконец, разговор. На меня дулись, что я не еду, я отговаривалась вздорными предложениями. Улучила минуту одиночества и, помню, в столовой около часов всеми силами души перенеслась за те семь верст, которые нас разделяли, и сказала ему, чтобы он приехал. В обычный час села на свой стул на террасе с книгой и вербенной. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.

Мы стали ходить взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи. И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке, он не знает, ехать ли ему, и просит меня сказать, что делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит он и не поедет. И мы продолжали ходить и дружески разговаривать, чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды.

Жироду, в романе «Белла», говорит, что героев его в первые две недели их встречи ничто не тревожило на пути, не встречалось ничего, нарушающего гладкое течение жизни и плоскости пейзажа. У нас совсем наоборот; на всех поворотных углах нашего пути, да и среди ровных его перегонов, вечно «тревожили» нас «приметы». Никогда не забылся ни Блоком, ни мной мертвый щегленок, лежащий в траве на краю песчаной дорожки, ведущей в липовую аллею, по которой мы ходили, и при каждом повороте яркое пятнышко тревожило душу щемящей нотой обреченной нежности.

Однако этот разговор ничего внешне не изменил. Все продолжалось по-старому. Только усилилось наше самоощущение двух заговорщиков. Мы знали, то, чего другие не знали. Это было время глухого непонимания надвигающегося нового искусства, в нашей семье, как и везде. Осенью гостили у нас Лида и Сара Менделеевы. Помню один разговор в столовой, помню, как Блок сидел на подоконнике еще со стеклом в руках, в белом ките, высоких сапогах, и говорил на тему зеркал, отчасти гипнисуовских, но и о своем, еще не написанном «И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен...» Говорил, конечно, рассчитывая только на меня. И кузины, и мама, и тетя и отмахивались, и негодовали, и просто хихикали. Мы были с ним в заговоре, в одном, с неведомыми еще никому «ими». Потом кузины говорили, что Блок, конечно, очень повзрослел, развился, но какие странные вещи говорит — декадент! Вот слово, которым долго и вкривь и вкось стремились душить все направо и налево!

Это понимание и любовь к новым идеям и новому искусству мгновенно объединяло в те времена и впервые встретившихся людей, — таких было еще мало, очень мало. Нас же разговоры «мистического лета» связали к осени очень крепкими узами, надежным доверием, сблизили до понимания друг друга с полуслова, хотя мы и оставались по-прежнему жизненно далеки.

...Два романа Мережковского — то есть первую и вторую части трилогии «Христос и Антихрист» — «Смерть богов» (1896) и «Воскресшие боги» (1901). «Вечных спутников». — «Вечные спутники» — Сборник историко-культурных очерков Д. С. Мережковского (1897, изд. 2 — 1899 г.). «Тяжелый огонь окутал мирозданье...» — Строка из стихотворения «Аурафх Δόγματα» («Неписанные догматы»). «Порой — слуга; порою — милый» — строка из стихотворения «Servus — Reginae» («Слуга — Царице»). ...Мне будет жаль, если он уедет... — Блок отметил в своих воспоминаниях: «Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем» (VII, 344). ...На тему зеркал, отчасти гиппиусовских... — Имеется в виду повесть З. Гиппиус «Зеркала». «И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен...» — неточная цитата из стихотворения «Пытался сердцем отдохнуть я...», написанного 27 августа 1902 г.

67

⟨14 мая 1903. Петербург⟩¹

Моя Дорогая, прошу Тебя, не выходи совсем на улицу 16-го мая, и 17-го лучше тоже. Я ужасно боюсь что-то за Тебя, говорят, что многие уезжают из Петербурга². Я думаю, что приду 17-го вечером и принесу карточку³. Напишу еще, жду Твоего письма завтра. Я хотел писать длинное и хорошее письмо, стал писать стихи, они не вышли⁴, оттого и ничего не вышло. Лучше отложу, прости, что так уж бессмысленно.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.

² Опасения Блока были связаны с тем, что 15—16 мая 1903 г. в Петербурге начались юбилейные торжества по случаю 200-летия со дня основания столицы. Опасались больших скоплений на улицах и всякого рода эксцессов.

³ Фотографический снимок Блока с невестой (В наст. томе воспроизведены два снимка, сделанные одновременно (см. фронτισпис и стр. 189).

⁴ Имеется в виду стихотворение «На Вас было черное, закрытое платье...».

68

⟨15 мая 1903. Петербург⟩¹

Ужасно странное чувство — исполнимость невозможного. Вся эта зима представляется теперь каким-то страшно долгим временем, исполненным тысячью событий и чувств. Все время не было чего-то, были какие-то границы — «Ты серебрилась вдали»². Теперь (и то еще не часто, потому что все время отбивают многое хорошее и сознательное экзамены) я начинаю вдруг просыпаться, будто сознавать уже совершенно ясно и непреложно, что будет скоро. И все это еще сквозь целую зимнюю усталость, сквозь строй всего, что было, точно теперь-то и начнется весна, а пока еще лежит тонкой целеной голубой снег событий. Внезапно, точно из какого-то откровения, чисто религиозно, как *ἀγαθός θεός*³ (понимаешь?) появляется, возникает и опять пропадает: мысль непривычная еще, мысль небывалая, Неизреченного Света, простейшая в красоте, торжественная в величии. До какой степени в этот последний месяц все «заброшено» (если можно так сказать), многие нити не в руках, не усвоено все то, что я скоро усвою, как Величайшую Радость, перл Моей жизни, ее гордость, вполне недоступную никому, кроме Тебя и — меня. Вчера я перечитал ночью «Ундину» Жуковского (перевод) (после того как написал такое отвратительное письмо к Тебе) — и почувствовал, что бывает на свете,

* Неведомый бог (греч.).

и что *надо* вспомнить и чему служить. Ты увидишь меня другим и, дай бог, чтобы лучшим, чем я теперь. Теперь уже всплывают передо мной мои вины перед Тобой за это последнее время. Молчу, когда нужно говорить, или наоборот — и, вообще, мало чуткости и мистического внимания к Тебе. Моя Дорогая, моя Милая, моя Несказанная, до чего я опять хочу сегодня быть с Тобой вдвоем *только* и больше ни с кем никогда. Отделиться от всего стенами, не слышать ни одного звука других голосов, не видеть ни одного лица. И, точно так же, не знать и не верить ни одному событию, ни великому, ни малому из посторонних нашему счастью. Знаешь, что это такое? То, что я давно почти ничему не удивляюсь, очень глубоко все знаю и потому не осуждаю уже никого и никогда просто. Давно известно то, что еще удивляет и пугает многих, многое из этого уже скучно и ненужно. Ты знаешь, что это *не* апатия, и ничего подобного. Но устаю от обычного и не всегда хочу совсем необычного. Теперь вот это так. И потому, вот в эту минуту, чувствую, что мне нужно особенно того, что Ты, кроме совсем необычного и Одной Тебе свойственного, можешь дать мне — одна во всем мире: женской любви — *женской*. Это и есть то наше отдельное и наше будущее, о чем я сейчас думаю: одни стены, одна комната, одна обстановка, одни мысли, одно и то же чувство, одна душа, полное «сочувствие» — то, что дается *только* одним условием — брака; *не* страсти, *не* маскарад, *не* маски, *не* цыганские песни, *не* искры в глазах среди пестрой толпы. Все это будет еще, как было, никуда не ушло, и Тебе и мне дорого и необходимо. Брак *НЕ*⁴ исключает этого, я знаю. Но то, о чем я говорю в эту минуту, возможно только тогда, когда мы будем связаны неразлучно. Чувствуешь ли Ты, как я вот сейчас, что незаконность и мятежность совсем *не* исчезают в браке, они вечно доступны, потому что мы, как птицы, свободны и можем, как птицы, замирать и биться высоко в воздухе, с тем же криком, с тем же клетотом и призывностью молодой свободы. И знаешь ли Ты еще, что *законность* и безмятежность также необходимы в другие минуты, доступны *только* знающим о неразрывности своих связей, проникшим глубоко в тайну своего, отделенного от всех других, круга, имеющим *право* не впускать в него *никого*, ибо «что бог соединил, человек не разлучает». И Ты думаешь еще, что я «жалю» чего-то. Ты не жалея, а я то уж никогда не буду. Что же для меня *все* остальное (если хочешь, даже все остальные женщины, ибо это единственное, о чем мне, Ты думаешь, можно жалеть?), когда я так твердо и так неоспоримо знаю, что мне, кроме Тебя, *никого* не нужно? И может ли быть иначе, когда я все время чувствую, день ото дня сильнее, всевозможную связь с Тобой? Если бы Ты теперь вдруг, почему-нибудь, отошла от меня, я совсем не мог бы остаться. Что уж говорить о грехе, когда самоубийство стало бы глубоко законным для меня и ни одна струна не шевельнулась бы во мне против него. И ты думаешь, что я жалею!

Твое письмо пришло только в 5 часов, я уже томился от беспокойства. Оно (письмо) не глупое и не холодное⁵. Родственный вечер⁶ произвел хорошее впечатление, Ты не беспокойся. Твой папа вот какой: он давно *ВСЕ*⁷ знает, что бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм, и т. д.). У него есть все. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда — неспокойно. И никому из Твоей семьи не покойно, это оттого, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это всепознание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает *обо всем* вместе. Ничего отдельного или отрывочного у него нет — все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех, кто к нему приходит. Но он никогда *не захочет* поверить, и ему



БЛОК В РОЛИ ДОН-ГУАНА («КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» ПУШКИНА)

Фотография, 1899

Литературный музей, Москва

не надо верить в то, что кто-нибудь может быть с ним откровенен и прост. Это ему очень тяжело, но он верит, что иначе не может и не должно быть, и никто в мире не убедит его в противном. Он считает необходимым долгом, например, «занимать» и т. п. Иначе он никогда делать не будет, но это ему тяжело и часто невыносимо, даже физически. Твоя мама страдает, между прочим, и от этого, и, вообще, до какой степени я понимаю, как она может страдать и от чего, — и мне часто ее страшно жаль, а в прошлый раз хотелось все время как-нибудь ей это выразить и ее приласкать. Но что этого нельзя было сделать и вообще делать нельзя (по крайней мере) теперь — это я тоже вполне и до конца знаю. Дай бог, чтобы мама поправилась нервами летом. И больше всего на свете, я чувствую Твою жизнь, Тебя и то, сколько будет счастья.

Если можешь, напиши мне. Ты свободна теперь. Я приду 17-го вечером с карточкой. Лучше уж учиться, я боюсь потерять последнюю сообразительность и память, если буду часто видеть Тебя теперь. Прости, что так, Ты понимаешь.

Письмо мое несвязно и недостойно Тебя. Опять! Напиши, ради бога, Ты сама, хоть немного⁸. Господь с Тобой, моя Прекрасная, Золотокудрая, моя Принцесса, моя Царевна.

Твой

¹ Дата почтового штемпеля.

² Цитата из стихотворения Блока «В полночь глухую рожденная...» (24 декабря 1900 г.).

³ См. «Деяния апостолов», XVII, 22—23: «...я нашел и жертвенник, на котором написано: *«Неведомому богу»*. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (слова апостола Павла).

⁴ Подчеркнуто дважды.

⁵ Л. Д. Менделеева писала в этом письме (без даты): «Мой дорогой, не буду тебе много писать, в голове нет ничего, кроме беспорядочных отрывков из русской литературы. Держала экзамен около 8 ч (асов) вечера, получила 5 за отцов церкви и за Голубиную книгу. Шляпкин очень добродушно улыбнулся на мое кольцо, советую и тебе одеть, когда будешь держать. Очень мне неприятно писать такое холодное и глупое письмо, а лучше не могу. Напишу завтра, может быть. А твоего письма жду ужасно, напиши и завтра, вот хорошо бы опять по несколько писем в день, как бывало прежде, а то теперь мне делать нечего и будет скучно, скучно без тебя. Какое впечатление произвел на всех ваших родственный вечер?». Об И. А. Шляпкине см. примеч. к письму 3, наст. том, стр. 44. (*Кольцо* — обручальное).

⁶ У Менделеевых, куда были приглашены мать и отчим Блока.

⁷ Подчеркнуто трижды.

⁸ Приводим ответное письмо Л. Д. Менделеевой (без даты): «Ну, как отвечать на такое письмо, как твое последнее? Слишком хорошее оно, я не могу об нем писать. Я даже совсем не хотела бы писать тебе сегодня, ничего не выйдет, да боюсь — ты испугаешься. Вообще, пожалуйста, не беспокойся обо мне, уж буду сидеть дома, для тебя».

Завтра уезжает мама сначала в Боблово, а потом к тете в Ростов, и вернется с ней по Волге; это очень хорошо, она и отдохнет и развлечется. А мне приходится оканчивать массу дел, так что я опять буду очень занята. Прости, но я, право, что-то совершенно не в состоянии писать сейчас. Перечитала опять твое письмо, не хочется после него писать о «делах», а хорошего не могу. Уж не сердись, ведь ты знаешь, что я не мастерица на слова и знаешь все, все, что я могу сказать тебе после твоего письма, что я чувствую. А от тебя жду еще, пиши, милый! Приходи пораньше 17-го, может быть прямо из фотографии к обеду, уж теперь совсем запросто, мамы ведь не будет. Или как хочешь, только пораньше. Уж я не хотела жаловаться на твои противные занятия, да не могу, уж очень скучно не видеть тебя так долго».

Я написал Тебе длинное письмо и забыл еще раз просить Тебя не выходить совсем ни 16-го, ни 17-го. Все равно, магазины закрыты². Вечером 17-го я приду — в субботу.

Напиши, прошу Тебя

Твой, Твой, Твой

¹ Дата почтового штемпеля.

² См. примеч. 2 к письму № 67.

<16 мая 1903. Петербург>¹

Кажется мне, что завтра будет письмо от Тебя.

Сегодня принесли два шкапа. Зеркальный ужасно испортили красным лаком, потому красное дерево потеряло аристократизм. Другой шкаф очень красивый, по-моему, красивее.

Я пишу так, потому что совсем вне себя. Вне себя от желанья быть с Тобой. Чувствую опять все — и небесное и земное. «Жадно впиваюсь» в Твою бесконечность², моя Изумрудная Дева, моя Звезда. Все знаю, точно Архангел опять рассек грудь. «И горний Ангелов полет, и гад морских подземный ход, и Дольней Лозы прозябанье»³.

Весь Твой Образ в моих упругих змеиных кольцах⁴. Вот:

На Вас было черное, закрытое платье.

Вы никогда не поднимали глаз.

И только на груди, может быть, над Распятьем,

Вдыхал иногда и шевелился газ.

У Вас был голос серебристо-утомленный.

Ваша речь была таинственно проста.

Кто-то Сильный и Знающий, может быть, Влюбленный

В Свое Создание, — замкнул Вам уста.

Кто Он был — я не знаю и никогда не узнаю,

Но во мне к Нему ревность и нечеловеческий страх.

Ревную к Божеству, кому песни слагаю,

К Божеству, или Демону — на Ваших устах⁵.

И знаю гораздо больше, чем пишу и чем могу выразить — в стихах ли, в прозе ли. И больше не буду писать, Ты знаешь и так — больше меня.

Я приду в субботу.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля.

² См. стихотворение Вл. Соловьева «Прощанье с морем»:

Снова и снова иду я с тоскою влюбленной
Жадно впиваться в твою бесконечность очами.

³ Цитата из стихотворения Пушкина «Пророк» (с опиской; нужно: «И гад морских подводный ход»).

⁴ Ср. в стихотворении Вл. Соловьева «Песня офитов»:

Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.
.....
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.

⁵ Стихотворение было написано 15 мая 1903 г. Впервые напечатано в «Литературных приложениях» к «Ниве», 1908, № 2, с изменениями в третьей строфе.

<16 мая 1903. Петербург>¹

Я знаю, что приду завтра, и все-таки не могу не писать. Если бы нам пришлось не видеться с Тобой еще дольше, я бы не мог. Теперь еле-еле удерживаюсь от того, чтобы не прийти. Всякая вещь говорит о Тебе. Всякое настроение говорит о Тебе.

Разве у Тебя много «дел»? Тебе нужно еще (кроме той бумаги, которая у меня) «разрешение родителей» и метрическое свидетельство. Скажи еще мне завтра, когда будет перебита мебель. Ее бы лучше прислать при нас. И вообще, Ты рассказывай мне «дела», мне интересно и нужно знать. Очень хорошо, что мама² уехала в Боблово и к тете, она, правда, отдохнет. Я все думаю о том времени, когда мы будем совсем вместе и совсем вдвоем — и не знаю, как думать. Сон какой-то.

Вчера вечером и ночью я постигал всю бесконечность. Прощал все одушевленные и неодушевленные существа. Но это, как часто, досталось не легко. Опять приходил «Он» (чорт?) и пугал. Он очень неотвязен. Вчера показался мне простым, грустным и мутным. Впрочем, я никогда еще (кажется) не видел Его, а только чувствовал Его присутствие. Вероятно, Он бросит свои старые приемы — пугать бесконечностью и «растягивать» время, пространство и цепь причин. Будет ласкаться по-собачьи.

Сегодня Его нет. Завтра будет Дева. Все это мне известно, потому и пишу так просто Тебе, которая должна знать это обо мне.

Завтра приду пораньше. Знай, что я весь — Твой и больше никому не принадлежу. Все, что во мне шевелится и живет — для Тебя.

Т в о й

¹ Дата почтового штемпеля: 17 мая 1903 г.

² А. И. Менделеева.

72¹

18 <мая 1903. Петербург>
Утро

Ты, главное, успокойся, моя Дорогая, насколько только можешь. Я очень много думаю о том, что Ты говорила². *Надеюсь*, что придумаю даже. И Ты надейся и верь мне в этом. Я имею разные мысли, о которых мы с Тобой говорить не будем. Во всяком случае знай, что мнения у нас с Тобой об этом очень сходны, и Ты напрасно упрекаешь меня в теориях по этому поводу. Сокрушаться о том, о чем Ты главным образом сокрушаешься, Тебе *вероятно не придется*. Беру это на себя. Об остальном, о чем Ты говорила, мы можем говорить и будем, а 20-го я приду, но не знаю, в котором часу. Мама советует не менять шкала, он не так плох. Лучше бы Тебе посмотреть сначала, думаю, что мы пойдем к нам, когда я к Тебе приду.

Жду от Тебя письма, а теперь постараюсь учиться.

Если можешь, не говори особенно много *об этом* с Шурой³ и, главное, ничего об этом моем письме. Мне бы хотелось, чтобы это осталось нашим. Как Шура ни хороша — она — чужой человек, и потому хорошо бы об этом и перед ней и перед всеми другими умалчивать. Откровенность едва ли прибавит что-нибудь, а Ты лучше «не называй меня небесным и у земли не отнимай»⁴, и в этом, насколько можешь, понадейся на меня.

Т в о й

¹ Это письмо откололось от основного фонда писем и находится среди бумаг Л. Д. Менделеевой-Блок в Рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР.

² Предмет разговора не известен; очевидно, речь шла о каких-то бытовых неурядицах.

³ А. М. Никитина.

⁴ Перефразированная цитата из стихотворения Н. Ф. Павлова (1805—1864) «Романс» (1834), вошедшего в песенный репертуар (положено на музыку М. И. Глинкой, а вслед за ним А. С. Даргомыжским.)

73

⟨19 мая 1903. Петербург⟩¹

Тысячу раз прости, прости, прости. <...>

Забудь, забудь, умоляю именем моей страсти. Я буду лучше. Забудь, забудь, забудь, прости мою дерзость. Я прочитал Твое письмо. Прости, хоть и трудно прощать мне столько, моя Любовь.

Я раб Т в о й ²¹ Дата почтового штемпеля.

² Написано, очевидно, в ответ на следующее письмо Л. Д. Менделеевой (без даты): «Лучше бы я не обещала тебе писать, ты ждешь, а написать что-нибудь сегодня невыносимо трудно, почти невозможно. Ну что я тебе скажу? У меня еще не настолько смягчилось, раскаялось сердце, чтобы слова находились сами. Я не могу еще так рассказать, пожалеть тебя за все несправедливости, кот<орые> я тебе говорю, за всю мою жестокость, чтобы защемило сердце, чтобы я заплакала. Когда я ужаснусь того, что я сделала, я найду слова, я сумею все загладить, может быть, заставить забыть. Трудно забыть и простить такую эгоистичную, бессмысленную жестокость, как моя, но я знаю, что тылюбишь и простишь, даже забудешь. Ведь это отвратительно так — рассчитывать на силу твоей любви, после всего. Ну, прости меня, не беспокойся; ты только прости от всего сердца, всей любовью, и ты не будешь ничего бояться, ты увидишь, что ведь не всегда же я такая, что это прошло. Не буду оправдываться, не имею права, ты сам прости! Ты ведь сам знаешь, что я твоя всегда, что чтобы я ни делала, мне не уйти от тебя, и хоть я не достойна тебя, твоей любви (если бы ты знал, как я это теперь чувствую), все-таки я на век твоя, твоя. Напиши мне, ради бога, не скрывая ничего, все, что ты думаешь, хоть и не стою этого».

74

⟨27 мая (9 июня н. ст.) 1903. Кенигсберг⟩
27 V/9 VI 1903 Königsberg

Едем, едем, едем ¹.

Пыль и грязь. Мама отвратительно чувств<ует> себя. Я ничего не понимаю, кроме будущего. Завтра вечером будем в N<auhei>m'e.

А что я думаю о Тебе, знаешь только Ты и я.

Т в о й

Напишу из N<auhei>m'a

¹ Письма №№ 74—112 относятся ко времени заграничной поездки Блока: он сопровождал мать, поехавшую лечиться в Бад-Наугейм (курорт в Германии). В Бад-Наугейме Блок уже побывал раньше — летом 1897 г. В дневнике 1921 г., вспоминая время своего жениховства, Блок записал: «В конце мая (по-русски) уезжаем в N<auhei>m. Скряжническое и пищенское житье там, записывается каждый пфенниг. Покупка плохих и дешевых подарков. В середине европейского июля возвращаемся в Россию (через С.-Петербург в Шахматово). Немедленные мысли о том, какие бумаги нужны для свадьбы, оглашение, букет, церковь, причт, певчие, ящики и т. п. — В Bad Nauheim'e я большей частью томился, меня пробовали лечить, это принесло мне вред. Переписка с невестой — ее обязательно-ежедневный характер, раздувание всяких ощущений — ненужное и не в ту сторону, надрыв, надрыв...» (VII, 425—426).

75

⟨29 мая (11 июня н. ст.). Бад-Наугейм⟩

Вчера вечером мы приехали в Н<аугейм> совершенно удачно, т. е. в смысле крушений, потому что остальное на железной дороге было отвратительно для мамы и для меня неприятно. Нашли виллу в тот же вечер, ком-

наты внизу с пенсионом. Сегодня ходили по городу и парку и были у доктора. Относительно мамы он сказал не очень ободряюще (нашел у нее еще, кроме порока сердца, ревматизм, по-видимому, сердечный), а относительно меня сказал, что я совсем здоров, только einwenig * нервен и малокровен и т. д.

И вот я пишу так оттого, что совсем не знаю, что писать и о чем писать. То бесконечно много, то мало. Целые вихри чувств и мыслей.

Я оторвался от Тебя как-то вдруг. Точно без приготовления и прямо вслед за «третьим звонком». До этих пор точно ничего не было, даже все приготовления к отъезду были чужды и мало заметны. Все, точно я еще держал Твои руки и целовал их, и вдруг Ты судорожно обняла и бросила, и ушла в толпу, и там только Твоя фигура видна с отходящего поезда. Это — последнее ².

Вот почему я чувствую теперь «роман». Понимаешь? Не только, как жених к Невесте, но как-то еще, точно не сбылось. И меня дразнит и манит еще какая-то новая неизвестность Твоего обаяния. Вижу, что будет опять новое.

Расстояние так громадно, что я не могу подозревать, что Ты будешь чувствовать в ту минуту, как получишь письмо. И это опять меня дразнит.

И оттого такие тяжелые «сухие» слова. Уж слов мало. Я совсем не могу и приблизительно ими сказать всего — и т. д. Понимаешь?

Ты осталась одна. Но только Ты не ушла в толпу и не слилась с ней. Ты точно поднялась из нее — и высоко остановилась. И вот — миг один, и моя душа сочтет Тебя Девой Марией. И она считает и считала Тебя Ею. Но *сказать* этого уже нельзя, это можно только *знать*. И знаешь это Ты, и знаю я. Но еще и еще мы знаем бесчисленное. Мы знаем вот теперь, в эту минуту (все равно — и Ты, и я), что Твое лицо живет, и пылает и дышит. Оно прекраснее всех лиц человеческих (сегодня я видел без числа курортные женские лица, но — боже мой!) Твои руки выточены и белы, их движения божественно-величавы. Но Тот, Высокий и Сильный ³, разлил по ним яркую, требующую кровь, и Ты вся горюшь этой кровью. И я, только взглянув, только вспомнив, сам вспыхиваю.

У нас будет время требований. Ты будешь требовать, Твое великопение будет требовать. Твои руки откроются и замкнутся. Я не то пишу. Я не о том пишу и не то хочу писать. Я весь, весь, весь исполнен Тобой. Нет места «другим». Ты знаешь, Ты слышишь, Ты видишь, Ты чувствуешь.

Больше *не надо* писать сегодня.

Пиши мне, точный адрес на карточке. Окно выходит на жел^{езную} дорогу и в поле. Все зелено. Деревьев очень много везде, парк красивый и большой. Я все знаю с прошлого раза ⁴. «Никого» не встречал. Завтра (30 мая) начнем брать ванны (5 ванн в 6 дней, потом — перерыв). Если хочешь, напишу подробнее. Но теперь не могу! И все, что написал, никуда не годится. Видишь сама? Если бы существовали слова для того, что во мне! Я буду скоро петь. Не забывай меня. Что за чепуху я пишу!

Т в о й

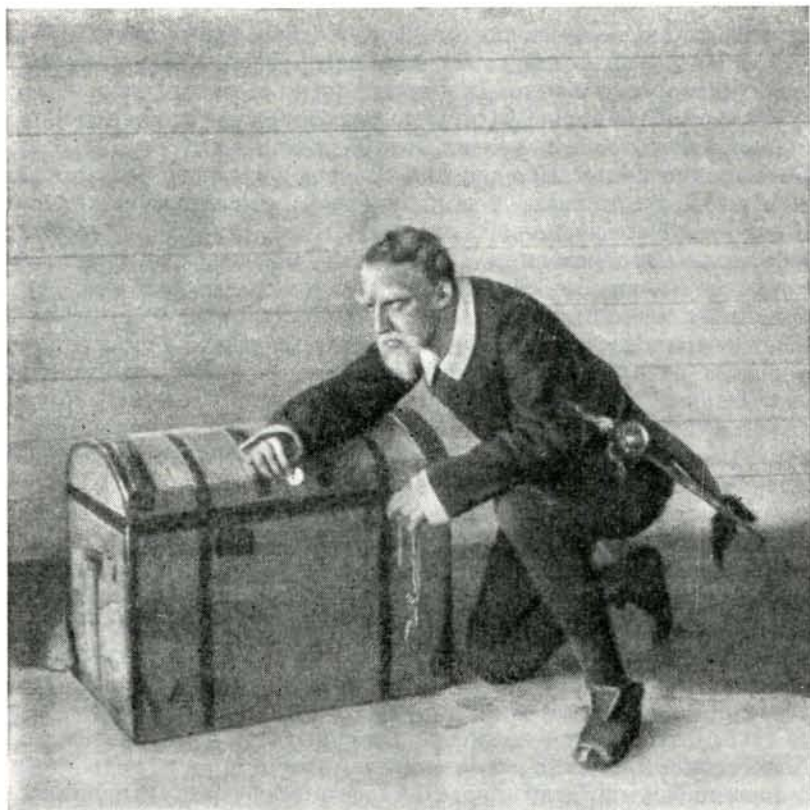
Пиши подробнее о «делах» — о Мелиус ⁵, мебели и пр. Застанет ли Тебя письмо? От Тебя нет на почте.

Если только можешь, пиши чаще, хоть понемногу.

¹ Датируется по сопоставлению с письмом № 74.

² Л. Д. Менделеева писала Блоку во втором письме после его отъезда: «Ну, хочешь расскажу, как было после вашего отъезда? Я стояла и смотрела, пока поезд скрылся; все меня ждали...».

* Немного (нем.).



БЛОК В РОЛИ СКУПОГО РЫЦАРЯ («СКУПОЙ РЫЦАРЬ» ПУШКИНА)

Фотография, 1899

Литературный музей, Москва

³ См. стихотворение Блока «На Вас было черное, закрытое платье...» (письмо № 70).

⁴ То есть со времени пребывания в Бад-Наугейме летом 1897 г.

⁵ Очевидно, модистка. Имя это несколько раз упоминается в письмах Л. Д. Менделеевой к Блоку.

76

31 мая (наше) <(13 июня н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>

Моя Любовь, моя единственная.

Я получил сегодня два твоих письма. Даже сказать Тебе о них ничего не могу. И, вообще, трудно говорить с Тобой, опять трудно на таком расстоянии, в такой непривычной обстановке. Здесь совсем животная жизнь, разленивающая и скучная. Мы встаем в 7 час<ов> ут<ра>, ждем ванны, после ванны лежим 1 ч<ас>. Так проходит время почти до Mittag'a * (12 1/2). После него — шатанье по городу и парку, потом в 7 час<ов> веч<ера> — ужин, потом можно идти на террасу слушать музыку, а в 11 час<ов> веч<ера> все запирают. Все уже устроилось, наши комнаты внизу, в довольно тихом месте, все расстояния маленькие. Город я помню наизусть. Боймся знакомств, между тем сегодня утром приходили какие-то 2 господина и не застали нас, сказали, что придут nach Mittag **, а мы

* Обед (нем.).

** После обеда (нем.).

ушли от них кататься на лодке по озеру, сейчас вернулись и боимся их прихода. Теперь день — длинный, длиннее русского. По вечерам бывает странное и скверное чувство отчужденности и отдаленности от всего. Я скоро устрою себе заполнение дня, по возможности, приятное и полезное. Вчера начал писать Тебе и бросил, так бесцветно и пусто выходило. Так и теперь выходит пусто и бесцветно. Лучшее, что есть, я вычитываю из Достоевского, но так нельзя. А немцы до такой степени буржуазно-скучны на вид, что о них совсем нечего писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязывают. Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчин, ни у женщин. Женские лица просто на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого лица, мы не встречали по крайней мере. Все коренастые и грубые, заплывшие жиром. Тому же впечатлению способствуют больные, у которых ноги еле ходят, лица бледные и распухшие. Все старики и старухи, молодых меньше. И почти никого, при первом взгляде, по-настоящему не жалко, до того бессмысленным кажется их существование.

И все-таки, если бы мы были здесь с Тобой вдвоем, просто так, не обращая внимания на леченья и лечащихся, было бы хорошо. Можно бы было почти никого не видеть и уходить в парк и за парк, на озеро и в поле. Несмотря на однообразие, было бы то преимущество, что мы бы были совсем вдвоем. Не было бы даже третьей — России¹. Здесь, по-моему, русский (особенно русский) совсем отделен — без земли, без языка и без людей, и даже к вилле прикреплен только минутой. Вот какое письмо! Я не люблю ни фактов, ни публицистики. И все-таки написал тебе то и другое. А все от того, что выбился из колеи. Скоро отыщу точки устоя у Соловьева и Достоевского. Нужно *«задуматься»*, чтобы понять хоть что-нибудь. Первые здешние думы были вялы. А немцы не *«задумываются»*, и все остальные видимые люди тоже. На лицах нет той складки, которая даже у нас на улицах различима. Вот где истинно плоски лица, так это здесь — и по всей длине прусских железных дорог. Прости за мои письма. Я знаю, что Ты там, севернее меня и лучше меня. И помню все, но не могу выразить, или еще не смею снова начинать выражать, оглушенный ужасно прозаической обстановкой. Здесь нужно *«осмелиться»* сквозь целую ватагу людей, *«живущих зверинским обычаем»*, воззвать к богу и к Тебе. Нужно писать стихи и молиться Твоему богу. А здесь нет бога, его не видели здешние люди.

Т в о й

¹ Это характерное признание Блока. Уже ранние дневники 1901—1902 гг. свидетельствуют о неизменном присутствии в духовной жизни поэта темы России, русского народа, хотя в это время Блок еще воспринимает их в свете своих мистических ощущений и переживаний. Напр.: *«26 июня (1902 г.), перед ночью. Сегодня почти весь день сеет лодзь. Ночь ужасно темная. Еще вечером, за чаем толкнул меня ужас — вспомнилось одно бобловское поверье. <...> В Иванов день (24-го) я ходил с Анной Ивановной <Менделеевой, матерью Любови Дмитриевны. — Ред.> вдвоем мимо «театра» к березовой аллее. Она рассказала мне: недавно был в Боблове неурожай. Мужики нуждались в деньгах. Она задала им какую-то в сущности ненужную работу (земляную) и указала бугорок, который много лет был уже среди парка. Крестьяне на незначительной глубине нашли под бугорком скелет»* (VII, 47). Скелет принадлежал человеку, *«убитому»* здесь бывшим управляющим. Церкви и кладбища на этом месте не запомнят. Тело было зарыто не так, как хоронят покойников, — с руками на груди, а с *«раскинутыми»* руками. Итак, значит в нескольких шагах от трупа жили и не знали об этом. Так она кончила свой рассказ <...> Но ужаснее и «глубиннее» всего поверье о том, что *«она»* «мчится» по ржи. Как оно попало в народ? Кто занес эту страшную легенду?» (VII, 48). На эту тему

спелана запись еще в январе 1902 г. со ссылкой на летние впечатления: «24 июля 1901 года. В Боблове поверье: «она» «мчится» по ржи» (VII, 38).

Значительно позднее, в статье «Стихия и культура» (декабрь 1908 г.), говоря о «разрыве между Россией и интеллигенцией», Блок вновь обратился к этому старому воспоминанию, к «бобловской легенде», которую трактует в широком общественном смысле: «Народ до времени «пребывает во сне», создает сказки и легенды, «а когда двинется, — все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам (...) и пойдет вся земля» (V, 356—357). И далее: «Так или иначе, мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в *сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы» (там же, 359).

77

31 мая. Вечер ((13 июня н. ст.) 1903. Бад-Наугейм)

Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами любовь, сердце, как факел, все дрожащее и бьющееся. Нашел Твою песню в воздухе. Лица людей слились с ночью, их не различить, и они не мешают. Жадно и сильно вспоминаю; ночь сырая и звездная. Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты — Богиня моих земных желаний. Я без конца буду влюбленный, буду страстный, буду Твой поклонник и раб. Если иногда будут времена упадка и слабостей — ничего. Я впился в Твою жизнь и пью ее. Вся тебе знакомая сложность, может быть вычурность, моих рассудочных комбинаций временами, как теперь, бросается в сердце, там плавится и пылает, и все это, как огромный бушующий огонь, я чувствую и знаю, будет по-земному, по-здешнему — Твое до конца, без разделений. Будет время, которое оглушит меня самого. Я ни о чем не буду думать, буду только весь в одном чувстве. Так бывает, поверь, поверь! То, что Ты называешь не непосредственностью, вдруг будет непосредственным. Знаешь ли Ты, что меня страстно влечет к такой жизни, к такому вихрю. Пусть «роман» — он прекрасен. Пусть все, что угодно, не нужно ни слов, ни названий, ни дум, ни сомнений, ни рассудка. Я точно усну на то время, буду совсем другой. Не будет того «смеха», который давил Тебя, помнишь? Я уж говорю прямо. Будет, как служение, как молитва, как ураган — без тишины, без усвоенности. Знаешь ли — без «тихого угла», без «семейности», будешь Ты и буду я — одно. Об этом вихре, об этих мгновениях сладких и безумных, о которых мы всю жизнь не забудем, теперь мне говорит память о Тебе. В Твоих глазах, в Твоих движениях, в очертаниях Твоих, в Твоих дрожащих руках я видел и узнал это — то, что будет. Я никогда не знал истинной влюбленной страсти — этого поразительного сочетания. Как же можешь Ты отрицать во мне возможность почувствовать ее? Я говорю Тебе, что я все забуду. Я уже теперь забываю все. Я влюблен, знаешь ли Ты это? Влюблен до глубины, весь проникнут любовью. Я понимаю, я знаю любовь, знаю, что «ума» не будет, я не хочу его, бросаю его, забрасываю грязью, топчу ногами. Есть выше, есть больше его. Ты одна дашь мне то, что больше, от этого и свято все наше прошедшее. Оно передо мной, как громадная, бесконечная, сложная, красивая, движущаяся змея. Всей этой истиной последних 5-ти лет, сплошь заполнившей жизнь, наводнившей ее, я живу и буду жить. Лучшего не было. Но все это лучшее покрывает один зовущий звук Твоего голоса. Знаешь ли Ты, что мне не нужно «тонкостей», извращенно-утонченных, «декадентско-мистических излияний», «мужских» умствований. Мне нужно скачку, захватывающую дух, чувство Твоей влажной руки

в моей, ночь, лес, поле, луны красные и серебряные; то, о чем «мечтают» девушки и юноши отвлеченно, то мне нужно наяву. Опьяненности и самозабвения какими угодно средствами — пусть опера, пусть самая элементарная музыка, самые романтические бредни итальянских любовников, романсы со словами «розы — слезы», «мечта — красота», «вновь — любовь» и т. д. Только пусть голос поющего призывающий, пусть Ты около, Ты, гибкая, как стебель, влюбленная, зовущая в ночь — и знать, что замолчит голос, потушат огни — и мы уйдем, и будет ночь, и будем вдвоем, и никакие силы не разделят, и будет упоение и все — забвение, сила сплетающихся рук, Твои поцелуи, Твои белые зубы, Твои плечи, Твое благоуханное дыхание, замирающие движения, красота, страсть и безумья долгих мгновений. Чтобы знали оба, что принадлежат друг другу во всем, и был ответ на вопрос без слов и без мыслей. О, я знаю, что это может быть! Я не напрасно полюбил Тебя, не напрасно вызвал Тебя из Твоего отрочества я, а не другой, мы не напрасно подали друг другу руки. Мы влюблены и верим друг другу. И многих, и многих слов уже не нужно.

Ты не хочешь верить, как я чувствую, а не только понимаю то, что Ты говоришь иногда, как будто рассказываясь, что сказала. Я с Тобой единоклубен, одушевлен одним и тем же, отзываюсь не всегда оттого только, что разные впечатления предшествовали или сопутствуют этому. Но отзовусь и запою одним голосом какой Ты хочешь страсти, до бешенства и безумия пойму и приму все, отдамся весь Тебе и Ты мне. Эти времена будут повторяться и будут прерываться, так нужно и так, Ты знаешь сама, неизбежно, но еще мы оба знаем, что это ничего, что у Тебя самой будут перерывы. Так будет волнующаяся жизнь, и мы будем опьяненные высоко, на гребнях волн, и будем стремительно, в вихре и пене нырять до самых глубоких и тайных проникновений в жизни друг друга. Оттого мы совсем узнаем и поймем друг друга только тогда — и во все остальные мгновения будет памятно это стремительное и бурное познание друг друга без мыслей и разговоров, без слов и рассуждений. Так Ты хочешь, я знаю, но знай, что и я хочу именно так, не иначе. Я хочу быть без конца влюбленным в Тебя и Твою духовную и телесную красоту (прости!) и сердцем, сердцем узнавать и любить. Поэт же, как бы он ни глубоко погрузился в отвлеченность, остается в самой глубине поэтом, значит любовником и безумцем. Когда дело дойдет до самого важного, он откроет сердце, а не ум и возьмет в руки меч, а не перо, и будет рваться к окну, разбросав все свитки стихов и дум, положит жизнь на любовь, а не на идею. Корень творчества лежит в Той, которая вдохновляет, и она вдохновляет уже на все, даже на теорию, но, если она потребует и захочет, теории отпадут, и останется один этот живой и гибкий корень. Так и я теперь, верно, опять приближаюсь к т. н. «эротической» области поэзии, в стихах, которые скоро будут, мелодия уже поет иначе. Пока все еще поет одна мелодия, слов нет. Но я уже открываю глаза, понимаю небо и землю, встаю из праха, исполняюсь гордостью о Тебе. Содержания и слов еще почти нет, но уже знакомое чувство близко. Так бывает перед стихами. Когда напишу, пришлю Тебе. Если и содерж(ание) будет не совсем то, Ты не обращай внимания. Наверное, будет песня рыцарского склада, там прислушаюсь я к цветению роз красных, розовых и белых на Твоей груди и на Твоем окне. Руки Твои белые, изваянные, дрожащие, горячие, прижимаю к губам, мое Откровение, мой Свет, моя Любовь.

Т в о й. Напиши.

Пиши. B(ad) Nauh(eim). Villa Gertrud. Zimmer 6.

Все уже заперто, опущу письмо завтра утр(ом).

(1 (14 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм)
Bad-Nauheim. 1 (14) июня 1903.

В последний раз пишу Тебе в Петербург ¹. Сегодня пришло Твое письмо, где сказано, что Ты уедешь не раньше 4-го. Бедненькая моя, Ты совсем измучилась, я думаю. Слава богу, главное, что Тебя не угнетают, а только утомляют все эти дела ². Отдыхай в Боблове по-настоящему и больше не худей. Думаю, что Ты еще похудела. Когда дела будут кончены, Ты о них забудь пока и не беспокойся совсем, ведь это возможно. Здесь дни все еще какие-то тоскливые, видишь, что не пишется (теперь день). Трудно устроить дни без скуки посредине. Факты вот какие: 2 господина, которые приходили, оказались студентами, предложили участвовать в вечере в пользу пострадавших от кишиневского погрома <...> от них повеяло столь скверным <...> либерализмом и нахальством, что мама их прогнала. Вообще, и этот факт не вышел из ряда остальных, вполне бесцветных фактов, о которых даже вспоминать тошно. Я написал таблицу дней, чтобы вычеркивать. Как бы то ни было, это время пройдет и придет лучшее, но долго так жить я бы ни за что не согласился. Попробую придумать какую-нибудь поездку что ли в соседние места, замечательные, впрочем, одинаковыми серыми башнями незапамятных времен, из которых все выдохлось, осталась труха стен и палка, неизменно торчащая сверху. И при этом разыгрывать роль туриста под руководством немца, лопочущего всякий вздор на мало понятном наречии — с кашей во рту. А люди здесь все безобразны и никогда, по моему убеждению, лучше не будут. Зашли в католическую церковь, там не оказалось и тени божества. Деловитым и сдобным голосом говорил с кафедры господин, тщательно причесанный. Орган лучше. Вчера вечером были около музыки, а сегодня будет большой концерт на террасе, и мы пойдем туда, я попробую понимать. Но — как-ково положение: курорт, Kurgäste *, курзал, терраса: музыка, серые дорожки, «культура», различные Strassen **, которые горничные (Zimmermädchen) метут щетками, мостики, решетоочки, ручейки: фонтанчики, островки — все, как по писанному. Скука, расписанная по фиртелям ³ часов, все ежедневно одинаковое и вполне самодовлеющее. Если Sonntag *** как сегодня, немки садятся вчетвером на скамейку в парке и, веселясь только оттого, что Sonntag, едят каждая ein Viertel яблока. Также веселятся от того, что поднесут к носу ein Blüten ****, а еще того более, если поднесет его к их носу немец столь плюгавый, что неприятно смотреть. И это — главные впечатления. Иностранцы тоже хороши. Англичане рассаживаются на садовых стульях около модного отеля и чопорно скучают. В курзале — огромная, серая, темная Lesezimmer ***** , там всегда сидят уткнувшись в газеты. Всюду запах пива и сигар. До того неудивительно и «привычно» — все так и знаешь заранее, что и как будет. Утром все зевают около вани в ожидании своего Nummer. Вечером все те же на террасе пьют пиво, слушают попури из «Кармен» (впрочем, бывает и Вагнер) и зевают. Символами одобрения, умиления, восхищения и мн<огого> др<угого> служат междометия «So» и «doch» ***** . И т. д. И т. д. Даже писать скучно. А читать Тебе еще скучней. Твои письма в последние 3 дня — каждый день, для меня великая награда. Милая, сколько у меня нет без Тебя. Ты — мой праздник — и Твои письма.

Т в о й

* Лечащиеся на курорте (нем.).

** Улицы (нем.).

*** Воскресенье (нем.).

**** Цветок (нем.).

***** Читальня (нем.).

***** Так, как же (нем.).

¹ Л. Д. Менделеева 4 июня 1903 г. уехала в Боблово.

² Хлопоты перед свадьбой.

³ *Viertel* — четверть (нем.).

79

(2 (15 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм)

Я вернулся сейчас с поля, очертив большой круг вдоль озера. Лебеди белые и важные, на лодках смеются и потупляются женщины — лиц не рассмотреть (пусть — так-то лучше). Травы тонкие, небо такое голубое ¹. Васильки и маки. Принес целый сноп мышиного горошка — синевато-лилового, такого крупного, как у нас редко бывает. Поезда шумят, рельсы, как змеи, греются на солнце. В тени солнца нарисовало замысловатые узоры из листьев. Парк такой романтический и романтический, и днем и вечером, что мы с мамой негодовали вчера, как царь Берендей, что в этом царстве мало заметно романов. Ночью листва черная и электрический свет бросает пятна сквозь нее. И при этом слышна громкая зевота и громкий немецкий (и русский) говор. Нет ни шепота, ни прячущихся в тень, ни напряженных лиц, ни ожиданий. Всякое ожидание, всякая внутренняя жизнь, неподвижность своего сделали бы все эти лица красивее, особенно вечером. Пахнут каштаны, падают их цветы, медленные, задумчивые, белые, гравий скрипит под ногой, так что влюбленному легче слышать легкие шаги, вкрадчивые. И все вечером такое вкрадчивое, обаятельно-«лживое» (это называется «ложь»!) и каштаны, как «белая ложь»* ².

Знаешь что? У меня роман. Я иду по дорожке, а впереди, сзади, сбоку, везде — идет высокая, стройная, молодая женщина ³. Волосы у нее золотые, походка ленивая. Совсем сказочная. Румянец нежный и яркий. Ей на вид 16 лет, такая нежная девическая ласковость во всей ее фигуре. У ней и походка, и взгляд, и фигура совсем особенные, я таких других никогда не видел. Она вся удивительно мягко склоняется, точно упадет ко мне на руки. А сама не поднимает глаз, идет и закрыла их длинными ресницами. Держит платье белой рукой, руку сквозь кисею я видел, только не могу рассказать; Ты сама увидишь. Вчера вечером был симфонический концерт. Мне очень понравилась *Liebested* ** Тристана и Изольды ⁴. Сначала *Tristan mouru pour son amour* *** — целые вопли, титанические возгласы. Потом *la belle Isolda* **** начала тосковать. Стало очень тихо, «настала Великая тишина» ⁵. Потом она запела, и опять завизжали скрипки и раздалились титанические крики. Так она умерла — и все-таки было тихо. *Elle mouru pour le pur tendresse* *****. Так я понимал, потому что Изольда была женщина и, наверное, не поверила ни своей, ни Тристановой смерти. Она любила дикую горную «ложь» страсти, которая никогда не умирала и не умрет. Так я понимал, и мне нравилось. Также, кажется, нравилось и моей Даме. Ей должно быть, знакомо и близко чувство сильной страсти, наивной и некульгурной, большей, чем немецкая *Akkurat-Liebe* ***** (если есть такой термин, а я не придумал его) — страсти сверхнемецкой, т. е. уже значит германской страсти. Валькирий и Богов (богов). Вот какова моя Даме. Она постоянно со мной, но никогда не разговаривает. Подозреваю, что Она вообще редко любит говорить, больше слушает, но, когда слушает, понимает даже гораздо больше, чем сам говорящий. Т. е., гово-

* Соврал. Не каштаны, а белая акация. Каштаны давно отцвели. Прости. (Примеч. Блока.)

** Смерть от любви (нем.).

*** Тристан умер от своей любви (франц.).

**** Прекрасная Изольда (франц.).

***** Она умерла от чистой нежности (франц.).

***** Аккуратная любовь (нем.).



А. Н. БЕКЕТОВ (ДЕД БЛОКА)

Рисунок Блока, 10 января 1900 г.

Центральный архив литературы и искусства, Москва

рящий-то с Ней понимает, но он в это время находится на седьмом небе и совершенно поглощен Ее созерцанием.

Пишу Тебе в Боблово, моя розовая Дама. Первое письмо! Никогда не писал сюда, только приезжал и смотрел на Тебя с великолепиями в сердце, с тайной, глубоко скрытой надеждой. Осторожно вкрадывался в Твое горячее сердце.

Обнимаю Твои стройные ножки, целую Твое платье. Ты здесь со мной, только еще не так, как будешь. Ходишь, плывешь в воздухе, молчишь, ленивая, прекрасная, прекрасная.

Твой

2 июня 1903. Bad-Nauheim.

¹ См. стихотворение Блока «Если только она подойдет...» (в письме № 81).

² См. в стихотворении Блока «Днем вершу я дела суеты...» (5 апреля 1902 г.).

³ Далее воссоздан «словесный портрет» Л. Д. Менделеевой.

⁴ Имеется в виду музыкальная драма Р. Вагнера «Тристан и Изольда».

⁵ Цитата из Евангелия от Матфея, VIII, 26: «...и сделалась великая тишина».

80

3 (16 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм)
3 июня 1903. В. N.

Если в Твою милую головку придут какие-нибудь грустные мысли, пиши мне и о них, моя Радость. Ты должна знать, как я приму. Приму, как хочешь, приму тихо и бережно. И никто не узнает. У меня все бывает в сердце, Ты сама можешь видеть по письмам. Бывает тоскливо без Тебя, бывает бурно, бывает тихое веселье. Пиши мне все, что только придет Тебе на ум, для меня ничего нет на свете дороже всего Твоего, всего, что близко от Тебя, моя Голубка, моя родная. Ведь у Тебя меняется настроение, у Тебя сердце беспокойное и, может быть, Ты мне не скажешь чего-нибудь, что лучше для Тебя сказать. Ты знай, что я люблю все в Тебе, все, что знаю и чего еще не знаю. На всем живом, что в мире, навсегда для меня легла Твоя золотистая тень; все, что мне дорого, связано так или иначе с Тобой. Никогда не забывай своего вечного первенства, своего величайшего права над моей жизнью, для меня блаженного и рокового. Это так серьезно и так свято, до того — не игрушка, не прихоть и не выдумка. Тут не о чем даже говорить, а просто, вот Ты вошла, вот Ты села, встала, повернулась, кушаешь, спишь, думаешь — и все это у меня вот здесь, в душе и наяву, а не сонные фантазии, и все это я каждую минуту знаю и сознаю, и вокруг этого все мои планы, и все это для меня больше, чем необходимо и дорого. Это такое самое глубокое и строгое веселье души, вокруг которого приходит пора для человека разместить жизнь, из которого эта жизнь будет излучаться и принимать соответствующие формы. Вот так-то и мне хочется неуслышно знать о Тебе больше и лучше всех. Не подумай, будто мне кажется, что Ты что-то от меня скрываешь. Я так только, пришлось по душе, оттого и пишу, чтобы еще раз издали гладить Твою душистую матово-золотую головку, чувствовать Твое горячее душистое дыхание.

Я узнал из газеты, что у Бугаева умер отец ¹. Из этого заключаю, что едва ли он сможет и захочет быть у нас шафером. Я ему только что написал, ничего не подозревая, письмо маловыразительное и короткое ². От Тебя сегодня нет письма. Я два раза ходил на почту. Все эти дни были — (всего 4 письма, которые Ты послала 28, 29, 30 и 31 мая. Если Тебе будет трудно писать каждый день, не пиши, напиши только об этом (что, мож^{ет} б^{ыть}), а то уж мне что-то страшно, не случилось ли чего-ниб^{удь}). Мы с мамой взяли уж по 4 вайны. Она чувствует себя не особенно, а погода холодная, иногда идет дождь. Познакомились с русскими, которые с нами обедают, уж начали ими тяготиться — не интересны и не без навязчивости. Остальное все по-старому. Что Ты думаешь? Что Ты чувствуешь? Я все с Тобой и все о Тебе думаю, и так избалован памятью о Твоей наружности, и о Твоем существе, голосе, разговорах, платьях, — что решительно все кажутся мне не стоящими даже мнений, не только внимания. Все такие серые и не праздничные. А сравнивать кого-нибудь с Тобой мне не придет и в голову, да и можно ли это? Посуди сама. Что мама ³? Пишет ли она? Она вернется, по моим расчетам, около 10 июня, напиши мне о ее здоровье и настроении. Мне пора навести справки о «Нов^{ом} пути» и для это^{го} написать m-me Гиппиус. Ты позволишь и не испугаешься теперь, мне что-то кажется так. Вместе с письмом к Тебе, конечно, ни писать ни посылать не буду. Напишу не много и не слишком распространюсь о себе. Ты позволишь, моя Ясная ⁴.

Т в о й

Если Мережк^{овская} ответит, я пришлю письмо Тебе.

Твои письма идут 2 дня. Мои, верно, также?

¹ Отец Андрея Белого — Николай Васильевич Бугаев (1837—1903), видный математик, профессор Московского университета. Скончался в Москве 29 мая 1903 г.

² Блок в письме от 28 апреля 1903 г. сообщил А. Белому о своей предстоящей женитьбе и просил его быть шафером у невесты. А. Белый 9 мая поблагодарил Блока, «за честь», но предупредил, что, может быть, не сумеет приехать в Шахматово на свадьбу, так как должен сопровождать больного отца на Кавказ. Блок ответил ему 29 мая (11 июня) из Бад-Наугейма, еще не зная о смерти Н. В. Бугаева (см. «А. Блок и А. Белый. Переписка». М., 1940, стр. 30—31). На свадьбе Блока А. Белый не присутствовал.

³ А. И. Менделеева.

⁴ См. примеч. 8 к письму № 31.

81

(4 (17 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм) ¹

Милая, Милая, Единственная, Ненаглядная, Святая, Несравненная, Любимая, Солнце мое, Свет мой, Сокровище мое, Жизнь моя — или лучше без имен. Я ничего, ничего не могу выговорить. Верь мне, я с Тобой, я всю жизнь буду у Твоих ног, я мучительно люблю, торжественно люблю, звездно люблю, люблю всемирной любовью Тебя, Тебя, Тебя Одну, Единственную, Жемчужину, Единственное Святое, Великое, Могущественное Существо, Все, Все, Все. Это и стихи ² написано не в одно время. Теперь ночь, и я не могу молчать, как в этих стихах. Ведь я вечно молчу, томительно молчу, убийственно молчу, проклиная себя за то, что молчу перед Тобой, зачем я молчу, зачем я мало высказал Тебе, зачем я не умел и до сих пор не умею ничего, ровно ничего выразить и зачем нет слов ни на каком языке для того, чтобы небо и землю расшатать словами любви и страсти. Я в прахе перед Тобой, обнимаю Твои колени, я не смею и не дерзаю большего и все это пишу, пишу Тебе на проклятой, бездушной бумаге проклятыми бездарными словами, бессильно, за тысячи верст от Тебя, не знаю, что Ты в эту минуту, где Ты, как Ты, что Ты думаешь и делаешь. Чувствую свое убожество перед Тобой, целую Твои ноги, недостойный и страстный, страстный, измученный тем, что столько не видел Тебя. Больше ничего, все, больше не нужно, подол Твоего платья целую горящими недостойными его губами, я, пыльный человек, Ангелу Света, былинка у ног Твоих, Розовая, Крылатая, Светлая, Дивная, Чудесная.

Любочка, Любочка, если бы Ты знала, сколько молитвы! Ты знаешь все, все видишь; Любочка Ненаглядная!

I

Если только Она подойдет —
Буду ждать, буду ждать...
Голубой, голубой небосвод...
Голубая, спокойная гладь.

Кто прикликал моих лебедей?
Кто над озером бродит, смеясь?
Неужели средь этих людей
Незаметно Заря занялась?

Все равно — буду ждать, буду ждать...
Я — один, я в толпе, я, как все...
Окунусь в безмятежную гладь —
И всплыву в лебединой красе.

3 (16) июня ³

Ненужные бездарные стихи.

II

ЕЩЕ СТАРИК

Когда я стал дряхлеть и стынуть,
Поэт, привыкший к сединам,
Мне захотелось отодвинуть
Конец, сужденный старикам.

И я опять, больной и хилый,
Ищу счастливую звезду.
Какой-то образ, прежде милый,
Мне снится в старческом бреду.

Быть может, память изменила,
Но я не верю в эту ложь,
И ничего не пробудила
Сия пленительная дрожь.

Все эти рассказы далеке —
Они пленяли с ранних лет,
Но старость мне согнула плечи,
И мне смешно, что я — поэт —

Певец каких-то откровений,
Я, умирающий старик,
Едва сгибающий колени,
Создатель безрассудных книг,

Давно уставший верить книгам
Таких же розовых глупцов!
Проклятье снам! Проклятье мигам
Моих пророческих стихов!

Наедине с самим собою
Дряхлею, сохну, — душит злость,
И я морщинистой рукою
С усилием поднимаю трость...

Кому поверить? С кем мириться?
Врачи, поэты и попы!
Ах, если б мог я научиться
Бессмертной пошлости толпы!

4 (17) июня

(довольно неожиданный вариант на старую тему) ⁴.

Всего этого не надо, так уж посылаю. Ты хотела. Твой шут, Твой Пьерро, Твое чучело, Твой дурак, уж Тебе не понравится, а уж я все-таки унижаюсь, не могу, уж так надо, такая уж черта. Прости за это все, Всепрощающая, Дивная, Ласковая, за Твои письма Твои ноги целую. Прости.

¹ Дата почтового штемпеля: 5(18) июня 1903 г.

² Стихи, посланные при этом письме.

³ Впервые напечатано в альманахе «Белые ночи» (1907).

⁴ Впервые напечатано в газете «Наша жизнь», 1906, 11 марта (Приложение, № 9) — под заглавием «Поэт» и без пятой строфы. Называя это стихотворение, вызванное впечатлениями курортного быта в Бад-Наугейме, «вариантом на старую тему», Блок имел в виду свое стихотворение «Старик» («Под старость лет, забыв святое...»), написанное 29 сентября 1902 г. Выражение «бессмертная пошлость», как отметил сам Блок, заимствовано у Тютчева:

Ах, если бы живые крылья
 Души, парящей над толпой,
 Ее спасали от насилья
 Бессмертной пошлости людской!

82

<5 (18 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>¹

Ничего, ничего не выйдет из того, что я, безумно влюбленный, безумно разрывающийся сердцем о Тебе, моя Любовь, моя Дивная, могу сказать Тебе на Твое письмо, которое сейчас пришло, о письме, в котором вся душа Твоя тоскует и плачет². Я попробую сказать, осмелюсь и дерзну сказать. Прежде всего, все, что я скажу об этом, будет бледнее и меньше, чем я чувствую, в миллионы раз. Слабейшее подобие моих чувств об этом, о том, что Тебе необходимо от меня услышать, будет здесь, Ты помни, каждый миг помни своим громадным, самым нежным сердцем о том, как мало можно сказать и как много можно почувствовать и дать почувствовать. Ты помни, прежде всего, и больше всего, что я, человек недостойный и малый перед Твоей Чистотой, знаю это больше, все больше каждый миг, каждым фибром своим ощущаю и роникаюсь этим. И знаю при том, что безмерно мое Преклонение перед Тобой, знаю, что все, что в моей слабой воле, человечески покорной Тебе воле, я сделаю, чтобы Ты, Нежная, Страдающая, бесконечно Любимая, бесконечно Самоотверженная для меня, Отдавшая и Отдающая мне то, чего я и осмыслить совсем не могу, чтобы Ты, вот Такая, какова есть и будешь и была, меньше всего, слабее всего почувствовала все это. Я жизнь свою на это положу, сверх себя сделаю, все, что потребуешь, сделаю, мож<ет> б<ыть>, что невозможно, сделаю, чтобы только дать Тебе поверить в меня, в мою нежность и ласковость.

Сознаю я их в себе, могу я с ними справиться, могу их проявить, я, что хочешь, но не грубый человек, я убийства не совершу, я ответствен перед Тобой, я Тебя, как бога моего, вижу перед собой ежеминутно, каждому шагу Твоему отдаюсь, каждое в Тебе движение свято, свято, свято принимаю. Не будет меры моей нежности, моей ласковости, моей любви; я представить себе правда не могу, каковы твои мысли теперь, мне ли представить их, но, я кланюсь Тебе, на коленях кланюсь, платье Твое целую, кланюсь всеми самыми страшными клятвами, что мне жутко, мне страшно, я сердце все распял и изъязвил от Твоих Золотых Слов, страдающих и блаженных для меня, что я, хоть не представил, но узнал как-то, вот по предчувствию узнал, сверх себя узнал это Твое страдание, всеми Твоими муками мучаюсь, — и, потребуй только, потребуй — уж Ты видишь, что все сделаю, на все пойду, от всех, КРОМЕ ТЕБЯ³, отрекусь. Горести эти Твои, муки Твои — все, все, все сберегу, всеми перестрадаю, весь в них сгорю, ни одной малой черточки бесчувственной в душе не оставлю, весь в них переселюсь, предчувствиями их уловлю. У меня все сердце, как на угольях, горит и сгорает, без одного слова; жалкие слова, нищие слова, слова, как лохмотья, только нежность и ласку к Тебе я чувствую не нищенскую и не бедную. Весны-то Твоей, Ты думаешь, я не сознаю, Весны Твоей, моя Девица Красная? Ты вот не поверишь,

сколько казней для меня, когда Ты говоришь о «последней». Душа моя, Любочка моя, Ясноокая моя Зоренька, не последняя Твоя весна. Знаю это твердо, как то, что весь я Твой, для Тебя на свете живу и для Тебя каждую минуту умереть готов. Больше мне говори об этом, распинай меня, терзай меня, как Твое Бедное Сердце захочет, бей меня Твоими нежными, сладостными, бессмертными словами, — а я буду и буду говорить Тебе, у ног Твоих, что Твоя весна не последняя, Ты еще, еще, еще, еще увидишь, услышишь, почувствуешь, я ее не отниму у Тебя, я Тебе ворочу ее, и весны Ты узнаешь еще, и счастье, и ласку, и нежность мою Ты узнаешь, ибо несравненна моя любовь, мое обожание. Не мучайся Ты так, не терзай себя, не плачь. А то, плачь, от слез легче, я все Твои слезы приму, каждую слезинку на сердце положу, с собственной кровью смешаю. Я не зверь, не жестокий, не бесчувственный, я бережно и нежно буду слушать Твое сердце: Вот, не полегче ли? Не свободнее ли? Не лучше ли? Не меньше ли болит Твое сердце? Я бы все боли на себя принял, все бы за Тебя выстрадал, если б только можно было. Ты успокойся, будешь Тихая, Тихая, а я буду Твое дыхание слушать, ворожить и гадать буду, углубляться буду, Волю Твою свято исполнять и хранить, законы Твои соблюдать. Приказывай, приказывай; знаешь, какое мне счастье Тебе хоть малое утешение дать. Вот я и сказать не могу ничего. А Ты и так видишь. Только помни Ты, моя Милая, что будет счастье, будут весны, все будет, так мне нагадывается, такое предчувствие во мне, так по судьбе выходит. Не оставляю я ни на минуту мысли о Тебе, Ты плачь, если легче, а я уж с Тобой вместе буду, никуда не отойду, косу Твою беречь буду. Не заметишь, не узнаешь, без горя, без боли, без страдания, моей Царицей станешь, моей Госпожей, моя Ненаглядная, моя Ясная. Уж поможет нам в этом бог, верю, что поможет. Пиши, лучше ли Тебе или все больнее, а уж я все Твои страдания сам почувствую, никому не расскажу, знай хоть, что заодно с Тобой распинаюсь, может быть все-таки легче будет. Уж я почувствую хоть не так точно, только не слабее, весь в Тебе повторяюсь. Только я сквозь всю боль Твою Счастье чувствую и новую весну будущих лет и сам не знаю, куда броситься — в Страдание Твое или в будущее Счастье Твое. Будет Оно, будет, будет, будет, я недаром говорю, и Весна будет — все будет, в бога веруй, мне верь, слабому, жалкому, Тебе навсегда, навеки отданному. В ноги Тебе кланяюсь, туфельки Твои целую. Твой до безумия, Твой навеки, Твой.

¹ Дата почтового штемпеля.

² В этом письме (от 3 июня ст. ст. 1903 г.) Л. Д. Менделеева писала: «Сегодня я провожу последний вечер на этой квартире, завтра уезжаю. Я уверена, что ты не можешь себе представить, до чего мучителен каждый час расставания с прежней девической жизнью. Точно я хороню себя, точно никогда уже мне не видать весны, не видать ничего, что до сих пор было счастье и радость. И до отчаянья жаль и последней весны моей, и комнатку мою, и родных, и косу мою, мою бедную косу девичью. Ты пойми, что я люблю тебя по-прежнему, по-прежнему вся душа стремится к тебе, только к тебе. Да если бы это не было так; разве можно было бы выдержать это разрывание сердца, будь хоть чуть-чуть меньше моя любовь, и я все бы бросила, от всего бы отказалась, только бы не отрываться, не отрываться так мучительно от прежней жизни, только бы еще раз видеть весну. Это чувство до странности связано с прошедшей, кончившейся весной, моей «последней» весной, мысль о «последней весне» прямо преследует и доводит до слез; и жалко, что провела ее в городе, что пропустила ее — последнюю-то. Успокой, утешь меня! Скажи, что не умру я прежняя, останусь та же, что и я увижу еще весну, увижу весну еще, еще и еще, что ты так ласково, нежно расплетишь мою косынку девичью, что и не заплачу я. Скажи, скажи мне скорей, чтоб не боялась я, чтоб не плакала». В следующем письме, от 4 июня, Л. Д. Менделеева снова возвращалась к этой теме: «Не надо было мне писать последнего письма, голубчик мой милый.



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА

Фотография, 1900

Институт русской литературы АН СССР. Ленинград

Зачем тебя так беспокоить, огорчать? Мне теперь стыдно и ужасно жаль. Ведь то настроение находит только минутами, потом проходит, а ты можешь подумать, что мне так тяжело все время или большую часть. Нет милый, мне хорошо; а твои письма столько будят в душе, так поглощают ее в эти мечты».

³ Подчеркнуто дважды.

83

<5 (18 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>¹

Ужасно то, что я получаю Твои письма только через 2 дня и мои идут столько же, так что, если даже я пошлю сейчас же, в ответ на Твое письмо, то проходит время 4—5 дней (м.б.,— больше?) и все меняется. Сегодня я получил Твое мучительное, гениальное, несказанное письмо², и ответил сейчас же. И вот, Тебе нужно было что-нибудь сказать в ту же минуту, как Ты подумала, и ничего не было сказано, Ты не нашла ничего, никакого отголоска даже, Твое письмо кануло и ушло от Тебя, то, что Ты из самой глубины сердца вынула, не нашло никакого отклика и прошло тысячи верст. Может быть, ведь, у Тебя снова и еще и о другом болит душа, а я отвечаю на Твое самое яркое и острое чувство только через 4 дня.

Я хотел телеграфировать, но сейчас же почувствовал всю глупость этой мысли.

Вся моя душа в Твоих страданиях. Только теперь я буду меньше писать. Я могу целые потоки слов, непохожих на то, что у меня в сердце, наговорить. И мож~~ет~~ быть, когда-нибудь, правда, бывает лучше от этого вихря слов. Но теперь мне хочется прислушаться к Твоим слезам и отвечать им; сколько есть только любви, вся Твоя. Все Твое. И Ты, моя Родная, не всегда плачешь, и у Тебя не одни слезы в сердце. Верно, и у Тебя бывает надежда на счастье, как у меня она вечно есть. Девичество Твое, Молодая, Голубиная Чистота Твоя, Она здесь, со мной, о Ней я не только говорю, но и думаю со страхом божьим, с благоговением; вспомнила ли Ты грубость мою, неумение мое, бестактность мою? Ведь это все так, сверху, а внутри у меня такие нежные, такие деликатные, такие божественные чувства к Тебе, всегда моя Нежная, всегда моя Красавица. Мне-то, Ты думаешь, не жутко и не страшно, не хочу я молиться, не хочу я простираться перед Тобой? Просто ли, по-мужски ли грубо, без понимания касаюсь Красоты Твоей, ощущаю Прелесть Твою? Рукой нежной, рукой молчаливой и трепещущей глажу Твои тяжелые душистые девичьи косы, только сердце вздрагивает и удивляется. Если захочешь после слушать, расскажу Тебе после, свободнее и легче, сколько всегда было, есть и *будет* во мне этой бережности, только казалось, м. б. не так, но минуты, секунды другой не было, душой-то я правдиво всегда удивлялся Тебе, восхищение мое было и будет вечно весеннее, молодое, настоящее, душой-то я перед Тобой всегда на коленях стою, так и буду, и не изменюсь, не переступлю. Тебя мои слова не утешат, потому что все-таки мои слова, чувствую, что верно не мне утешать Тебя по-настоящему вот теперь, именно в том, о чем Ты говорила и мучилась. Да я и не смею многого сказать и долго не посмею, ибо груб слишком и жених Твой. Только Ты на меня больше, ради бога больше, изливай душу свою, все, что Ты из меня изгнать хочешь, изгоняй, ничего не щади, будто не со мной говоришь и не меня гонишь, а так, если будет злоба, злобу изливай, если страдать будешь, пиши, что страдаешь, все, что захочешь и сможешь, пиши, точно письма не ко мне попадают, а к тебе возвращаются, да так оно и есть; точно меня нет на свете, пиши, знаешь? Знаешь ли еще, что я счастлив, что мы оба весенние, что я от счастья задыхаюсь, что и Ты будешь счастлива?

Твой

¹ Дата почтового штемпеля.

² Письмо от 3 июня 1903 г. См. примеч. 2 к письму № 82.

Сегодня нет Твоего письма. Значит, в день отъезда ¹ Ты ничего не писала. Какой был день вчера! Твое последнее письмо пришло, когда кончился утренний разговор с мамой, неприятный (впрочем, теперь реже неприятные разговоры, чем в Петербурге). Я вышел из комнаты и нашел письмо ², распечатал с тем, что там есть что-нибудь жуткое. И когда прочел, мне показалось, что Ты прошла по самому краю пропасти и увела меня туда — и все-таки вышла. Вышла ли теперь? Что если бы не хватило любви, если бы она была «чуть-чуть меньше»? И эта поразительная зловещая красота всех слов, их глубина просто грозовая, мучительная до того, что очевидно напряглись до последней степени все струны.

Теперь так тихо кажется после этого последнего письма — тихо и страшно. Я боюсь, что Ты замолчала, после того как силу страдания

Твоего довела до высшей точки, — и замолчала, просто вся дрожа. Что будет завтра и будет ли хоть несколько слов — и что еще будет — я жду и думаю. Молился. Душа у меня бунтует, я Тебя не вижу и вместе, слишком смутно и неопределенно знаю, что сделала бы Ты, если бы увидела меня сейчас? Я не знаю, что сделал бы сам, и представлять не хочу, слишком невозможно и отчаянно страшно и хорошо.

Твое вчерашнее письмо было седьмое. Верно, не пропало ни одно. Может быть, пропадают мои, а я потерял им счет, вчера послал три. И что эти письма, когда я вечно повторяю, что нет слов? Я и теперь готов повторять одно это. Моя душа никогда еще в жизни не доходила до той точки, на которой она теперь. Она точно отделяется от меня и вся передается Тебе. Прежде я, например, чувствовал какой-то клочок самолюбия и гордости, который никогда не отдавался и всегда протестовал. Теперь и его нет, я чувствую, что нет части души, которая бы пряталась и противилась. Потому и говорю, чтобы Ты изгоняла и душила всякую чуждую Тебе тень. Понимаешь ли — все скрыто и свяшенно перед всеми и открыто для каких угодно *ТВОИХ* влияний. Точно перед Тобой я сам от себя отрекся, а это еще ни разу в жизни не случалось, Ты сама это знаешь обо мне прежнем. И я не удивляюсь этому. Теперь настало время в жизни, какого еще не было, и, знаешь ли? Я не на словах и не придуманно знаю, что *могу и хочу* «душу свою положить за Тебя» («нет больше Той Любви...») ³. Это и есть «ночь на исходе» ⁴. Пишу все это не затем, чтобы говорить специально о себе, потому что не *обо мне* речь. Ну, Ты знаешь.

Меня только поставил бог на Твоей дороге. И это я знаю. Знаю, как я груб, как мало во мне тонкости, чуткости. Я мужчина. Я — не Ты! Но знаешь ли? Меня «ласкало» вдохновение, я щедро наслушался сказок от «Вечности», о которой давно кричал, молился и писал стихи. И все это сослужит Тебе верную и нужную службу. Это самое «вдохновение», которого Ты же была источником, мне поможет найти для Тебя мягкость, ласку, тепло, нежность, сделает «незаметным» (Твое слово) во мне то, чего Ты вдруг сужомерно испугалась, что пришло Тебе на мысль в вечерний час, в час острой разлуки с тем, о чем сказать не сумею, но молиться сумею. Я и весну Твою сохраняю.

И Ты «прежняя» «не умрешь».

Т в о й. Не плачь.

¹ 4 июня, в день отъезда в Боблово.

² Письмо от 3 июня 1903 г. См. примеч. 2 к письму № 82.

³ Цитаты из Евангелия от Иоанна (XIII, 37 и XV, 13).

⁴ Цитата из стихотворения Андрея Белого «Знаю», написанного летом 1901 г. под впечатлением первого знакомства со стихами Блока (еще в рукописях, сообщенных Белому М. С. и О. М. Соловьевыми). См. Андрей Б е л ы й. Золото в лазури. М., 1904, стр. 226; ср. М. А. Б е к е т о в а. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925, стр. 76—78.

Сейчас я получил Твое восьмое письмо. Или Ты не видишь, что со мной? Или Ты не знаешь, что то, что Ты говоришь — не «огорчение», не «беспокойство» — это больше, клянусь, это ярче, клянусь Тебе, это пламенная неутолимая, неподвижная мечта, это все, что всегда во мне, это боль Твоих ран и вместе — неиспытанное никогда блаженство — без меры, без границ, без отдыха. Неужели Ты будешь меня успокаивать! Неужели Тебе это делать! Неужели я не перенесу Твоих страданий! Неужели Ты каешься! Стидишься! Просишь прощенья у раба, Госпожа моя, Милая моя, богом данная Владычица, Царица моя! И неужели я подумаю, что

Ты *только* терзаешься, неужели я не чувствую, что Ты *помнишь*, как я счастлив, как я поражен и изумлен блаженством! Ради бога, больше, больше нежных слов, я *смею* просить их, я так пламенно и неукротимо жду Тебя, что... *достойн* умолять о Них на коленях. Их не мало, все, которые Ты пишешь, меня преображают, днями звенят во мне весельем, но еще, еще, еще — пиши все, пиши о страданиях, пиши о муках Твоих, но пиши и о страсти Твоей, ибо я *знаю* о ней, Ты рассказала мне о ней, Ты, Дивная, вдохнула ее в меня, Ты заставила меня просить и молить Тебя о ней.

Когда Ты отдохнешь, напиши.

Как можешь, напиши. Я безумен и дерзок, м. б., не должен просить об этом, но я прошу, я припадаю к Твоим ногам и умоляю об этом. Я сам забрасываю Тебя словами, бледными, не выражающими того, что есть, не теряют ли они значения, всегда ли Ты их чувствуешь? Не сливаются ли все письма в общую беспорядочную громоздкую массу? Ведь я и сам не помню, как пишу, я не думая пишу, я скорей кричу, скорей ловлю пустой воздух руками, ветер вдыхаю полной грудью! Веришь ли, веришь ли Ты, это иногда мучит меня, представь! Знаю, что веришь, но повтори! Повторяй тысячи раз, повторяй, чтобы я метался здесь один, как безумный! Но и о мучениях пиши, умоляю, заклинаю, пиши, ничего не скрывай. Я буду ждать, подумай, я безумно дерзок, что прошу, но такова душа, такова мечта, такова здешняя отдаленность моя. Знаю, что недостойн, но знаю, что и достоин вместе. Никогда, никогда этого со мной не было, ничего подобного не было, мне *страшно* так любить, неизведанно хорошо так любить! Слова-то, слова-то какие, жалкие, каменные, точно бьешь о камень и бессилен. Веришь? Веришь? Повтори, что веришь *всему*? Повтори, Искра божественная, повтори, Дева, Богородица, Матерь Света! Повтори, Любочка!

Твой

6 июня

86

8 <21 н. ст.> июня <1903. Бад-Наугейм>

Ты меня избаловала письмами. И вдруг, кончается второй день, и нет писем. Я знаю, что 5-го Ты приехала в Боблово — и очень устала. Верно, не написала и 6-го, а почта идет страшно долго, должно быть, дольше, чем из Петербурга. Всем этим я стараюсь себя успокоить, но не совсем выходит. А я вчера не написал оттого, что сразу, после 5-ти писем, почувствовал, что не надо столько слов. Все равно, ими не скажешь. Потому и теперь пишу просто так. Бродил сегодня и сейчас, кажется, опять буду бродить. В парке «воскресная» музыка.

Сердце, как полная чаша. А высказать не могу. И боюсь — отчего? Скажи мне то, чего просит моя душа. Скажи...

Нет ли в моих письмах чего-нибудь тяжелого и давящего? Нет ли во мне самом этого? Было бы так ужасно, что я бы каялся и изгонял.

Изгони.

Изгони все, чего не хочешь видеть во мне. Я готов.

Здесь я не даром. Точно что-то переучивается во мне. Ты «влияешь» издалека.

Должно быть, действительно, многое из прежнего я оставляю. Я «вырос», мож(ет) быть. Сравниваю себя прошлогоднего и теперешнего. Какая-то разница.

Учи. Твои уроки я чувствую. Верю им. А до сих пор ничьим *так* не верил.

Я жду, упорно жду письма. Проникновенно жду, даже вздрагиваю от шагов.

Голубушка моя, прости, что не пишу больше, Теперь не надо. Я уж просто боюсь «расписаться»: напишу то, что не понравится Тебе. А Ты не скроешь, что не понравится? Видишь, как я глуп. Но...

Жду, жду, жду. Т в о й. Молчу.

Можно не писать на конверте «Zimmer 6»

87

9<22 н. ст.> июня <1903. Бад-Наугейм>

Что же мне делать, если у меня такой дурацкий характер? Высчитываю по дням, когда может быть письмо от Тебя, и выходит, что не раньше, чем завтра. Даже пример налицо, из Шахматова письмо, написанное 5-го пришло 9-го утром. Если Ты написала 6-го — будет завтра, а вернее, что Ты устала и не хочется писать, и потому письмо будет не завтра, а послезавтра (11). Но к вечеру кровь бросается в голову от беспокойства. А знаешь, почему? Потому что я ревную — просто по сумасшедшему, ревную Тебя ко *всем*, кто Тебя видит. Не подумай, что к «кому-нибудь» — этого **НЕ МОЖЕТ БЫТЬ**¹. Просто, ревную к родным, даже к детям. Я еще постараюсь, чтобы у меня хватило соображения на то, чтобы догадаться, что почта еще не организовалась и письма можно посылать не каждый день. Тогда ведь письмо может прийти даже позже 11-го. Получила ли Ты мои бессвязные письма?

И этим я еще могу волновать Тебя, которой и без того бывает тоскливо! У Тебя самой глубокое, священное для меня волнение, о котором Ты написала вечером накануне отъезда. Уж лучше я опять не буду оправдываться. Только тон вот этого письма — которое сейчас пишу — поверь, отвратителен мне самому. Мне «ДОСАДНО»¹ (бессмысленное слово!), что я такой как я есть (а какой бы я был — ей богу не знаю!) такое великое счастье от Тебя принимаю (ей богу же чувство-то не такое глупое, как оно здесь изволило «начертаться»). От ТЕБЯ¹, от ТЕБЯ²! (опять отступление и скобки: пишу, точно начитался скверных романов и вообразил себя злодеем! Но — скверных не начитался, да и вообще от сочинителей подальше, я и сам сочинитель! Еще глупее?) И *все-таки* продолжаю: от ТЕБЯ¹, Которой Имя я почти никогда не могу произнести («почти» глупо, но ведь для точности, для полного, так сказать, отчета в моей «честности», потому что, правда, иногда я могу сказать: ЛЮБА¹, — скажу и запнусь —)... — Так вот: мне страшно поверить *собственному* счастью, которое вот в эту самую уединенную мою минуту меня всего насквозь пронизало. Страшно его испытывать так *много* и так *сильно*.

А Ты читаешь и думаешь: «Кривляется. Манерничает. Опять теория. «De la littérature» *. Так вот же! все *свои* плоские, беззубые слова я сейчас брошу и буду списывать (с переменной женского рода на мужской) с одной «весьма ценимой мною» рукописи, которой и Ты и я верим, как *собственному* своему сердцу.

Шутка ли?

«Все еще не получал Твоего письма и совершенно *suspensum insomnia terrent* **. Не знаю, как Ты, не знаю, что писать, а пропустить дня не хочется, ведь и Тебе приятно, и мне совершенно необходимо написать Тебе хоть слово каждый день, хоть повторить в тысячный раз те же слова, что Ты моя Единственная, Любимая, Милая, Родная, что я Тебя люблю, люблю, люблю, Голубушка моя ненаглядная! Пока пишешь Тебе, точно

* Литература (*франц.*).

** Меня сновиденья пугают (*лат.*). См. Вергилий, «Энеида», IV, 9 (перевод С. Ошера).

Ты ближе, легче как-то. А вот будет счастье получать Твои письма, ведь Ты так пишешь, так дивно пишешь, ну Ты сама знаешь. Ты мне напишешь, грустно ли Тебе или Ты бодро себя чувствуешь. Знаешь, я как-то не очень тоскую, грущу, только все время чувствую, что Тебя нет, Ты далеко, что не увижу Тебя долго...»³.

Это я получил *такое* письмо. Неужели же Ты не понимаешь, чему я тут удивляюсь? Да это ясно, как божий день: удивляюсь, что я получил *его*. И вот, еще и по этому поводу, болтаю, когда нужно *молчать*. Впрочем, оправдаюсь: я молчу, действительно много, только в письмах к Тебе разбалтываюсь, точно горох сыплется. А так, если бы увидели меня хотя бы, например, немцы, наверное бы сказали: «Видели дурака? Сидит, молчит и краснеет, как красная девица (*rote Mamselle*)». Действительно, краснею один, с самим собой — от счастья, ни от чего другого — от счастья и «беспокойства» о Тебе.

Пошел и посмотрел, нет ли письма. Нет, конечно. Вечер холодный и голубой, иду бродить. Прости за арлекинаду письма. Право, даже как будто сквозь слезы, уж прости. Ревнивый и болтливый пошляк — это я. Тоже, мож^(ет) быть, кривляка. Скажи-ка, скажи-ка, правда?

Ко всему прибавлю, что *такое* мое письмо еще попадет к Тебе в руки в неудобную минуту. Мысли-то твои — каковы они? Может быть, ведь не того Тебе нужно? А? Господи, какой я сумасшедший!

Скажи, Любочка, скажи.

Т в о й

Знаешь, мы приедем в начале июля. Почти наверное все лечение к концу июня кончится. В Петербурге пробудем два дня.

¹ Подчеркнуто дважды.

² Подчеркнуто четыре раза.

³ Блок цитирует (с переменной женского рода на мужской) письмо Л. Д. Менделеевой от 31 мая 1903 г. Конец фразы, не дописанной Блоком, такой: «и это как-то отнимает всякую силу, иногда прямо руки опускаются, сижу долго, долго, и только думаю о тебе, о будущем, и вспоминаю все, и этот год, и первый, и мистическое лето».

88

10 <23 н. ст.> июня <1903. Бад-Наугейм>

Если Ты не будешь писать так долго, я дойду до безумия. Я не капризничаю, Ты знаешь. Но я четвертый день ничего не знаю. Если телеграфирую, испугаю телеграммой Тебя и всех. И что же я могу телеграфировать? Если бы Ты написала одно слово, когда приехала в Клин¹, хоть о том, что столько-то дней нет почты. Или, если есть почта, одно слово о том, что Ты устала и потому не пишешь. Ведь мне нужно только одно слово, а без малейшей вести провести четыре дня в этом проклятом городишке очень трудно. Когда пишешь, пиши число, и, вообще, пиши, сколько времени идут, напр<имер>, мои письма — и обо всем этом. А главное, предупреди, что не будешь писать еще приблизительно столько-то времени. Я ведь, еще день, и подумаю бог знает что. Разве ничего не случилось? Уж лучше больше не писать. Ты не можешь представить, Ненаглядная, какая тоска. А завтра — 5-й день, и опять не будет письма. Завтра неделя, как Ты написала из Петербурга — последнее (8-е) письмо, еще 4-го июня. У меня руки опустились. Если есть что-нибудь, телеграфируй. Посылаю это письмо так уж, бессмысленно.

Т в о й

¹ По пути в Боблово (до Клина ехали поездом, дальше — на лошадях).

11 — утро <(24 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>

Вчера сидел в парке — был длинный вечер. «Скрипка стонет под горой — в сонном парке вечер длинный — вечер длинный, Лик Невинный, Образ Девушки со мной» ¹. Был в смертельном ужасе, написал Тебе бестолково и путанно. И вдруг сегодня утром, сразу 3 письма! Ничего не скажу. А вчера даже стихи написал (прилагаемые). Как я счастлив! Знаешь, если Тебе будет очень трудно писать каждый день, Ты предупреди или пиши *одно* слово. А то уж очень у меня беспокожно на душе, когда нет ничего. Я точно воскрес после четырехдневной тоски. И все проклятая почта. Я лучше вечером напишу. Мама каждый раз Тебя целует, когда узнает, что я пишу. Я уж Тебе не писал и не пишу об этом — знаешь отчего? От ревности. Да Ты поймешь. Спасибо Тебе, Показавшей мне Свет. А письма Ты бранишь напрасно. Они еще мокрые от росы с Твоих лепестков. Дивная моя!

Т в о й

Я ведь потому прошу писем, что они дают тон всему дню. Я без них теряю нити жизни — самой будничной и мелочной даже. А с ними — я — ну... счастлив.

Т в о й

* * *

День был нежно серый, серый, как тоска.
 Вечер стал матовый, как женская рука.
 В комнатах вечерних прятали сердца
 Усталые от нежной тоски без конца.
 Пожимали руки, избегали встреч,
 Укрывали смехи белизною плеч.
 Длинный вырез платья, платье, как змея,
 В сумерках белее платья чешуя.
 Над скатертью в столовой наклонились ниц,
 Касаясь прическами пылающих лиц.
 Стуки сердца чаще, напряженней взгляд,
 В мыслях — он — глубокий, нежный, душный сад.
 И молча, как по знаку, двинулись вниз.
 На ступеньках шорох белых женских риз.
 Молча потонули в саду без следа.
 Небо тихо вспыхнуло заревом стыда —
 Может быть, скатилась красная звезда.

Утро
 В<ad> N<auheim> ²

* * *

Многое замолкло. Многие ушли.
 Много дум уснуло на краю земли.

Но остались песни и остались дни.
 Истина осталась: Мы с Тобой одни.

Все, что миновалось, — вот оно, смотри:
 Бледная улыбка утренней зари.

Сердце все открыто, как речная гладь.
 Если хочешь видеть, — можешь увидеть.

Июнь 1903³
 В<ad> N<auheim>

¹ См. примеч. 2 к письму № 96.² Стихотворение было впервые напечатано в альманахе «Гриф» (1904).³ Стихотворение было впервые напечатано в альманахе «Корона» (1908).

90

11 — вечером (24 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм)

Я так обрадовался и успокоился от 3-х Твоих писем, что стал днем писать Тебе разные психологические рассуждения. Исписал пять страниц, перечитал, соскучился и разорвал. Потом ушел на гору (Johannisberg). И вдруг меня, как молнией, поразила самая ясная, но никогда еще в такой ясности не приходившая в голову, мысль; очень трудно все-таки ее выразить: мысль о том, что Ты совсем расцвела, распустилась, как распускаются цветы — и именно белые, влажные, ночные красавицы. Если бы это было так только, нечего бы было повторять. Эти мысли в т<ак> наз<ываемых> «поэтических» образах, конечно, не раз были у меня. Удивительно, что теперь точно прямо от Тебя ко мне, не проходя ни через какую «поэтическую» среду, точно на меня повеяло Твоей жизнью. И это было ужасно *серьезно*; главное — *серьезно*. И именно то, что Ты *совсем* расцвела, что называют «выросла», и опять не так, как у Полонского:

Для чего расцвела? Для кого развились?
Для кого это небо — лазурь ее глаз...,

а совсем иначе. Не в дымке «поэтической» грусти, или «выдумки», или «настроения», а совсем особенном виде — *«серьезном»* (хоть ведь и то серьезно, но иначе). Я не могу об этом «талантливо» написать, но это ужасно важно. Я прежде, давно, когда мы играли «Гамлета», сильно мучился тем, кто Ты — девушка или еще вовсе ребенок ¹. В Тебе тогда и того и другого было ужасно много. Ты обещала быть истинно-замкнутой, какова Ты теперь, а все-таки временами прорывалась детская и ужасно наивная искренность и откровенность (теперь Ты замкнутая, а не неискренняя, я это хочу сказать, конечно). Ведь и я был во многом ребячлив больше, чем теперь. И после Ты стала на глазах закрываться, в чем это было, не сказать уж, конечно. Взгляд Твой, что ли, стал останавливаться еще реже, но зато чуть-чуть дольше на мне, и на щеках у Тебя появились не детские, а задумчиво девические тени. Вот передо мной Твоя карточка с мандолиной, — я ее не люблю теперь, потому что она Тебя не передает, на ней много прошлогоднего и что-то «хищное», — и все-таки на ней совсем уж ясна эта перемена овала лица. Теперь, я заметил на Мусином ² детском личике появляются эти же тени. Ну и вот — теперь, на Твоем Лице все эти черты ярки. Я думаю о них и думаю, что они означают ожидание. Видишь, что я думаю, не сердись, я это *ласково* думаю. И на карточке, где Ты с книгой сидишь — тоже ясно, она лучше. — Так вот, знаешь, что я при этой мысли сейчас же почувствовал? что, когда я приеду, что буду я на эти полтора месяца до свадьбы? Если я *этого* не понимаю? Если мне кажется *дерзким* даже смотреть на Тебя теперь, потому что ведь я же груб, и я мужчина, и меня хватает только на то, чтобы понять *дерзость* своего присутствия? Точно я — что-то лишнее. И единственно, что может «сгладить» эту *ненужность* моего присутствия — это молчание и восхищенность. Ведь восхищенность всегда искупала и искупает многое. Вот, я только описываю, что было, а ведь это в одну секунду промелькнуло. Но не прошло, и я унес это чувство с горы в город и вот сюда. А теперь я думаю, какие бывают еще мужчины и, оказывается, бывают грубее меня. Бывают и такие, которые вовсе игнорируют мысли Невест. А мысли



ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (?)

Рисунок Блока

Центральный архив литературы и искусства, Москва

и мучения Невест значат *многое*, и хоть часть из этого *многого* жениху необходимо вместить, а если он не понимает, хоть каяться в этом, чтоб быть хоть на каплю достойнее. И «возраст» Невесты надо вместить и *надо* понять хоть издали, хоть немного, что значит девушка двадцати лет.

Ведь я Тебе совсем не пишу о «делах». Думаешь ли Ты, что этого не нужно? Я думаю, что да. Дел для разговоров и писаний о них, можно при желании найти много, но, по-моему, у Тебя нет этого желания. У меня — нет. Наше время не такое, чтоб очень заботиться о мелочах, думаешь ли и Ты то же? Я думаю скорее и легче о том, что написал Тебе, и о многом подобном. Но могу думать и о «делах». Неправда ли — слово «дела» такой же жупел, как «муж»?

Милая, Ненаглядная, Ты все-таки пиши хоть одно слово. И так уж почта отвратительна.

Помнишь, как порывисто Ты обняла меня в вагоне, в последнюю минуту. Сколько Ты дала мне тогда понять! А я был сух и глуп. Завтра напишу.

Твой

¹ К этому времени относится первоначальная редакция стихотворения Блока «Я шел во тьме к заботам и веселью...» («Воспоминание о «Гамлете» 1 августа (1898 г.) в Боблове).

² *Муся* — младшая сестра Л. Д. Менделеевой, Мария Дмитриевна (1886—1952), по мужу Кузьмина.

91

12 <25 н. ст.> июня <1903. Бад-Наугейм>

Ты принимаешь мои письма, как повесть ¹. Значит, так надо. Ведь если я задаю вопросы, то такие, которые не требуют точного ответа. По крайней мере, в Твоих письмах без прямых ответов я нахожу то, что мне надо, то *главное*, что меня будит: Твою любовь. А мои вопросы сами собой расплываются в Твоем зеленом саду, в зеленой тени, когда Ты смотришь из трав в голубое небо.

Только что же Ты все оправдываешься? Я рад Твоей лени. Любуюсь на нее. Дорожу ей. Она и в письмах ². Разве мне нужно от тебя что-то чуждое Тебе? И разве Твои письма не прекрасны сами по себе, не только для меня?

Ты спрашиваешь, что писать? Пиши: «Все хорошо. Твоя». Здесь прожить осталось 2¹/₂ недели. Вот напиши, что Ты об этом думаешь?

Мы с мамой говорим иногда об ее прошлом. Она рассказала мне разные подробности о моем отце и первом времени после венчанья. Я спросил, могу ли рассказать все это Тебе? Она сказала, что она даже хочет, чтобы Ты знала о ней все, что знаю я. Я расскажу Тебе потом.

Странный человек мой отец, но я на него мало похож.

Ты думаешь, что не умеешь рассказывать факты? Это неправда. Видишь, как я заразился Твоей ленью? Я с Тобой — там — в зеленой траве.

Ты прислушайся к земле и напиши, что Ты услышала.

Вчера я видел фейерверк, уж второй. Очень трогательно и торжественно. Особенно — ракеты. А сегодня я опять был на горе — с мамой вместе. Очень хорошо и далеко видно. А все-таки поскорей бы прошли 2¹/₂ недели. Дни тянутся, как ломовые извозчики. Источник, в котором я купаюсь, таинственный — зеленовато-голубой.

Сегодня утром я получил Твое двенадцатое письмо. Что будет в тринадцатом?

Что думаешь Ты о двух с половиной неделях? На этот вопрос ответь. Голубушка, Милая, Ласковая, Нежная, когда-то я Тебя увижу? И какая Ты будешь?

Напиши, вернулась ли мама и как она?

Ты худеешь или нет? Спишь? Кушаешь? Очень устаешь от жары? Если Ты обо всем этом напишешь, я буду рад. И теперь я счастлив. Только дни длинные.

Господь с Тобой, Голубушка.

Т в о й

¹ Л. Д. Менделеева писала 8 июня 1903 г.: «Хотелось бы мне сказать про твои письма, только ты и сам знаешь, какие они хорошие, как захватывают, как много, много говорят...».

² 9 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева сообщала Блоку: «Милый мой голубчик, сегодня я много, много бродила по полям, там, где мы ходили вместе. Жарко, тихо, трава душистая, я совсем одна — так хорошо вспоминать о тебе. Я теперь только и делаю, что думаю о тебе, ничего и читать не хочется, и не работается, и гулять ни с кем не хочется, надо идти скоро и далеко; а брожу потихоньку или лежу в траве около конопли. Много цветов теперь, так хорошо, я заставила всю комнату, розы и красные ли-

лии. А лучше всего безделье и лень, лень. Ты наверно отлично представляешь себе это настроение. А все-таки сквозь лень неприятно, что уж второй день от тебя не получала письма, сегодня воскресенье и не бывает у нас почты».

92

13 <26 н. ст.> июня <1903. Бад-Наугейм>

Я опять не могу писать трезво и опять не знаю, что писать. Я одинок без Тебя. Я тоскую без Тебя. Странной мне представится дорога из Боблова в Шахматово. Совсем другое было все еще год тому назад. Ты приедешь в Шахматово в тот день, когда мы приедем, или нет? Хочешь приехать или нет? Можешь приехать? Напиши, чтоб я знал наверное. Жить здесь осталось две недели, и потом еще около 5-ти дней (дорога и Петербург). Я не знаю, скоро ли это? С одной стороны скоро и даже страшно, а с другой — дни ужасно медленно волокутся. Я кончаю свои ванны, и доктор сказал, что я очень здоров, громко хохотал и жал руку. Впрочем, он и в первый раз не говорил, что я болен. Только тогда я действительно страшно устал. Маме осталось 10 ванн, а они берутся по 3, потом пауза. В Петербурге мне-таки опять придется иметь дело с университетской канцелярией¹. Я Тебе напишу точно, когда совсем определится все дни отъездов и приездов. Сегодня нет от Тебя письма, но я почти не беспокоился. Прости меня, что я прошу Тебя писать столько — каждый день. Ты, пожалуй, и не пиши, а скажи только, когда не будешь писать. Мы живем очень тихо, русские очень приставали (соседи), а теперь угомонились — хоть не совсем.

Не могу связать двух слов, а потому бросаю письмо. Какой-то сумбур в голове. Может быть, потом напишу лучше. Что-то нужно было Тебе сказать, я опять забыл. Верно не очень важное. Прости, моя Радость, за такое письмо.

Т в о й

¹ Речь идет о получении документов, необходимых для венчания.

93

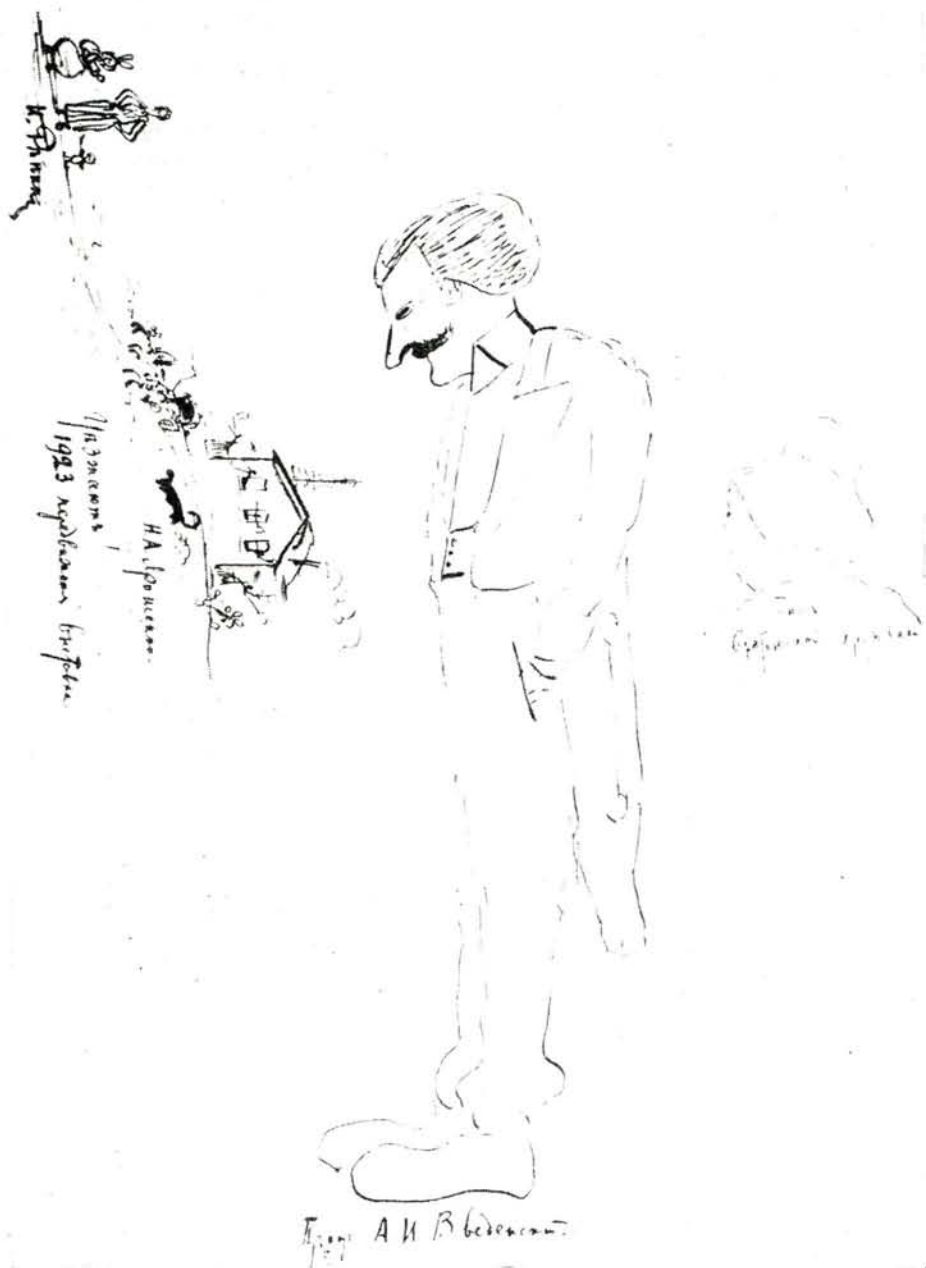
14 <27 н. ст.> июня <1903. Бад-Наугейм>

Сегодня 14 июня. Я получил сейчас Твое письмо от 9-го — тринадцатое. В нем все, что мне было нужно эти дни, и больше того. Я даже не буду говорить о нем просто, так оно несомненно прекрасно по самому существу¹. Ты издала тонко чувствуешь и знаешь, что мне нужно в таком удалении от Тебя, и удивительно верной рукой и ласковой рукой прогоняешь что-то мне самому не видное. То, что называется «надежностью», я чувствую у Тебя постоянно и чувствовал всю зиму, только редко сознавал. Этого всего, конечно, мало сказать и даже глупо говорить. Удесятери все, что я умею сказать и написать, и все-таки не будет того, что я хочу. Притом, Ты постоянно пишешь, что не умеешь говорить и писать. Между тем, даже когда Ты пишешь мало, у Тебя слова ужасно веские и *всегда* есть что-то, кроме слов. Твердости в Твоей ласковости и снисходительности ко мне ужасно много. Например, если уж Ты написала, что будет счастье, я твердо знаю, что Ты величаво «согласилась» на счастье, и притом из самой глубины души. Ты никогда не отдашься *словесному* порыву, и в этом прямо выражается Твоя непреклонность в изв^естном смысле, и я постоянно чувствую, что есть черта, которой Ты не перейдешь. У Тебя такая глубокая серьезность души, что она чувствуется даже и не для меня одного. Помнишь, я говорил Тебе, что мама² как-то сказала,

что она никогда не встречала ничего подобного, и когда Ты раз была с ней вдвоем (кажется, после первого экзамена), она потом сказала мне, что в Тебе есть что-то совсем новое и невиданное ей (а сколько она видела!), именно в этом спокойствии и невозмутимости самого главного. Ну, это сказала мама, совсем не зная Тебя. А я Тебе скажу, что я знаю в тысячу раз больше, и знаю еще, что в Тебе совмещаются никогда еще непредположенные мной «качества» (а я, если не видел, то «предполагал» очень много) — вот эта невозмутимость главного и та «непосредственность», которую Ты в самой себе знаешь так уверенно и спокойно опять-таки, и которую я знаю и понял совершенно твердо. Я думаю, что такое соединение дается или страданием довольно долгой жизни, или так, как у Тебя, от избытка природы и «породы», от удивительной свежести и чистоты рода и от безымянного (по крайней мере для меня) гения, свойственного Тебе самой *недаром*. Знаешь ли, что я искал долго и страстно именно этих непоколебимых устоев, из которых постоянно «возникает» жизнь; они — нечто вроде «живой воды», постоянно текущей, кристальной и никогда не иссякающей, все обновляющей. Благодаря этому Твоему основному смыслу и моему страстному стремлению к нему и твердой вере в него, *только* благодаря *ему*, мы не почувствовали психологических последствий этой зимы. Понимаешь, о чем я говорю? Помнишь, как я постоянно трусил того, о чем я говорю. Я еще не знал тогда так твердо и ясно, как теперь, после ряда писем и после того, как наплось «время» подумать об этом, — не знал этого Твоего качества и все боялся, что оттолкну Ты от себя невольно, и что то, что было зимой и весной, «испортит» все. Напомню Тебе еще, что в первых числах декабря, когда я нанимал комнату сначала на Троицкой, а потом на Серпуховской, *Ты сама боялась*, что мы «губим» свое счастье. Это Ты написала мне, но письма я оставил в Петербурге и помню точно именно слово «губим»³. Значит, было же и Тебе это сомнительно и жутко (я знаю, что не совсем то, что мне, но это все равно и не так важно). Ну, а теперь я окончательно понял, как молчаливо поняла Ты еще раньше меня, конечно, — что *нельзя* было уж ничего погубить. Я понял, что именно Ты главное (я, благодаря Тебе) сохранила мудрость и силу для того, чтобы быть счастливыми нам обоим. Никто не сделал бы этого лучше, тише, невозмутимее и увереннее. Заметь, что, когда Ты каялась, то каялась *не в том*, и это я оценил теперь только, как вообще, м. б., поздно принимаю всякие благословения, сходящие от Тебя и с неба. Вот на этой Твоей «надежности», «постоянстве» Твоем и строилось медленно и прочно теперешнее здание (найди мои старые стихи «Медленно, тяжело и верно...»: «Тяжкая верность заложит медленный камень труда»). Строится и теперь для будущего, потому что я «надеюсь на Тебя, как на каменную гору», что называется, и Ты, главное Ты, так же на себя надеешься. Это Лермонтов еще так неудачно (пошловато) сказал:

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро —
Зато не разлюбит уж даром⁴.

Этим самым Твоим гением молчаливой надежды Ты, кроме утверждения прочности нашей будущей жизни (ведь это канва — и все остальное *с этим* не страшно), делаешь *для меня* великую вещь: «опрощаешь» меня. Я сам замечаю, что то, что я прежде (еще даже в зимних письмах к Тебе) мог выразить расплывчато и туманно (теорией), теперь могу сказать яснее и проще. С этим кончается для меня ужас той самой страшной фразы, которую Ты сказала мне весной: что Тебе придется «стать мистичной», а иначе будет «ужасно». Я исповедал это священнику, и, должно быть,



РИСУНКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ (1903 ?):

«Проф. А. И. Введенский», «Тип бретонской крестьянки», «И. Репин...
Н. А. Ярошенко. Уезжают! 1923 передвижная выставка»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

стал попроще — на словах. Ведь тут именно слова пугали, потому что чувства мои Тебе угодны, надо их и выражать соответственно, а не кутаться в «литературу» там, где можно обойтись без нее. Прошу Тебя благосклонно принять мою простоту и еще увеличивать ее. Ведь «туманности» и для жизни опасны. Главное, чтобы Ты чувствовала меня покорным и ласковым, чтобы чувствовала тепло и жар, а то ведь у меня свойство скрывать невольно то самое, что хочется сказать или сделать.

Ты знаешь еще очень хорошо, что я «мучился», когда мог бы не мучиться. Тут было много упрямства, — Ты уже простишь, а я все еще не в себе. Но мучиться, когда Ты страдаешь, для меня необходимо и я хочу этого. Зачем же Ты каешься в своем седьмом письме (2 июня)? Мне прежде всего надо знать побольше всего, что Тебя касается, и, чтобы Ты не скрывала потом того, что не говорится теперь (а почему теперь не все скажется, это я знаю и перед этим преклоняюсь, и совершенно доволен одними догадками). — Вот Ты пишешь, что «мои слова чувствуются», значит, и Ты привыкла к моему способу выражения, а, м. б., и я стал получше выражаться. Я знаю, что Ты все поймешь, но ведь Ты понимаешь, что я хочу, чтобы Ты больше, чем сказано, поняла?

Ты не думай, что будет «другая» весна. Зачем так уж отказываться от прежней? «Прежняя» Ты и прежние Твои вёсны для Тебя страшно дороги, а для меня — Ты знаешь *не меньше* (на этом я твердо стою). А Ты как-то думаешь, что я-то и прогоню память о них, даже самую память. Нет, останется много. Ты задумайся, — и останется. Будут вечные белые думы, все равно, что старые и милые цветы переменяют цвет. Но будут все те же *белые думы* над другими цветами. Я так много передумал, перепел и переискал этих неподвижных и неизменных, вечно милых, всю жизнь ласкающих снов (не знаю — другое бы слово), и Ты столько «помогла» мне в этом и столько сама дала мне их, что я верю в неизменность дорогого и в то, что каждая весна носит в себе одну молчаливую неизменность для всех «верующих» в это — холостых и женатых. Заря будет такая же заманчивая и свободная, а мы будем... еще свободнее. Ласковость бирюзового неба и Твой румянец и глубина Твоих глаз и жемчужины Твоих зубов — все одно и то же, одно счастье.

Твоя верность, о которой Ты молчишь, потому что сжилась с ней и чувствовала ее развитие давно, не знаю с какого возраста, — по-моему, вернейший залог постоянного счастья. Пока будет это — все остальное будет мелочь. Видишь, сколько я говорю об этой верности? Значит, что я уж разглядел ее и понял, а потому не боюсь говорить. Да и Ты ее в себе знаешь и ценишь, я чувствую, что Ты знаешь ее, потому что всегда молчала о ней, только раз сказала, и то намеком; я знаю также, что Тебе хорошо и Ты не всегда тоскуешь. Все это я знаю и люблю страстно, люблю до гордости.

В этом письме (последнем, от 9-го июня) Ты еще думаешь, что осталось 5 недель. А их осталось две с половиной. Мама эти дни так отвратительно себя чувствует, что пришлось чуть-чуть отложить ванны, и все-таки мы уедем едва ли позже 30 июня. А если бы осталось 5 недель, то правда можно было бы «совсем сбиться с письмами». Это удивительно тонко Ты сказала, у меня было это самое чувство⁵. Писать хорошо, а говорить (с Тобой) еще гораздо лучше.

Ты не кайся и вспомни, сколько Ты сделала для меня. Я не могу этого вычислить. И вообще, вычисления гадко действуют на меня теперь, особенно вычисления небесного огня. Мы с Тобой близки теперь и скоро будем еще ближе. Помнишь, как я боялся, что Ты рассказываешь Шуре⁶? Я только теперь понял, до какой степени Ты «не выдашь» и до какой степени я «уверен» в Тебе. Это гадко с моей стороны, что так поздно, а все-таки лучше теперь хоть знать это наверное. Видишь, что я в этом

письме не казнюсь. Мне самому странно это, но у меня иногда проходит это желание (не всегда, впрочем), и я иногда чувствую (даже страшно сказать), что могу быть Твоим «другом». Прости за слово и прости за форму. Знаешь, я чувствую это вместе с той мыслью, о которой я писал Тебе, — что Ты совсем выросла и стала из ребенка женщиной. И потому мне иногда сразу представляются *рядом* наши возрасты, оба сильные, молодые и жгущие друг друга. Слово «друг» не то, что «муж». Это значит тольковеряющий Тебе все самое сокровенное, о чем ни за что не станет говорить другим. И «друг» ничего не исключает другого, потому не бойся и согласишься стать мне подружкой.

Ты написала письмо, подождала и подумала. Потом сделала приписку быстрой и стыдливой рукой. Я целую Тебя в губы, «как я хочу целовать» — «долго и горячо»¹. Я прижимаю Тебя близко и чувствую, что Ты дышишь «долго и горячо». Вижу близко Твои брови, Твои волосы, Твои глаза, Твое горячее лицо. А все-таки — ноги и платье, прости, я не могу не поклоняться. Я целую Твой горячий след. Я страстно жду Тебя, моя Огненная Царевна, Мое Зарево. Я все думаю о том, приедешь ли Ты в Шахматово в тот день, как мы приедем. Ты говорила, что это может быть. Я возьму Тебя за руку и уведу в зеленую тень. Хочешь? Если нельзя, так я приеду. Ты напиши, Радость моя, Весна моя.

Т в о й

¹ В этом письме Л. Д. Менделеева писала: «Мне так досадно теперь на то, что я делала после письма 2-го июня: сама успокоилась и не подумала, что замучила совсем тебя, отделывалась короткими, ленивыми письмами. Бедный ты мой голубчик! Ведь знаю я, как мучу тебя всегда, знаю, что ты все чувствуешь бесконечно большее и глубже меня, и не могла во-время вспомнить, писать, чтобы загладить, успокоить. Ужасно это расстояние, ведь теперь столько времени пройдет опять, пока ты получишь это письмо; я получаю только на четвертый день. Господи, когда-то это кончится! Ну что я могу сказать в письме? Когда ты пишешь, все чувствуется, что у тебя на душе, твои слова проникают и захватывают всю, талантливые, милые, дорогие слова. А я не умею; вот если бы ты был тут, ты видел меня тихую, покорную и счастливую твоей любовью, я целовала бы твои руки, сидела бы у твоих ног, как там, помнишь? Я сумела бы загладить, смягчить, заставить забыть боль, кот<орую> я причинила тебе. А ведь ты знаешь, как на меня налетают и потом быстро проходят всякие настроения, хотя, правда, и глубоко захватывают, и тяжело бывает. Теперь совсем прошла тяжесть и горечь. Жалко, конечно, жалко, без этого нельзя, девичьей жизни; только я, как и ты, твердо знаю, знала и до твоего письма, а теперь еще тверже знаю, что будет счастье, бесконечное, на всю жизнь, только теперь-то не могу себе этого представить, ведь будет все совсем, совсем другое, и счастье другое, и весна другая, а мне жаль всего теперешнего и кажется, что без него и счастье не в счастье; да разве тебе самому меня теперешней не будет жаль потом; подумай! Только я тебе говорю, я ведь знаю, что я теперь только так думаю, а тогда буду счастлива; Господи, да ведь в тебе же все счастье, я же знаю! Ведь и ты знаешь, как будет хорошо, ты пиши мне, ты понимаешь, как мне необходимы, дороги эти письма, я зачитываюсь ими...».

² А. А. Кублицкая-Пиоттук.

³ Письмо Л. Д. Менделеевой от 6 декабря 1902 г. См. примеч. 3 к письму № 24.

⁴ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «М. А. Щербатовой» («На светские цепи...»).

⁵ В том же письме от 9 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева писала: «Боясь, что под конец совсем собьюсь с этими письмами. Ну да ничего, ведь вот две недели прошли довольно скоро, проживем как-нибудь».

⁶ А. М. Никитина.

⁷ Приписка Л. Д. Менделеевой в письме от 9 июня 1903 г.: «Милый, милый мой, ненаглядный, голубчик, не надо и в письмах целовать ноги и платье, целуй губы, как я хочу целовать — долго, горячо».

Я понял, моя Радость, то, что Ты написала мне ¹. Я знаю, что Ты тогда испугалась не меня. Но Ты же должна понять, почему я пишу так. Я хочу, чтобы Ты чувствовала мою постоянную ласку и покорность Тебе и чтобы Ты знала, что я всегда готов «изгнать» ненужное Тебе; я приписываю себе часть Твоих страданий для того, чтобы Ты по крайней мере видела, что мое сердце открыто и чутко прислушивается. Я понимаю тоже, что Тебе было прежде «больно», когда я хотел, чтобы Ты изгоняла. Но ведь тогда в этом было «чуть-чуть правды». Если теперь это «неправда», то это еще новое счастье для меня, но я никогда не хотел бы *успокоиться* и решить, что во мне будет что-нибудь, не подлежащее *Твоему суду*. Если теперь хорошо, — пусть будет так, но, если захочешь, напомним только, и я буду стараться стать таким, каким Ты бы хотела видеть меня. И я не «мучаю» себя этим, а я со всем желанием моего сердца стремлюсь к тому, чтобы Тебе было хорошо и во мне не осталось и внешней «колючести», как не осталось следа ее в моей душе. Я знаю тоже, что Ты «жалеешь о том, что в Тебе». Это и прежде было. Ты скажешь мне об этом еще, а в письме, правда, не сказать. Только зачем жалеть, когда *Ты передо мной права*, если позволительно говорить такие «малые истины», когда рядом с ними стоят «великие» — все, что в Тебе — близко и свято для меня. Ты не беспокойся о том, что я не понял того письма ², я о нем много думал и не мог *только* страдать, потому что там ясно и твердо сказано: «Будь хоть чуть-чуть меньше моя любовь, и я все бы бросила, от всего бы отказалась». Ведь это так просто и вместе так много. А то, что Ты пишешь теперь? Разве же это не уверенно? Разве это не «каменная гора»? Мне *это* необходимо, потому что я знаю и вижу, что на *этом* бесконечно надежном основании протекают Твои дни. И с *этим* я могу смотреть в лицо всему вполне бесстрашно и с ясностью. Я не то, что «не понял» Твои слова, а скорее — возвел их в слова своих молитв и писал Тебе о них, как о самом священном для меня. А слова молитв всегда звучат «страшнее», и к ним больше благоговения, чем к простым, потому и мой собственный голос перешел в крик и смутил Тебя неожиданностью. Впрочем, едва ли совсем «неожиданностью». Ведь Ты знала, какое значение мог я придать этому и какое, *по-моему, должен был придать*. Не беспокойся об этом, и помни, что, если мне придется что-нибудь объяснять, то я пойму скорее и как только можно скорее, потому что мое желание понимать *правдиво и так, как Ты хочешь, чтобы я понимал*, беспредельно. Завтра я напишу Тебе. Милая, Ты для меня дороже *всего*, это не забудь, Милая.

Т в о й

Я получил странное письмо от Бугаева ³. Как только отвечу на него, так перешлю его Тебе.

¹ Имеется в виду письмо Л. Д. Менделеевой от 11 июня 1903 г., в котором читаем: «Родной мой, я перечитала твои последние письма и вижу, что ты не совсем понял меня, ты понял все хуже для себя, чем я чувствовала и писала. Ты перечитай то письмо и увидишь, что испугалась я чего-то совсем не в тебе, и не говори, что я хочу изгонять из тебя что-то, ты уж прежде говорил мне это, и тогда это было больно, хотя тогда, может быть, и было в этом хоть чуть-чуть правды. А когда мы говорим про это теперь, еще больней, п(отому) ч(то) это неправда, и жалко, зачем ты себя этим мучаешь. Ведь трудно в письмах говорить о всем, что думаешь, а в мои попадает только самая маленькая частица! Вот и ты не знаешь, что я теперь, как никогда, знаю и уверена, что ты такой, как я могла только мечтать для себя, а мечтала я об единственном, о самом луч-



МЕНДЕЛЕЕВЫ В БОБЛОВСКОМ САДУ

(Анна Ивановна, мать Л. Д. Менделеевой, в центре, Любовь Дмитриевна (перед мольбертом), ее брат Иван Дмитриевич и сестра Мария Дмитриевна)

Фотография

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

шем на свете. То, о чем я жалею, во мне, только, знаешь, трудно писать об этом, лучше будем говорить, когда увидимся, а что это и тогда не потеряет интереса, я знаю.

² Письмо Л. Д. Менделеевой от 3 июня 1903 г. См. примеч. 2 к письму № 82.

³ Письмо от 10 июня 1903 г., в котором Андрей Белый с излишней прямолинейностью спрашивал Блока относительно соловьевской «Лучезарной Подруги»: является ли она для него, Блока, «Душой Мира» или «определенной личностью»? Блок ответил 18 июня большим письмом (см. «А. Блок и А. Белый. Переписка». М., 1940 стр. 32—37).

95

<16 (29 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>¹

Я не знаю, как я буду говорить с Тобой, когда приеду. Еще ни разу с 7 ноября² мы не расставались на месяц. Мои дни здесь — жаркие, утомительные и сонные. Когда наступает вечер, у меня начинается смятение в душе, а к ночи, когда кричат коростели и шумят поезда, поднимается целая буря, и мне хочется медленно красться и прятаться в тени белых вилл и старых деревьев, точно Ты назначила мне тайное свидание где-то и близко и далеко, в тени, у воды. Тут будто вся ночь только для того, чтобы незаметно и тайно от всех сильно и страстно сжать Тебя в объятиях в шепчущей тишине, прижаться к Твоим губам, увести Тебя на край города, будто на край земли, слушать Твой долгий медленный шепот. Мне нужно, чтобы Ты зажала мне губы поцелуями без конца и заставила все забыть, чтобы предаться Тебе страстно и надолго, без единой мысли. Я пишу все это, точно одурманенный сонной грезой Твоего Присутствия, отдельной от всех, сознавая, что я законно ничего не понимаю больше в эту минуту и ровно никому не обязан признаваться столь томительно страстными словами, кроме Тебя. Кроме Тебя, нет ничего, и все слилось в Тебе, все мое прошлое и будущее, и настоящее, и ночь, и тихие росы, и знойные мысли. Я дерзок и свободен сказать Тебе, что красивее нас вдвоем нет ничего. Никогда не было у меня прежде этих забвений, этого праздника сердца, чтобы я мог так целиком свернуть шею уму и погасить все огни, кроме ночных поцелуев. Там в парке кружится теперь целый рой летучих светляков, и вода поет, башня задумалась, внизу и на горе — молчание, город задремал; все эти хромые, убогие, больные и нищие силой, если мучаются, то у себя, так что не видно, и не слышно, и не нужно. Осталась задумчивость розовых кустов, и шопот в полях, и гибкость в травах, и ниспадающая роса, и эта летучая гибкость в руках, стремящихся обвиться кругом Твоей талии, и непомерная, небывалая ласковая дерзость сердца.

Довольно. Прости.

Т о й

¹ Дата почтового штемпеля.² С 7 ноября 1902 г.

96

<17 (30 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>¹

Скрипка стонет под горой.
В сонном парке вечер длинный,
Вечер длинный — Лик Невинный,
Образ Девушки со мной.

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: живи...
Образ Девушки Любимой —
Повесть ласковой любви.

Июнь 1903.
В<ad> N<auheim>²

ФАНТАЗИЯ

Сердито волновались нивы.
Собака выла. Ветер дул.
«Ее» восторг самолюбивый
Я в этот вечер обманул.

Угрюмо шепчется болото.
Взошла угрюмая луна.
Там — в поле — бродит, плачет кто-то:
«Она»! Наверное она!

Она смутила сон мой странный —
Пусть приютит ее другой:
Надутый, глупый и румяный
Паяц в одежде голубой³.

* * *

Ей было пятнадцать лет. Но по стуку
Сердца — Невестой быть мне могла.
Когда я, смеясь, предложил Ей руку,—
Она засмеялась и ушла.

Это было давно. С тех пор проходили
Никому не известные годы и сроки.
Мы редко встречались и мало говорили,
Но молчанья были стоики.

И зимней ночью, верен сновиденью,
Я вышел из людных и ярких зал,
Где душевные маски улыбались пенью,
Где я Ее глазами жадно провожал.

И Она вышла за мной — покорная,
Сама не ведая, что будет через миг.
И видела лишь ночь городская, черная,
Как прошли и скрылись: Невеста и жених.

И в день морозный, солнечный, красный
Мы встретились в храме, в глубокой тишине.
И поняли, что годы молчанья были ясны,
И то, что свершилось,— свершилось в Вышине.

Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душевная песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни — спую когда-нибудь.

16 июня 1903.
В<ad> N<aubeim>⁴

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
ИЛИ: ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ!
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ» ПАМФЛЕТ, ЗАПРЕЩЕННЫЙ В РОССИИ

Эпиграф

Когда я спал,— ко мне явился дьявол
И говорит: я сделал все, что мог...

К. Бальмонт⁵

Посеял я двенадцать маков
На склоне голубой мечты.
Когда я спал — явился Яков
И молча вытащил цветы.

Меж тем, проснувшись, с длинной лейкой
 Я вышел поливать цветник.
 Хотя б один «листочек клейкий» ⁶
 Оставил пакостный старик!
 Я сел в беседке, роковому
 Поступку не придав цены,
 Решив, однако, к мировому
 Его представить седины.
 Бесстыдник чуял, что последствий
 Он избежать уже не мог:
 Он обронил в поспешном бегстве
 Изящный носовой платок —
 С своей неизглади~~мой~~ меткой...
 Но все заглади~~ть~~ * пожелав,
 Преступник встал перед беседкой
 С «корнями неизвестных трав» **.
 Те травы, с моего согласия,
 Он предложил мне посадить,
 Прибавив: — Дочь мою, Настасью
 Пришлю сегодня же полить, —
 И я одобрил предложение
 Полупрезрительным кивком,
 Настасья полила растенья,
 Старик ушел с своим платком.
 Когда взошла его крапива
 (Я так и знал, хотя был строг!),
 Старик, взойдя на холм, игриво
 Сказал: — Я сделал все, что мог, —
 И положил в карман спесиво
 Изящно вышитый платок ***⁸.

¹ Дата почтового штемпеля.

² Стихотворение было написано 10 июня 1903 г. Впервые напечатано в «Литературном приложении» к «Ниве», 1907, № 3.

³ Стихотворение было написано 12 июня 1903 г. Впервые напечатано в газете «Слово», 1908, 27 июля. Связано с воспоминаниями о «первой любви», пережитой летом 1897 г. в Бад-Наугейме, где Блок встретился с Ксенией Михайловной Садовской (1860—1925). Этим объясняется, что, посылая стихотворение Л. Д. Менделеевой, которая ревновала его к этой «тени», он поставил слова «Ее» и «Она» в иронические кавычки. В сборнике Блока «За гранью прошлых дней» (1920) стихотворение напечатано с посвящением: К.М.С.

⁴ Стихотворение было впервые напечатано в газете «Слово», 1909, 31 января, — с поправкой в 8-м стихе: «Но молчанья были глубоки». Здесь в поэтическом преображении переданы обстоятельства встречи Блока с Л. Д. Менделеевой 7 ноября 1902 г. (на студенческом балу в зале Дворянского собрания), их решительного объяснения и следующей встречи (9 ноября) в Казанском соборе.

⁵ См. поэму К. Бальмонта «Художник-дьявол» (гл. 6 — «Наваждение»), вошедшую в его сборник «Будем как солнце» (1903).

⁶ Слова Ивана Карамазова — героя романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (книга 5, глава 3).

⁷ Леонид Дмитриевич Семенов (1880—1917) — поэт-символист, товарищ Блока по университету. Студент-академик, придерживавшийся очень правых убеждений, после

* Следует обратить внимание на мастерскую игру слов. (Примеч. Блока.)

** Из стихотворения Леонида Семенова ⁷. (Примеч. Блока.)

*** Запрещенный смысл этого стихотворения — политика любой державы. (Примеч. Блока.)

9 января 1905 г. он пережил резкий духовный перелом, отказался от веры в «добротного царя», вскоре «ушел в народ» и сблизился с сектантами, оставив литературную деятельность. В «Собрании стихотворений» Л. Семенова (СПб., 1905) цитированного Блоком стиха не обнаружено.

⁸ Это шуточное стихотворение, написанное в «прутковской манере», впервые было опубликовано в Собр. соч., т. 12 (1936).

97

18 июня <1 июля н. ст.> <1903. Бад-Наугейм>

Боже мой, сколько времени я не писал Тебе. Вчера послал дурацкие стихи, а сегодня опять совсем другое. Если бы эти настроения менялись на Твоих глазах, — а так мне от себя ни тепло, ни холодно, и месяц вычеркивается из жизни. Дни молчат. Сегодня я с таким трудом отвечал на письмо Бугаеву ¹, как никогда. Мыслям хорошо только около Тебя. Сегодня не было письма от Тебя, вчера было о мальчике из Подсолнечной ². Тебя не затащили играть в Рогачево ³? Я, правда, начинаю путаться в письмах и должен видеть Твое Лицо. За это письмо прости и не сердись. Я не раскис, а только истомился от того, что Тебя нет, когда все кругом просит только о Тебе. Прости, Милая, Добрая, Ласковая. Я завтра напишу. Ты спрашивала, о чем разговоры с мамой. Я говорю страшно много вздору, лениво шучу и балаганю. Иногда говорим серьезно; спорим о мистических предметах очень мало. Все-таки редко говорим по-настоящему, я брожу иногда один, устаю, сплю днем. Дни так долги, как никогда, и иногда приятно проснуться часа через два — время-то и прошло!

Читаю Достоевского, Гофмана, с «Оправданием добра» ⁴ мало выходит путного. Самые резкие, напряженные счастливые мысли и чувства по вечерам. Окрестности надоели невыразимо. Все — в будущем. Скоро кончится это полезное времяпрепровождение (оно, впрочем, полезно для поправки здоровья). Завтра жду Твоего письма, моя Милая, моя Любимая. Отсчитываются часы и дни. И все еще долго — пожалуй, уедем 1 июля. Прости за письмо.

Т в о й

¹ См. примеч. 3 к письму № 94.

² Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 14 июня 1903 г.): «У нас интересное приключение, милый. Вчера вечером мы нашли около театра мальчишку лет одиннадцати, который собирался там ночевать. Он идет один из Подсолнечной, где жил на фабрике, домой за Рогачево. Он очень забавный, разговаривает, как взрослый. Отец его пьяница, и мир отнял их избу. Мы сейчас повезем его в Рогачево, к доктору Григорьеву, посоветоваться, что с ним делать. Он ночевал у нас, очень доволен, все рассматривает, особенно мамину живопись на балконе». (*Театр* — амбар в Боблове, в котором молодежь устраивала любительские спектакли. *Подсолнечная* — железнодорожная станция, ближайшая к Шахматову и Боблову. *Рогачево* — большое село в окрестностях Шахматова и Боблова.) Несколько позже (19 июня 1903 г.) Л. Д. Менделеева сообщила Блоку дополнительные сведения об этом мальчике: «Вчера в Рогачеве мы узнали, что наш мальчик ушел, не захотел никаких забот и помощи от доктора; он, оказывается, уж давно бродит и его все знают, нам было жаль его, такой славный мальчишка».

³ В селе Рогачево жила молодежь (учителя, врачи, фельдшерицы), с которыми Л. Д. Менделеева поддерживала дружеские отношения. В этой среде увлекались любительским театром. Блок, как видно это из последующих писем, относился к общению Л. Д. Менделеевой с «рогачевскими» крайне ревниво.

⁴ «Оправдание добра» — богословское сочинение Вл. Соловьева. Год спустя Блок снова пытался читать эту книгу, и снова без успеха: «...я в этом месяце сиделся одолеть. «Оправдание добра» Вл. Соловьева и не нашел там ничего, кроме некоторых остроумных

формул средней глубины и непостижимой *скуки*. Хочется все делать *напротив*, на зло. Есть Вл. Соловьев и его стихи — единственное в своем роде откровение, а есть «Собр. сочин. В. С. Соловьева» — скука и проза» (письмо к Е. П. Иванову от 15 июня 1904 г. — VIII, 105—106).

98

19 июня <2 июля н. ст.> <1903. Бад-Наугейм>

Я получил Твое удивительное письмо от 14-го — длинное ¹. Боюсь, что своими письмами «заставляю» Тебя писать длинно. А Тебе лень, и Ты не отдохнула. Твои письма мне не только *всегда* интересны со всеми подробностями и мелкими фактами. Ты это знаешь. Они — главное событие дня. Я не потому хотел, чтобы Ты повторила слова любви, что не знаю или забыл Тебя. Мне тогда вдруг захотелось их слышать — еще раз. И Тебе хочется слышать их не один раз. Разве это не должно быть так? Ты придаешь иногда моим словам значение легкого упрека Тебе. Этого никогда не бывает. Этого не может быть, мне ли упрекать Тебя? Я не требую совсем, а могу только просить — разве это не ясно? Моя Сказка, не думай этого. Ты пишешь все, что надо мне, и больше, чем надо Тебе писать. Я знаю, как трудно написать без настроения и в усталости.

Когда я прочел, что Ты, может быть, будешь играть в Рогачеве, чего-то испугался. Приписке, что Ты не будешь играть, обрадовался. Но ведь все это «чему-то» и «отчего-то». Если только Тебе захочется, умоляю Тебя играть и не обращать внимания на меня. Я и сам уж больше не испугаюсь. Только, если Тебе по-настоящему захочется. Я чувствую Твое настроение по этому поводу, что «иногда вдруг захочется, а потом не можешь понять, как это могло прийти в голову».

Поездка, я чувствую, наконец, на ущербе. Осталось 10—11 дней здешнего житья. И письма мои тоже на ущербе, я пишу совсем уж скверно, потерял всю способность говорить письменно о самом важном, чувствую его также, м. б., даже еще напряженнее с приближением осени. С каждым днем ближе. То, что Ты написала о счастье приближающегося свиданья, для меня слишком хорошо. Как сказать Тебе, я не знаю: не подумай опять, что я о Тебе беспокоюсь. Так же, как Ты о себе, так и я о себе же. Боялся того, что я приеду слишком рано, понимаешь, я — и буду Тебе мешать. Только не Ты будешь это чувствовать, может быть, а я же. Но я постараюсь не мешать, м. б., это правда напрасно приходило мне в голову. Приходило в голову, что жених *лишний* перед свадьбой, понимаешь? Ну, оттого, что я, как ни хочу, мало пойму во всей мистерии Твоей девической жизни. Я писал Тебе об этом, и все еще очень недоволен собой по поводу своего мужского непонимания. Утешаюсь тем, что многие еще меньше и грубее понимают. Ах, Красота моя Несравненная, я ревную там, где нужно поклониться. Но *разве Ты хочешь, чтобы я совсем не ревновал?* Думаю, кажется, что нет. Но я знаю, как нежен возраст Твоей любви. Знаю и чувствую, что необходимо найти в себе ласковую покорность. Я найду ее. Сплетенья кос, как сплетенья самых нежных душистых весенних трав. Обвяжи мне голову косой, чтобы я лучше слышал Твои желания. Ты убьешь этим боль моего непонимания и моей грубости. Брани за каждое грубое слово, которое может быть сказано мной. Я буду чутко слушать и постараюсь все понять. А жить здесь без Тебя — очень одиноко, я в первый раз подумал об одиночестве, в прежние годы довольствовался своей особой. Пришло время Тебе учить меня, к Тебе я прислушиваюсь.

Т в о й

¹ Вот это письмо: «Ненаглядный мой, ты все хочешь, чтобы я написала тебе, как я люблю тебя, будто ты не знаешь или забыл меня. Ведь я все та же и так же люблю тебя,

милый, и хотела бы сказать это тебе так, чтобы ты почувствовал, но ведь ты сам знаешь, что для этого нужно особенное настроение, а у меня его давно нет, все время мне и лень, и устаю еще все от всяких пустяков, как поездка в Рогачево и т. п., еще не набрала силы, после города. И письма пишутся с трудом и не выходят, еще раз прошу тебя, милый, «не сердиться» на это! В Рогачеве вчера мы с Мусей провели почти весь день у доктора Григорьева. Они опять, конечно, устраивают спектакль и зовут меня, хотя неизвестно, что будут ставить, я еще совершенно не знаю, захочу ли я даже играть; иногда вдруг захочется, а потом не могу понять, как это могло прийти в голову. — Сейчас вдруг днем принесли почту и твое письмо, кто-то ездил в Клин. — Бедный, я так и знала, что письмо будет идти бесконечно, а я слишком знаю, что значит ждать письма хотя бы только день. Родной мой, я глазам не верю, что вы приедете так скоро, теперь, значит, меньше трех недель. Повтори, ради бога, еще раз это, такая радость! — Милый, ненаглядный мой, зачем ты пишешь всякие нехорошие вещи и про себя и про свои письма? Ведь мне же больно, ведь я же люблю, люблю тебя, голубчик мой милый, всем сердцем, всегда читаю и храню твои письма, всем сердцем переживаю их. Милый, милый, и подумать не могу, что опять, уж навсегда, мы скоро будем вместе, не нужно будет и писать за тысячи верст, а будем вместе, всегда; такое счастье. Ты только не беспокойся обо мне теперь, мой родной, я жду тебя, мне хорошо.

Твоя

Играть не буду, ведь это было отчасти чтобы убить время, а так оно и само пройдет скоро, я так рада.

99

19 июня <2 июля н. ст.> <1903. Бад-Наугейм>

Сейчас я получил вот это письмо от Мережковской ¹. *Теперь Ты можешь видеть, в какой мере ТЕБЕ ² нечего бояться за меня.* Мне страшно не хочется комментировать, и я все-таки не могу от них воздержаться. Подробно расскажу Тебе все *не в письме*. Прежде всего письмо страшно важно не по маленькому своему тону, а потому, что *содержание* его открывает мне глаза на многое. Ответ последовал удивительно скоро (на мое короткое недавнее письмо), и из него видно, что «там» мной интересуются (!). Если *ВСЕ ²* о Бугаеве *НЕ ²* ложь (а, вероятно, ложь многое, по кр<айней> мере), то — каков Бугаев! Отчего он прямо не написал мне, к чему «экивоки» и отговорки. Но пока я не узнаю лично от Бугаева всего, я не поверю ³. Если и он с «ними» (с петербургскими мистиками) ⁴, то мы с Сергеем > Соловьевым ⁵ остаемся *ВДВОЕМ ²*, остальные все против. Слава богу, что это *так* уясняется, я *не боюсь ровно ничего*, потому что сердце у меня предано Тебе и в этом заострено так, что, *при случае, будет колоться*. А остаться *одному даже* в покидаемом литературном лагере мне не только не страшно, но и весело, и хорошо, и дерзостно. Господа мистики, «огорченные дисгармонией» (каково!), очевидно, совершенно застряли в непоколебимых математических вычислениях. Я *в первый раз* увидел настоящее дно этого тихого омута, посыпанное безобиднейшим желтым житейским песочком (повторяю, если все это *действительно* не сплошная ложь). Что значит «дисгармония», когда я ответствен перед богом за женитьбу (что называют они женитьбой? Пошлость?) и за стихи, обращенные к Тебе же и взятые из Твоей сокровищницы? Если таков «абсолют», «с т<очки> зр<ения> которого» говорит г-жа Гиппиус, то я ее не поздравляю. Я ясно выразил еще весной, что я «молчу» (в отнош<ении> мистических вопросов) и теперь *молчу еще более*. Никто из них *ничего* не поймет из моего. Я буду говорить *ВСЕ ²* Тебе — от сердца и с сознанием полной правоты. Пойми — то, что я буду им говорить (редко, много по-прежнему буду молчать), будет *не все и не от сердца*. Они не святые, чтобы возносить мои молитвы и стихи к богу. Вот пока ничего не скажу, а Ты скажи, как Ты отнесешься к этому

«истинно мерещковскому» письму. Придаешь ли Ты ему хоть то значение, которое я придаю ⁶. Внешним образом, как видишь, дело не меняется (право, они бы были последовательнее, если бы сказали, что навеки извергают меня, вместо того чтобы... предлагать написать «что-нибудь» в хронику. О погоде?). *Теперь* я не отвечаю на это письмо, отвечаю, *сообразуясь с тем, как примешь это Ты*, и отвечаю, не будучи от Тебя отделен тысячами верст. Бугаеву на его письмо, которое я послал Тебе заказным, я ответил, еще не получив письма Гиппиус ⁷. Будем *говорить* с Тобой об этом подробнее, *если Ты снизойдешь до них*. Теперь же скажу, что я знал все это раньше и поразил меня Бугаев (*вероятно*, напрасно), а потом — Карташов ⁸, узнавший, где-то (где? у Семенова ⁹? Но и Семенов не знал) Твое Имя. Так(им) обр(азом), я весьма *определен* в мнении об этом и *придаю этому* для себя значение, но *должен узнать Твои мысли* ¹⁰. Научи.

Т в о й, безраздельно Т в о й

¹ Приводим приложенное Блоком письмо З. Н. Гиппиус-Мережковской от 17 июня 1903 г. (из Луги): «Дорогой Александр Александрович. Ваше письмо я благополучно получила в Луге. Отвечаю вам за границу, еще успеете получить там. Как это вы забыли, что давно сообщили мне о вашей женитьбе? Еще, кажется, в начале или конце марта, в тот вечер, когда переписывали письмо. Вы не говорили мне имени вашей невесты, но сказали, что женитесь, и даже не прибавили, что это секрет, а потому я и не держала этого втайне. После Карташов сообщил мне имя вашей будущей жены. Я была в Москве и видела Бугаева, мы с ним говорили о вас и о том, что вы предлагали ему быть шафером (отец Бугаева тогда был еще жив). Но даже если б и отец был жив — думаю, Бугаев вряд ли согласился бы шаферствовать, он был очень удручен вашей женитьбой и все говорил: «Как же мне теперь относиться к его стихам?» Действительно, к вам, т. е. к стихам вашим, женитьба крайне нейдет, и мы все этой дисгармонией очень огорчены; все, кажется, даже без исключения. Вы простите, что я откидываю условности и, вместо того, что принято по-житейски говорить в таких случаях, — говорю лишь с точки зрения абсолюта. По-житейски это все, вероятно, совсем иначе, и я несколько не сомневаюсь, что вы будете очень «счастливы». Хочу отдохнуть от непосильных забот о «Новом пути» и с жадностью сдала его приехавшему Перцову. Не знаю, что там и делается. Надо написать рецензию о «Скорпионе» и «Грифе», она на мне лежит, но я все-таки ничего не делаю, только лежу в гамаке. Отчего так скоро возвращается из-за границы? В Наугейме я не была, но около Фр(анкфурта) долго жила, там очень хорошо. Если вздумаете написать что-нибудь в хронику «Нов(ого) пути», — присылайте сюда, Перцов опять скоро уедет. До свиданья, поправляйтесь. Ваша З. Г и п п и у с».

² Подчернуто дважды.

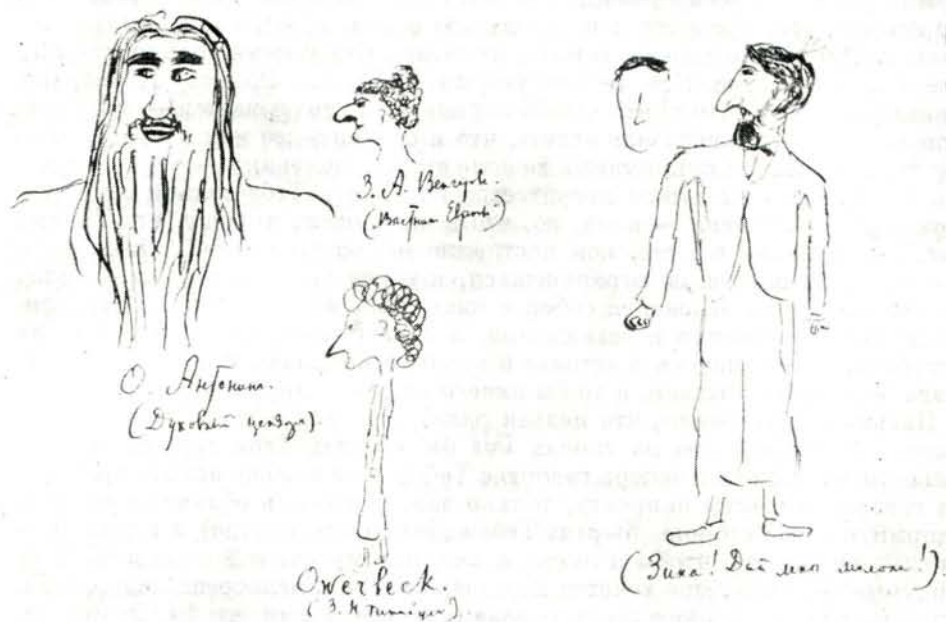
³ В дальнейшей переписке Блока с Б. Н. Бугаевым (Андреем Белым) вопрос этот не затрагивался.

⁴ То есть с Мережковскими.

⁵ Сергей Михайлович Соловьев (1885—1942) — троюродный брат Блока (сын М. С. и О. М. Соловьевых), племянник Вл. Соловьева, ближайший друг Андрея Белого, поэт-символист, филолог и переводчик, впоследствии православный священник.

⁶ В ответном письме от 26 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева писала: «Милый, я получила письмо Гиппиус. Лучше поговорим о нем, когда приедешь, я еще и разобратся не могу хорошенько в том, что думаю о нем, одно знаю, что очень мне было неприятно, даже больше чем неприятно, когда прочла его; сбilo оно совсем с толку».

⁷ См. примеч. 3 к письму № 94. По поводу письма Андрея Белого Л. Д. Менделеева писала Блоку 27 июня 1903 г.: «Вот так письмо написал Бугаев! После Зинаидинога оно ведь совсем просто и понятно, он и спрашивает без «экивоков». Но *что, как ты ему отвечал, вот главное!* Меня это невыносимо интересуеет и даже мучает теперь. А письмо Бугаева мне страшно не нравится, такое не теплое, просто, пожалуй, грубое, похоже не на «Симфонию», а на его портрет». «Симфония» — книга Андрея Белого: «Симфония (2-я, драматическая)». М., «Скорпион», 1902.



РИСУНКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ (1903?):

«О(тец) Антонин (духовный цензор); З. А. Венгерова («Вестник Европы»); Overbeck (З. Н. Гиппиус);
 <Мережковский>: (Зина! Дай мне молока!)>

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

⁸ Антон Владимирович *Карташов* (1875—1960) — профессор Духовной академии, один из руководителей Религиозно-философского общества; в 1917 г., при Временном правительстве, был назначен обер-прокурором Синода, после Октября — эмигрант. Блок познакомился с Карташовым у Мережковских в сентябре 1902 г.

⁹ Леонид Дмитриевич *Семенов* (см. о нем примеч. 7 к письму № 96).

¹⁰ По поводу осудительного отношения З. Гиппиус к его женитьбе Блок вскоре высказался в письме к отцу (от 25 июня (8 июля) 1903 г.): «З. Н. Гиппиус... со всеми своими присными не сочувствует моей свадьбе и находит в ней «дисгармонию» со стихами. Для меня это несколько странно, потому что трудно уловить совершенно рассудочные теории, которые Мережковские неукоснительно проводят в жизнь, даже до отрицания реальности двух непреложных фактов: свадьбы и стихов (точно который-нибудь из них не реален!). Главное порицание высказывается мне за то, что я, будто бы, «не чувствую конца», что ясно вытекает (по их мнению) из моих жизненных обстоятельств» («Письма к родным», стр. 86—87).

100

20 июня <3 июля н. ст.> <1903. Бад-Наугейм>

Может быть, в эту минуту и Ты пишешь письмо. И так же, как я, думаешь, что то, что пишется, должно бы дойти до меня сейчас же. Иначе теряется очень много смысла, и совсем несвоевременно доходят до нас старые известия.

Как Ты много пишешь теперь. Если еще стоит (осталось немного времени), пиши меньше, когда Тебе трудно. Я постоянно чувствую, что Ты огорчаешься не тем, что много пишешь, а тем, как, по-Твоему, выходят Твои письма.

Наконец, Ты просишь меня, чтобы я сказал «попросту», «очень ли мне неприятно», «сержусь» ли я и что думаю о том, как Ты «мало и плохо» пишешь. Ты все не хочешь верить, думаешь, что у меня «попросту» так, а не попросту иначе. Как же мне уверить Тебя, моя Родная? Право, мне показалось утром, что опять что-то спутывается, спутывается — и не распутать. Ведь это манера или «слог», что я облакаю все мои слова в такие формы, которые Ты принимаешь за *одну* только половину — «непростую». А я между тем *всей* душой могу всегда повторить Тебе только одно: что Твои письма для меня — клад, но, что я знаю очень хорошо, что Ты ими всегда недовольна так же, как постоянно недовольна Собой. Этим недовольством Ты постоянно отравляешься, и когда пишешь письма — тоже. Я тоже постоянно недоволен собой и пишу Тебе об этом. Но Ты отравляешься как-то медленно и безнадежно, а я нагромождаю слова, готов их истребить, проклинаю свой «стиль» и все-таки посылаю. И Ты посылаешь. Слава богу, что посылаем, а то бы ничего не знали друг о друге.

Письма так устроены, что нельзя разобрать тона и звука голоса говорящего. Я уверен, что на словах мог бы убедить Тебя гораздо лучше. Ты не слышишь, как я теперь говорю с Тобой — и вообще все это время, — а я говорю-то совсем попросту, только заволакиваюсь облаками «слога», который, с одной стороны, портит Тебе впечатление (иногда), а с другой — Ты сама не хочешь, чтобы я писал иначе, потому что «слог»-то мой. Я не придумываю *ничего*, мне хочется передать быстро и непосредственно, а Ты думаешь, что я загромождаюсь образами и символами, чтобы, например, самого себя убедить, что Ты пишешь прекрасно. Это — вечная наша история, пора к ней привыкнуть нам обоим. Я так привык, что знал заранее, что так будет. Так же знаю, что Ты в эту минуту думаешь, будто я «огорчен» этим, или что-ни<будь> такое. Право, нет. Право, если бы я был «огорчен», это было бы с моей стороны тупостью и упрямством. Я совсем не держусь за свой «слог» и готов убеждать Тебя всеми доступными мне слогами, попросту и не попросту, что Твои письма я люблю, что я им верю, что я в них вижу то, чего Ты сама в них не видишь, и вижу без выдумки, на самом деле. Опять письмо о письмах. Уж мне не хочется Тебя уверять, от Тебя зависит верить или не верить. А может быть, Ты не хочешь, чтобы я писал «Ты» с большой буквы? Мне это серьезно приходило в голову. Но, если Тебя это коробит, скажи. Может быть, это непросто или похоже на официальность (!)? Может быть, Тебе в этом чувствуется то же, что чувств<уется>, когда я целую ноги и платье? Поверь, что все это — страсть, глубокая и верная *на этот раз* черта в моем отношении к Тебе. За нее я стою, но проявления ее, которые Тебе не по сердцу, могу без всякого разочарования заменить другими. А уж какие-нибудь проявления будут — не те, так другие. Скажи об этом прямо, и я исполню. Это надо сказать прямо.

Напиши, какое впечатление произвело Шахматово? Впрочем, Ты напишешь это, м. б., раньше, чем получишь письмо. Приедешь ли Ты туда одна, без мамы? Приедешь ли, когда мы приедем? Что Ты думаешь о письме m-me Гипп<иус> ¹⁾ Я переслал Тебе все «важные» письма.

Мы с мамой говорим не всегда хорошо. Она ужасно боится, что Тебя не знает и что трудно узнать. Просит все меня рассказывать разные мелкие и крупные вещи о Тебе, а я все молчу о Тебе, и у меня язык не поворачивается. Ты знаешь меня, знаешь, как мама ко мне относится, потому можешь все это предположить. Я все говорю, что разговоры ни к чему не поведут, а практика покажет. Она сердится на меня, а я на нее. С моей стороны это все скверно, а все-таки о Тебе говорить — для меня нож вострый, даже с мамой. Потому из этих разговоров почти ничего, кроме неприятного, не выходило еще. Мы будем говорить с Тобой и об этом. Много нам надо говорить. Жара стоит невыносимая, камни жгутся. Мне часто

противно все, что вокруг. Постараюсь устроить так, чтобы эти дни прошли благополучнее. Пожалуйста, не говори ни с кем об отношении т-те Гиппиус и других ко мне. Мне как-то хочется сообщать все по этому и по другим поводам именно только Тебе. И чтобы побольше осталось среди нас двоих. Законно ли это желание?

Голубушка моя Розовая, напиши обо всем этом. Только, когда жарко, лень, устала, не хочется, пиши меньше или пропускай один день. Поздно я говорю Тебе об этом. Но может случиться, что маму задержат ванны еще на несколько дней — немного (2—3). Я еще совсем не могу точно определить дня выезда, но, во всяк(ом) случ(ае), *гораздо* раньше, чем предполагалось. Не имей в сердце ничего против меня. Милая, Ласковая моя Красавица.

Т в о й

¹ См. примеч. 1 к письму № 99.

101

Вечер 21 июня <(4 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>

Какой я буду ¹? Влюбленный, восхищенный. Если нужно будет привыкать, ничего. В чем же Ты могла измениться? Измениться так, что мне надо сызнава привыкать? Я верю в Тебя — а Ты в меня? Сейчас с мамой вышел первый хороший разговор — о Тебе, о будущей зиме. Для нее он, вероятно, прибавил хорошего. Для меня — не много, главное потому, что я в ту же минуту начал невыносимо беспокоиться. Если в одном месте хорошо, в другом часто плохо, Ты знаешь это, так бывало и в эту зиму. Напиши, не было ли чего-нибудь неприятного 21 июня (суббота) вечером?

Крайний срок нашего отъезда отсюда — среда 2 июля. Значит — 4-го в Петерб(урге), 6-го или 7-го — в Шахматове. Долго, бесконечно.

Я не хочу, чтобы Твое письмо, хоть одно пропало здесь. Значит, пиши так, чтобы я получил последнее письмо не позже 1 июля, т. е. пошли его не позже 28-го (а пишешь Ты накануне — значит 27). Если Ты можешь, напиши в Петербург к 4-му июля несколько слов, а то я буду без конца без писем.

Милая, Ненаглядная, пиши меньше, Ты все время пишешь много, Тебе трудно. Мне только бы знать, не случилось ли чего-нибудь? Если Ты в апатичном и вялом настроении, я хочу вдохнуть в Тебя все мои беспокойные и страстные чувства этой минуты. Их столько, что я лучше буду молчать сегодня.

Прости.

Т в о й

Нет, лучше чтобы не так мало было, напишу «факты». Здесь Писарев ², устраивает вечер в пользу недостаточн(ых) студентов. Нас, конечно, пригласили. Вечер будет в субботу 28-го (11 июля н. ст.), я, мож(ет) быть, пойду слушать, как нынче либеральничают. А сегодня — 4 июля нов(ого) ст(илия) — Американская независимость ³, — я надеюсь на фейерверк поздним вечером, он помогает и развлекает. Завтра приедут какие-то «Sänger» * из Франкфурта, им настроили по дороге уродливых декораций с надписью Willkomm ** — и относительно Wein, Weib und Gesang ***. Все это ощутительно мизерно и убого, плохо действует на эстетические чувства. Черт с ними, буду их смотреть!

* Певцы (нем.).

** Привет (нем.).

*** Вина, женщины и песен (нем.).

Весело, беспокойно, некуда деваться, все мысли о Тебе, о Тебе, о Тебе, Милая, Дивная, Несказанная.

Т в о й

¹ Блок отвечает на письмо Л. Д. Менделеевой от 17 июня 1903 г.: «Мне иногда интересно очень, как мы встретимся; ведь мы успеем совершенно отвыкнуть друг от друга. Уж и весной, когда мы не виделись дня четыре, и то было очень заметно, нужно было привыкать опять, мне по крайней мере. А теперь-то, после шести недель. Да я уж и по письмам чувствую, что ты меняешься, будешь другой, а вот какой? Да и я буду не такая, как была...».

² Модест Иванович Писарев (1844—1905) — известный драматический актер; с 1885 г. состоял в труппе петербургского Александринского театра.

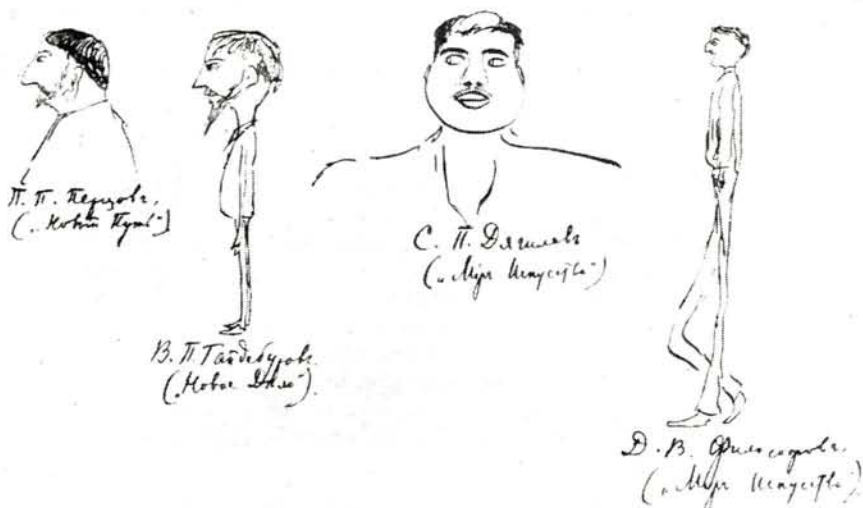
³ Национальный праздник Соединенных Штатов Америки — в память 4 июля 1776 г., когда Конгресс принял «Декларацию независимости» и провозгласил образование США в качестве самостоятельного государства.

102

22-го утром (июня (5 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм)

Я знаю очень хорошо, что это письмо я пишу поздно и Тебе будет неприятно. Но я рассчитываю только на то, что Ты примешь его так, как мне необходимо, чтобы Ты приняла. Я сейчас получил письмо о спектаклях ¹. Я бы все сделал, чтобы не чувствовать того, что чувствую. И даже не знаю, с чего начать.

Наше венчание в августе. *Весь июль* (я стою на том, что *весь*, потому что одним спектаклем не ограничится, а если и ограничится, то будут разговоры без конца) — будет набит этими изобретениями Над<ежды> Яковл<евны> ². Нам с Тобой *нужно* говорить, *нужно* быть одним, *необходимо в это лето* не отвлекаться. Я знаю, что это будет, это пойдет дальше «увеселений», совершенно чуждые люди будут все время обращать внимание на то, что мы — Невеста и жених. Что у Над<ежды> Яковл<евны> в голове? Неужели она не *понимает*, что она делает? Заставляет Тебя играть старуху Бальзаминову! Меня самого совершенно к черту, я себе сам противен до последней степени в эту минуту, потому что чувствую, что случись мне разговаривать с Над<еждой> Яковл<евной> сейчас, я бы наговорил ей черт знает чего. Я *могу* играть купца, лавочника, вихрастого либерального идиота, решительно все равно, но заранее знаю, что не произнесу ни одного слова как следует, буду все время не обращать ни малейшего внимания ни на что и ни на кого, кроме Тебя, буду страшно мучиться тем, что Тебя разглядывают, о Тебе говорят пьяные мужики и рогачевская кампания ³. Ради бога, прости меня за все это, я против рогачевских не имею решительно ничего в принципе, но я еще в прошлом году готов был разорвать их всех на клочки за одно то, что они любезны с Тобой. Прости, я от всего этого отвлекусь на минуту, чтобы сказать Тебе, что теперь у меня совсем дикая полоса, я сам одичал до того, что мне и здесь невыносимо разговаривать с чужими, кроме того, я сам не знаю, как только протянуть это лето, как мне насмотреться на тебя *одному*, а тут еще все эти истории. Тебе *не должно быть неприятно*, что я в Одной Тебе поместил все мое существование, что я до дерзости предан Тебе весь с головой, что я с невыразимой болью чувствую все время вокруг Тебя толпу чужих людей (я ведь не говорю о твоих близких). Мне в прошлом году было, может быть, меньше ужасно видеть, как Тебя окружили в Рогачеве все эти люди, которых я сияю минуту готов только за одно это оскорблять. Смешно? А мне не смешно. Я глуп, невыносим, по всей вероятности, в эту минуту, но я не могу не сказать всего этого. Одно оправдание, что я совер-



РИСУНКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ (1903?):

«П. П. Перцов («Новый путь»), В. П. Гайдебуров («Новое дело»), С. П. Дягилев («Мир искусства»),
Д. В. Философов («Мир искусства»)»

Институт русской литературы АН СССР. Ленинград

шенно несчастен в эту минуту, и ничего в себе не раздул, все осталось, как было, когда я получил письмо. Я хотел ждать с ответом, но ничего все равно не выйдет, я иначе не почувствую. Неужели Ты не видишь, что для меня все остальное, кроме Тебя, все равно, хоть мир провалится, хоть светопреставление наступит. Еще вот откуда можно посмотреть: разве нам вся эта кутерьма напомнит прежние спектакли? *Нет*, я говорю, определенно и уверенно, что нет. Хоть бы *переждать* это время (это лето), остаться *с Тобой вдвоем перед самой свадьбой*, не отвлекаться. Нам говорить нужно без конца, все силы уйдут на Над^ежду Яковл^евну. Я лучше об ней писать не буду. И больше вообще писать не буду.

Только одно может заставить меня на все это пойти. Твое спокойное и твердое решение. Скажи, что это ничего не испортит и не спутает. Скажи, что Ты *этого хочешь*, что все, что я говорю, — эгоизм, капризы, выдумки, жестокость. Я *сейчас же* все эти мысли брошу. Я буду играть все, что хочешь, что Ты *велишь* мне, но играть так, что Над^ежда Яковл^евна упадет в обморок. Я знаю неуклонно, что мне до игры не будет никакого дела, решительно никакого и *ни до чего*, кроме Тебя. *Разрываться НЕ БУДУ*⁴, буду около Тебя, пусть все, что хотят делают, я от Тебя не уйду, если будут над этим издеваться, не уступлю и наговорю больше, чем можно. Прими все *только так*: все зависит от Тебя. Вели — и я буду играть. Я себя даже убедить постараюсь, что к этому отнестись надо *легче*. А теперь не могу, упорно не могу. А это проклятое письмо придет только на четвертый день.

Но, если Ты откажешься в ущерб Себе, мне будет гораздо хуже, чем теперь. Не оставь ничего недоговоренного. Пусть, кто хочет, думает, что я паясничаю, мне все равно. Я Твой безраздельно. Не сердись на меня, я повторяю, что Тебе не должна быть неприятна моя *РЕВНОСТЬ*⁴. Больше в жизни этих месяцев *НЕ ПОВТОРИТСЯ*⁴ (до свадьбы), разве они для народных гуляний? Прости, прости, прости.

Твой.

¹ Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 19 июня 1903 г.): «Известия этого письма тебе не очень понравятся, я думаю. Над(ежда) Яков(левна) устраивает опять «folle jorne» и спектакль, набрала себе актеров на фабрике и у Егоровых, даже Мусю уговорила играть, придется и нам с тобой; идет «Праздничный сон до обеда», я буду играть старуху Бальзаминову, а тебя умоляют сыграть купца Неуденова, роль не очень большая; ждать вашего приезда будут во всяком случае, и, пожалуй, тебе придется согласиться участвовать, Н(адежда) Я(ковлевна) уверяет, что все спрашивают, будешь ли ты, и будут разочарованы, если нет. Я ведь играю тоже, конечно, только чтобы не «подвести» и после долгих упрасиваний; а пока это займет время, и отлично: ведь и две с половиной недели это еще невыносимо долго, правда? Сегодня мы опять едем в Рогачево, навестить нашего мальчишку, отвезти докторам программу гулянья, она уже готова, и каких только чудес там не наобещали, везу им и «Новый путь», они очень им интересуются из-за рел(игиозно)-фил(ософских) собраний(...) А вдруг я буду играть и в Рогачеве — ты ничего, не очень это будет тебе не нравится? А мне хочется наполнить чем-нибудь время, а то ничего не делается, даже читать не интересно. Нехорошие я вещи написала, милый, все тебе не нравится? Правда? Ответь, если еще успеешь, до приезда!» (Муся — младшая сестра Л. Д. Менделеевой. «Праздничный сон до обеда» — комедия А. Н. Островского).

² Надежда Яковлевна — Губкина (1855—1922), племянница Д. И. Менделеева и его биограф, автор ряда беллетристических произведений.

³ См. примеч. 3 к письму № 97.

⁴ Подчеркнуто дважды.

103

22 вечером <июня (5 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>

Наверно, мое утреннее письмо произведет на Тебя ужасное впечатление. Ты рассердишься, может быть. Я не могу иначе смотреть до сих пор. Ты знаешь, чего мне жаль. Того, что самые драгоценные уединенные задумчивые минуты пропадут бесследно среди суетни. Ведь, если Ты соглашалась, то думала, что иначе «подведешь». Право, если бы это одно, то нельзя было соглашаться. Ты не представляешь себе всего этого, не представляешь, что в единственное и самое важное время жизни невозможно, до боли невозможно так отвлекаться. И для чего? Для того, чтобы играть безобразную старуху.

Я говорю, что я невыносим. Но я прав в одном: нельзя, чтобы это лето было так разбито. Все, что теперь предполагается, можно тысячу раз исполнить. Но теперь, теперь? Я знаю, что мне легче писать все это одному, здесь, когда меня не трогают, но Тебе гораздо труднее. Я знаю, что ставлю Тебя в неопределенное и тяжелое положение. Может быть, будут смеяться, и Тебе будет это неприятно. Мало что вообще. Но я говорю Тебе: не одна моя ревность виновата в этом. Если бы один я, так можно было бы меня усмирить и из меня все это «изгнать» (только от Тебя я перенес бы это). Но здесь не я один. Я знаю, наверное знаю, что это убьет драгоценные часы, может быть, потом Ты сама об этом вспомнишь. Я тысячу раз виноват, что говорю все это так поздно и такими гадкими словами. Что же мне делать; скажи, что все это ничего, и Ты не раскаешься. Мало того, что все это должно быть так, *убеди* меня силой Твоей мудрости. А я сам не убежусь никогда. Тебе в руки дана власть надо мной. Зачем же Ты не приказываешь, а пишешь таким тоном, точно неуверенным, колеблющимся, что, «пожалуй», придется согласиться? Если *надо* наверное, по-Твоему, если для Тебя это ничего, или приятно, или нельзя отказаться (последнего не может быть), говори прямо, что я должен и дело с концом. Но повторяю Тебе, если Ты теперь откажешься, не считая этого нужным, а только из-за меня, то это будет хуже. Я с трудом говорю о Тебе с мамой. Как же я буду говорить о Тебе с рогачевским учителем? Как же мне упоминать Твое имя человеку, которого я легче задушу своими руками. Прости за «силь-

ные выражения». Но, я повторяю снова, Ты должна чувствовать, что *теперь, до свадьбы*, в эти минуты, которые *никогда не повторяются*, я ревную Тебя к ветру и воздуху, не только к людям, *всем без исключения более или менее*. Дай мне остыть, остыть не в любви, которая вечна, а в ревности, которая чрезмерна, но *не смешна*, потому что от нее у меня все внутри дрожит и трепещет. Вот она — та ревность, которой Ты *хотела*. Ты *хочешь ее*, в ней много сильного и *удобного для будущего*. И она колет всех, не входящих в *наш* круг, состоящий из нас *двух*. Ведь 5 лет это чувство росло, часто со страшной болью. Пощади. Почувствуй его, почувствуй, что Ты его хочешь, — и Тебе будет легче встать на мою точку зрения. *Почувствуй*, что в нынешнее, теперешнее время *можно и должно* допускать Тебя, *ПОТОМ*¹ (меньше) меня, *потом* — *никого*. Я торжественно и твердо отрекаюсь на это время от всяких «глубоких» отношений, *все* опостытели и осточертели: «Новые пути», старые пути, Скорпионы², хорошие знакомые, друзья и пр. и пр. и пр. *Я с Тобой*, облекись же, ради бога, в свою белую, несуетную ризу, и так, все это время, я внутренне простою перед Тобой на коленях. Я глубоко верю, что Ты поймешь меня, но придашь ли Ты этому значение, помимо моей страсти, доведшей меня до этой бешеной ревности. Это так сильно, что не мож(ет) быть пошло. Так *не зависит от меня*, что, *наверное*, имеет долю *правды*. Я старался передумать со всех точек, и только еще больше «нравственно зачахнул» от того, что предстоит. Гулянья повторятся, а эта минута не повторится. Это самое главное и непреложное. Тысячную часть того, что во мне, пишу Тебе. Ведь я же «без ума», я же сумасшедший, разве Ты не слышишь? Ведь Тебя же влечет ко мне, потому что я весь — одна страсть, одно безмерное, вылившееся из границ чувство. Прими меня так, как теперь, Ты в этом не раскаяешься. Господи, если бы я все это мог сказать Тебе сейчас! Что я делаю! А иначе не могу. Прости и услышь, и пойми, пойми, пойми, Ненаглядная, что я не жесток, не требую, что это *не всегда так будет*, — но *теперь, теперь*, в эти летние ночи, в это безумное время. Ненаглядная, Божественная, прости, не сердись, не негодуй, делай как по-Твоему нужно, так, чтобы после не упрекать меня. Тебе самой будет от этого тяжело. Ненаглядная, Солнце мое, прости.

Т в о й

¹ Подчеркнуто дважды.² Ииекуют в виду писатели-символисты, группировавшиеся вокруг московского издательства «Скорпион».

104

22 июня вечером (5 июля н. ст.) <1903. Бад-Наугейм>

Сегодня — 3-е письмо.

Я приду, схвачу Тебя за руки и никуда не отпущу. Посмотрю Тебе прямо в глаза, и Ты все, все, все поймешь. Откажись, я говорю. Мне весело. Тебе тоже будет весело. Весело оттого, что я Тебя люблю. Побудь со мной наедине.

Сладким вином на прощанье —
Кипрским вином напою!
Выпьем за наше свиданье,
Выпьем за удачу мою¹.

Это старый романс. Ты пой мне романсы, я их больше всего люблю. Я простой, простой. Тут только одно лишнее — «на прощанье». Я прощаться не хочу, и Ты тоже. Если Тебе лень, я Тебя расшевелю. Помучился — и будет. Обнимаю Твою талию, целую Твои губы, прямо.

Т в о й

Анна Ивановна и Дмитрий Иванович Менделеевы

имеют честь известить Вас о бракосочетании дочери их

Любови Дмитриевны со Александром Александровичем Блоком,

имеющим состояться въ воскресенье 17 Августа 1903 года въ приходской церкви иконы Шахматова Моск. губернии Клинского уезда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СВАДЬБЕ БЛОКА И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 17 АВГУСТА 1903 г.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

¹ Неточная цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Сила песни», вошедшего в романский репертуар.

105

23 утром (июня (6 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм)

Сейчас я получил Твое письмо от 19-го, где сказано, что Тебе опять не хочется играть ¹. В этом все дело, что Ты неопределенна и уступчива. Если не очень хочется, то, ради бога, откажись. Я уверен, что это лучше. Свали все на меня одного (это так и есть), если Тебе не «стыдно», что я такой. Но только не соглашайся, потому что, если рассуждать о том, что «подведешь», и из-за этого играть, то мы потеряем, а это поважнее. Потеряем, если не так много времени, то больше, чем можно, — понимаешь чего? (нет слова). Над⟨ежда⟩ Яковл⟨евна⟩ могла бы и сама об этом догадаться, — что теперь не время. Кроме того, прости, она выказала, главное, поразительное безвкусие и грубость, заставив Тебя играть старуху Бальзаминову. Помоему, это — выше меры, за это я на нее до сих пор злюсь страшно. Наверное, Твоя мама найдет это безвкусным так же, как я; Ты, если хочешь, спроси ее об этом. Я знаю, как трудно отказаться, но, помоему, если Тебе так неопределенно — то хочется, то не хочется — то лучше отказаться теперь, чем потом. Эта роль тебя не удовлетворит, тебе станет скоро лень, такой спектакль нам ничего не напомнит. Что в Рогачеве ничего не устраивается, по правде сказать, меня больше чем радует. Пускай Над⟨ежда⟩ Яковл⟨евна⟩ достает себе актрису хоть оттуда, наверное кто-нибудь да найдет, она уж теперь из упрямства и «по традиции» требует Тебя и не догадывается, что произошло нечто совсем новое, и об этом тоже следует подумать. И все это с подкладкой легкомысленного народолюбства, Ты знаешь эту ее черту, и мама знает, даже при мне смеялась над ее изобретениями в таком роде.

Знаю, что пишу Тебе рискованные письма. Но я пишу, совсем все до-

Александра Андреевна Кублицкая-Плоттунг

имеет честь известить Вас о бракосочетании сына ее

Александра Александровича Блока с Любовью

Дмитриевной Менделеевой,

имеющуюся состояться в воскресенье 17 Августа 1903 года в приходской церкви иконы Шахматова, Моск. губернии Клинского уезда

ИЗВЕЩЕНИЕ О СВАДЬБЕ БЛОКА И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 17 АВГУСТА 1903 г.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

говаривая, не оставляя ничего. По-моему, так. Если Тебе ни в каком случае не удастся отказаться (хотя, ведь все дело в том, как кто отнесется), то напиши, уж теперь в Петербург, вероятно. Мы уезжаем наверное во вторник 1 июля, значит последнее письмо от Тебя может быть от 26-го июня (пойдет 27-го), в крайнем случае — от 27-го (пойдет 28-го). В Петербурге 3-го.

Мне страшно интересно, что Ты видела в Шахматове и понравилось ли Тебе там ². Я считаю дни и часы, иногда совсем вне себя, чтобы видеть Тебя скорее. Теперь уж и утром, и днем, и вечером.

Находит ли все-таки мама, что Тебе надо играть? Чувствуешь ли Ты, Милая, Дорогая моя, определенно, после моих писем, что лучше не играть? Ты понимаешь, Милая, что я рад бы не говорить этого, — может быть, из-за пустой вещи даже. Но мне кажется, что здесь много правды, что даже эта пустая вещь может напутать.

Если бы Ты приехала ³, когда мы приедем! Понимаешь, почему я хочу? Потому что мы останемся совсем одни, можем уйти и пропасть. Мне так необходимо это — быть вдвоем с Тобой — хочу этого упрямо, страстно, ревниво, Милая, Милая.

Т в о й

¹ Л. Д. Менделеева писала 19 июня 1903 г.: «Спектакля там (в Рогачеве) не устраивается, да теперь мне опять уж не хочется играть ни там, ни у нас, но у нас-то придется».

² В письме от 20 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева излагала свои впечатления от поездки в Шахматово: «Были вчера в Шахматове, уж лучше не буду писать о том, как мне оно понравилось, ты сам можешь себе представить, ты знаешь его. Я только удивлюсь, как ты мало про него рассказывал и как мог хотеть уехать из него куда-то в деревню или Вологодскую губ(ернию). Мы были не очень долго и ходили немножко, так что я мало еще видела и мне ужасно хочется поехать еще раз и побродить везде. Убирали сено...»

³ В Шахматово. Л. Д. Менделеева писала Блоку 19 июня 1903 г.: «Ты все спрашиваешь, приеду ли я в день вашего приезда; я думаю, да, если не помешает что-нибудь...». Как видно из дальнейших писем, мать Л. Д. Менделеевой сочла поездку невесты к жениху поступком неблагоприятным.

106

23-его вечером (июня (6 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм)

Мне хочется, чтобы Тебе не было тяжело от моих писем. Чтобы не было досады на меня за то, что я хочу расстроить то, что уже наладилось и пошло своим чередом. У Тебя бывают настроения, когда Ты досадуешь на меня, по крайней мере — были. О теперешнем я лучше даже не буду говорить; Ты сама сказала, что переменялась опять с тех пор, как мы расстались, потому я не загадываю. А еще потому, что Ты уже не можешь ответить мне на это и следующие письма иначе, как в Петербург разве.

У меня бывают совсем новые и странные мне самому мысли — хорошие. Я не скажу какие, очень долго и не выйдет — лучше Ты сама разбери, в чем мои перемены. А они есть. И именно Твое влияние я чувствую во всей силе. Какое хорошее и свежее! Мне уж хочется так попроще сказать, чтобы опять не уйти в слова, которыми все равно ничего не скажешь.

Мне бы хотелось сказать Тебе сейчас что-нибудь совсем необыкновенное, да не выйдет. И, что не выйдет, мне даже ничего, а Ты, если хочешь, сама почувствуй, какая у меня дума. Не то чтобы определенное что-нибудь, а так — вообще хорошо. Мне только кажется, что Тебе не совсем хорошо иногда бывает. Лень, от лени устаешь, а та лень, которая недавно правилась (когда Ты бродила в полях и лежала в траве), — перестала нравиться. Собой не очень довольна.

Долго как еще нам не видется. Около двух недель. Хоть бы как-нибудь дошла до Тебя моя дума. Как-нибудь из Шахматова, где Ты была 19-го. Только бы побыть с Тобой вдвоем и выпросить у Тебя побольше. Милая, Милая, Милая. Я ужасно Т в о й

107

24-ого утром (июня (7 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм)

Милая, как я рад, что Тебе понравилось Шахматово ¹. Я не рассказывал о нем, потому что всегда мало ценишь то, к чему привык. А как вспомнишь, так кажется теперь, что нет лучше места, где б нам с Тобой жить. Единственно не совсем приятно, что на будущее лето там могут оказаться Кублицкие ² (не на все лето), но мы можем (и умеем) вполне эманципироваться от них. Ты видишь по моим письмам и по всему моему тону, что я страстно хочу нашей отдельной жизни и ревную Тебя ко всякой другой. Страстно хочу, чтобы нам удалось теперь, когда я вернусь, бродить по Шахматову вдвоем, главное вдвоем, пропадать надолго, не попадаться на глаза никому. Все Шахматово создано для этого, окружено лесом, холмисто, долинно, прохладно. Ничего нет лучше. Хочешь? Я даже хочу в первый же день, потому и прошу Тебя приехать. Это такое сильное желание, такая безумная тоска о Тебе Одной, такая дикость ко всему другому, что, право, может быть хоть некоторым оправданием всего, что я писал. Вчера вечером я опять думал о том, что предстоит делать просто фактически перед свадьбой, и решительно убедился, что я неспособен и думать о спектакле, до того много надо обсуждать, представлять себе. И, если я об этом буду думать, будет только необыкновенно хорошо, если же пойдут развлечения,

то я буду бросаться из стороны в сторону и ничего, как следует, сделано не будет. Да я и шагу ступить не сумею ни в чем, что не касается Тебя прямо, такое острое, томительно ревнивое время. Я пишу все — «ревность». Это правда, я наконец нашел окончательно это слово и стою за него. Ты должна быть втайне и явно *недовольна* им, мне так чувствуется. Ты и прежде этого хотела и сама от этого страдала. Мне нет дела до Зинаиды Гиппиус и проч^(их), вообще к делам, не касающимся нашей свадьбы, приходится принуждать себя (напр^(имер)), к более или менее покорному сиденью в Наугейме, даже, хотя это касается мамы). К черту все, пока я не увижу Тебя Одну, не услышу Твоего голоса отдельно от других, не буду свободен от всяких других отношений. Ужасно я одичал, Ты не можешь себе представить, часто трудно выговаривать слова, по вечерам хочется спрятаться в парке. Все Ты, все Ты, и больше ничего на уме. Надо думать, что 6-го июля утром мы приедем в Шахматово (отсюда — 1-го, в Петерб^(ург) — 3-го, из Петерб^(урга) — 5-го). Я уж и писать разучился (если писал лучше), и все как-то «сводится на нет», все дела и дни проходят, как посторонние и досадные, также и слова. Терпенья уж мало. Милая, Ты чувствуешь все это во мне?

Т о й

¹ См. примеч. 2 к письму № 105.

² Семья тетки Блока — С. А. Кублицкой-Пиоттух (см. примеч. 2 к письму № 40).

108

24-ого вечером (июня (7 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм)

Около нас есть маленький городок Фридберг. Я там сегодня провел уже второй день. Там две замечательные вещи: собор и дворец нашей нынешней императрицы (когда она была просто Алисой Гессенской). Собор строго готический, весь упирается в небо своими острыми верхушками. Под крышей выглядывают безобразные существа полужвери (как на Notre Dame) ¹. Окна узкие, длинные, точно растянулись в постоянном бегстве к небу и так застыли, испещренные тончайшей и сложной канвой узоров. Между двумя башнями приютилась маленькая Богородица с Младенцем, протестантски некрасивая статуя. Двери окованы так крепко, точно для того, чтобы не выпустить мирян из мрака Лютеровой религии. Красота всего здания совсем исключает многие из евангельских текстов, а небо как раз серое, и ходит упрямый ветер. Такой страшный Божий Дом. Когда от него пойдешь по главной улице с домами, крытыми черно-красной черепицей, открывается вид на древний «кремль», окруженный рвом. Главная башня (самая высокая из окрестных) окружена приземистыми стенами и круглыми короткими башнями в трещинках, с окнами для всяких «лыцарских пицалей» (дрянью же они стреляли!). Единственный мост через ров; на нем наверное визжали ворота, часовой кричал и стучал алебардой, под своды въезжали неуклюжие, закупоренные в латы всадники, густобровые, рыжеусые, герольды в беретах — все припшпленные к лошадям тяжестью одежд. Потом все опять затворялось ржавыми ключами и наверху загорался сторожевой огонь. — Внутри кремля (ведь он был один сначала, а позже подбежал к нему пестренький городок) — все те же башни с бойницами, толща стен, дворец новейшей постройки. Латинские надписи на воротах, на фонтане, кое-где гербы, памятник какому-то, очевидно, недавнему придворному музыканту или композитору, — ничего очень интересного. Сквозь маленькую дверку можно пройти в королевский (или герцогский) сад. Там-то я и застрял. Сад небольшой и разбит совсем особенно — вверху и внизу. Кругом — верхняя дорожка на высоте стенных

зубцов, а в середине — глубокая лощина с дорожками и старыми деревьями, увитыми плющем. Сначала идешь, будто крадешься, по узкой дорожке вдоль стены, там темно и холодно понурым розам и георгинам. Потом — поворот — и внезапный вид на огромную Гессенскую равнину, на обилие земных соков и культурных ухищрений немцев. Под стеной (весь сад на стенах) бежит железная дорога. Дальше — все оттенки дали — от ярко-зеленого — до туманно-синего, на горизонтах — горы. У самого края стены — выступы и беседки из деревьев, и последняя как венец сада, угрюмая, высокая, почти ужасная, выстроенная из толстых неочищенных древесных стволов — серых и узловатых, точно умерших только тогда, когда уже образовалась из них стена. И в беседке — такие же громадные кресла и стол, на которых подобало бы сидеть трехаршинному созерцену с толстоногим позолоченным кубком. Это не все еще. Главное меня поразила и как-то уколола одна аллея из стриженных лип, образующих длинную, сплошь замкнутую вверх галерею. И среди лета — настоящая осень, вся аллея шумит от желтого листа под ногами. С одного боку — обрыв в среднюю лощину, плющ завил стволы сплошь. С другого — мелькает вид на равнину, но чаще кажется, что все кончается сейчас же за обрывом стены, заросшей кустами. Кое-где ютятся холеные, холодные розы, опять розы и георгины, усталые от ветра и здешней осени. Если выбрать минуту полного одиночества и взглянуть вдоль аллеи (она прямая, французского типа), — все ждешь узорного пажа, который бежит шаловливо, вприпрыжку, и напрасно разыскивает «ее и его» — местную владелицу замка и заезжего остроумного рыцаря (остроумного, когда ему удалось, наконец, стащить доспехи). Где они? Не разберешь, не поймет и тот, кто знает сад, кто сам провел здесь ночь с возлюбленной. Такой уют, несмотря на угрюмость стен, весь сад пропащий (оттого, что там можно пропасть и, надеюсь, не раз пропадали легкомысленно-нарядные пары. А старый граф качал только головой, а поделывать ничего не мог, — да и не хотел). И на долю пажей кое-что перепадало, наверное (хоть бы поцелуй короткий и томный, чтобы зажать рот красивому мальчишке), и «наперсникам» бросали кошельки. Все было просто и страстно-интимно, потому что за стеной кончалась жизнь — и начиналась только в следующем таком же замке, непременно вокруг башни, не переходя за границу стен, на равнину. Как заскрипят ворота и гости уедут, — все опять тихо. Все думают: владелец, его дочь и вино в подвалах — каждый заветно и без огласки. — Когда сам ходишь там, все это приходит в голову непосредственно, ждешь подслушать древнюю клятву в верности, застрявшую в рыхлой стене, ждешь увидеть на дорожке розу такую же сырую от росы и свежую, как она была, когда упала с квадратного выреза толстого негнувшегося платя. Хоть давнишнее, а живое. А главное, я представил себе, как ты идешь со мной рядом и как мы могли бы прожить на стене в саду целое лето, отделившись от всех. Потому я и заметил все это, что представил Тебя Одну со мной. Там хорошо, наверное, в горячую ночь после знойного дня. Мы бы вышли оттуда одичалые и сильные — после такого лета. Но это так, потому что я был там, а не в другом месте. Думаю, что мы и при других условиях можем одичать. Хочешь одичать? Я страстно хочу, хочу, чтобы было поменьше мыслей и ума — и никого, кроме нас ².

Я писал Тебе на этих днях все отвратительные письма. Ты сердилась, негодуешь, досадуешь — не знаю. Но знаю, что я готов похищать Тебя, чтобы быть с Тобой вдвоем. Это преследует меня и кружится, кружится до головокружения, до полета. Теперь — одни, одни, одни, почаще, побольше, подольше, потом — все будет видно. Дивная Ты, Красавица, Ты у меня стащила рассудок, бросила его со стены, вот и останься со мной вдвоем.

Т в о й

¹ Собор Парижской богородицы.

² Свои впечатления о замке Фридрихсберга Блок изложил также в наброске «Девушка розовой двери», датированном 10 июня 1903 г. (см. ЗК, 48—50). Из этого наброска впоследствии выросла вторая часть статьи Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (ноябрь 1906 г.). См. стихотворение Блока «Влюбленность» (1905), тоже навеянное пейзажем Фридрихсберга.

109

25 июня <8 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм>

Сегодня нет от Тебя письма, моя Радость, потому что в воскресенье 22-го Ты не могла послать. Может быть, завтра и я пропущу день, потому что завтрашнее письмо должно опять прийти в воскресенье — 29-го. Кроме того, я тогда пропущу хоть один день, чтобы Ты не получила запоздалых на 9 дней слов, мож(ет) быть, о том, о чем Ты уже давно писала. Я чувствую себя точно в тюрьме от необходимости подчиниться этой медленности получения писем, а теперь особенно, потому что забросал Тебя письмами, требующими решения вопросов — и долго еще ничего не узнаю.

О постороннем не хочется писать. Я изобретаю средства провести время, хожу далеко, курю сигары, — а толку мало. Кажется, скоро с той же целью уеду во Франкфурт и поброжу там — это недалеко. В Петербурге, кажется, к нашему приезду (3 июля) будут готовы наши с Тобой комнаты, и я могу хоть приблизительно их устроить. Главный ремонт (переделка кухни) еще не будет готов долго (т. е., к нашему-то приезду в августе, будет).

Я нарочно пишу вяло. Теперь время идет бесконечно, но скоро пойдет очень быстро, и я, рассчитывая на это, совсем исключаю возможность посторонних занятий, как спектакли. Кроме того, Ты знаешь, почему я не хотел бы играть. Чаще всего мне представляется это справедливым, реже я думаю, что Тебе тайне хочется играть и, может быть, отвлечься, и Ты не знаешь, что делать.

Это письмо Ты получишь уж после того, как ответишь, потому я лучше не буду писать об этом. Утешаюсь тем, что есть положения лучше моего, и я сам скоро буду в лучшем. Осталось 8 дней до Петербурга. А пока — ничего не поможет. Чтобы прекратить эту лямку, я прекращаю писать. Как у вас там хорошо, а у нас ко всем немецким прелестям прибавилась серая и холодная погода. Вот уж не жалко-то будет уезжать. Ты спрашивала, есть ли тут Ксения ¹? Если бы была, я бы написал Тебе. Но ее не было. Да мне ее и не нужно, говоря попросту.

Прости меня за тоскливость письма. Но при взгляде на окружающие предметы меня одолевает полный скептицизм к немецкому производству, нравам и населению. Вчера видел в товарном вагоне крупных свиней, очень похожих на здешнего начальника станции.

Т в о й

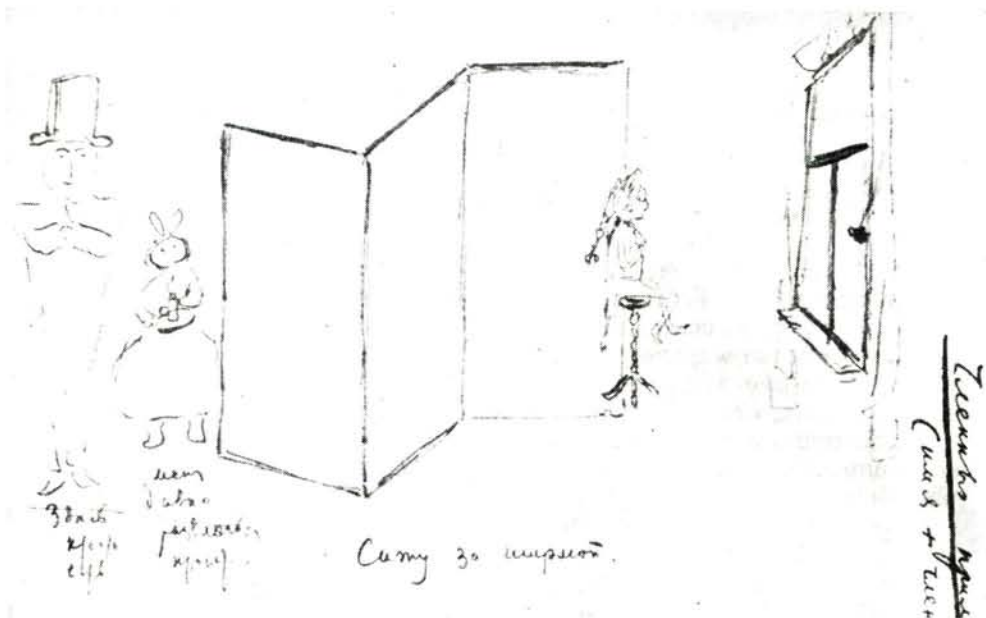
¹ Ксения Михайловна Садовская (см. примеч. 3 к письму № 96).

110

26 июня <9 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм>

Сегодня я получил такое ласковое Твое письмо. Если бы Ты знала, как мне приятны все *эти* «дела», о которых Ты пишешь с извинениями! Конечно, мы закажем ширму и туалет осенью. Пакет от Мякишевой ¹ привезу. Если есть еще что-нибудь, напиши мне непременно в Петербург к 3-му, я сделаю.

Последние дни здесь проводить трудно. Кажется, что уж все равно, что здесь, и нетерпение одолевает. Мне, как Тебе, трудно писать под конец,



ШУТОЧНЫЙ РИСУНОК БЛОКА НА МОТИВЫ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ
«СИЖУ ЗА ШИРМОЙ...» (18 ОКТЯБРЯ 1903 г.)

Изображен И. Кант. Женская фигура слева, с надписью: «Меня давно развлекать просит» — шарж на И. Д. Блок.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

у меня мысли то о том, чтобы ничего не упустить и все сделать во-время, то просто расплываются и тонут, и замирает сердце при мысли о том, как встречу Тебя в первый раз, как Ты отнеслась к моим последним письмам (о спектакле), — и я боюсь встречи, боюсь видеть Тебя и слышать, так Ты прекрасна, так давно Ты стояла в сумерках на платформе, так давно мы все пишем без конца, не видя друг друга, ощущую. И прямо не могу представить минуты нашей встречи — на всю жизнь. И все это так непонятно хорошо, как никогда не было, и когда это чувство охватит, от него кружится голова. Я дня не пропустил, а писать между тем не могу, хоть и хочу. Может быть, пропущу завтра (оттого, что в воскресенье у вас почты нет). Это письмо Ты получишь верно накануне нашего отъезда отсюда. Мне хочется все бросить и знать об Одной Тебе, Милая.

Твой

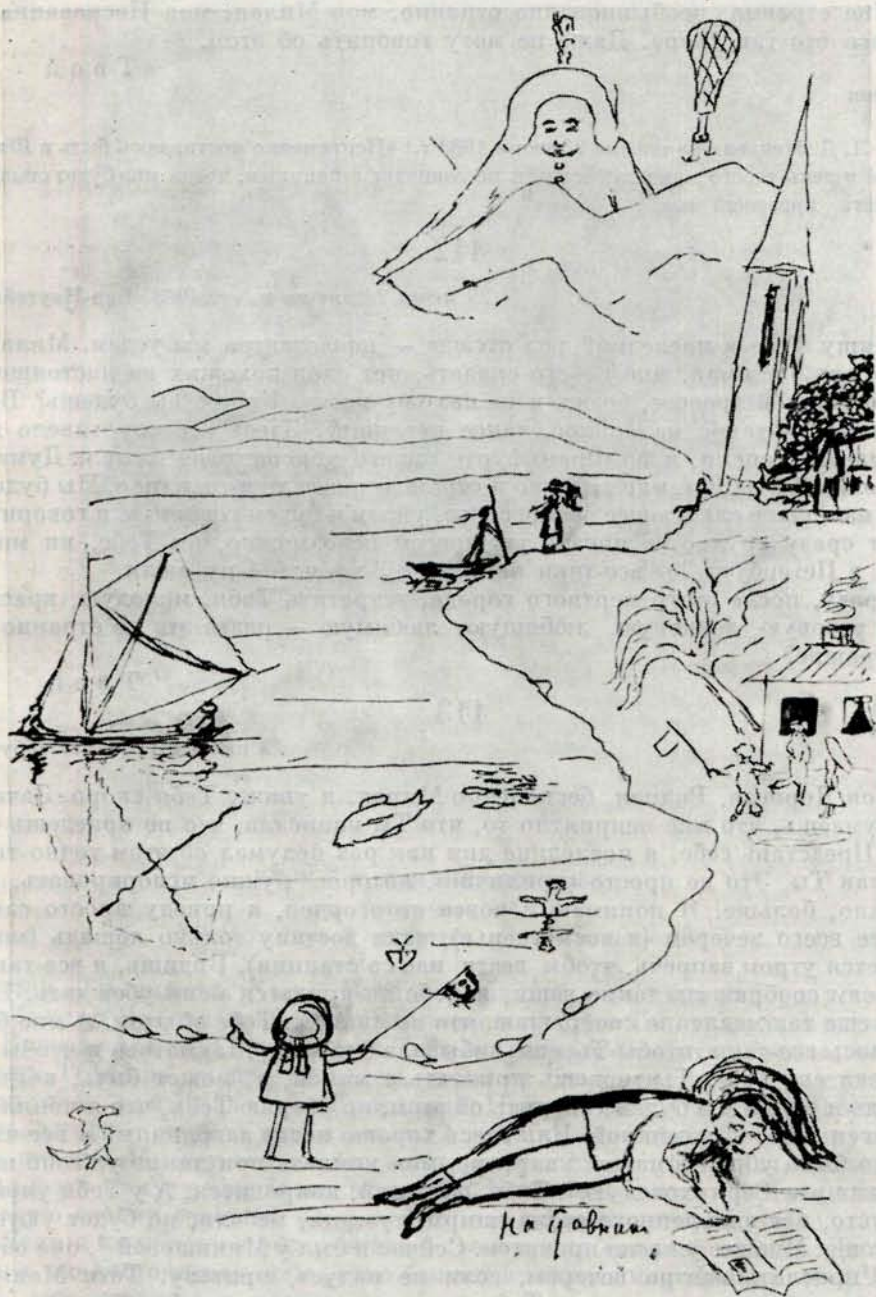
Я не знаю, как труднее встретиться: для того, чтобы быть вместе всю жизнь, или разлучаться на всю жизнь. Одинаково не могу представить. Как мне хорошо!

¹ Макишева — модистка.

Прости, что пишу мало.

Часто необыкновенно странно, удивительно хорошо все.

Я увижу Тебя скоро — и не могу представить. Как я счастлив, что Ты приедешь ¹. Днем? Утром? Надолго? Это будет 6 июля — воскресенье. Напиши в Петербург, мы будем там 3-го и 4-го. 5-го уедем.



ШУТОЧНЫЕ РИСУНКИ БЛОКА НА МОТИВЫ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЙ

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Мне странно, необыкновенно странно, моя Милая, моя Несказанная, что все это так скоро. Даже не могу говорить об этом.

Т в о й

28 июня.

¹ Л. Д. Менделеева писала 23 июня 1903 г.: «Неприменно постараюсь быть в Шахматове в день твоего приезда, если он не совпадет с папиным, тогда мне будет стыдно приехать, приезжай ты».

112

29 июня <12 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм>

Пишу Тебе в последний раз отсюда — послезавтра мы уедем. Милая, Дорогая, Любимая, мне нечего сказать, нет слов похожих на настоящее. Я в страшной тревоге, боюсь и не нахожу места. Какая Ты будешь? Все остальное — такое маленькое, такое неважное. Здесь все опротивело до последней степени, и во Франкфурте ничего хорошего не нашел. Думаю все только об одном, мне странно и страшно и весело и тоскливо. Мы будем *одни* наконец в следующее воскресенье, уйдем и будем говорить, и говорить будет сразу трудно, а писать уж совсем невозможно, ни Тебе, ни мне.

А в Петербург Ты все-таки напиши к 3-му или 4-му июля.

Сразу, после этого мертвого города, встретить Тебя, молодую, красивую, розовую, ласковую, любящую, любимую — разве это не странно и не страшно?

Т в о й

113

3 июля <1903>. Петербург

Моя Дорогая, Родная, бесконечно Милая, я увижу Тебя скоро. Зачем Ты думаешь, что мне неприятно то, что Ты написала, что не приедешь 6-го ¹. Представь себе, я последние дни как раз подумал об этом точно так же, как Ты. Это не просто «приличие», которое нужно игнорировать, а, конечно, больше. Я понимаю и вовсе не огорчен, а приеду просто сам, скорее всего вечером (в воскресенье), если достану только лошадь (мою придется утром запречь, чтобы везти нас со станции). Видишь, я все-таки стал сам соображать такие вещи, и Тебе не придется меня убеждать. Но пока еще так медленно соображаю, что не написал Тебе об этом. А мне бы хотелось все-таки, чтобы Ты еще побывала теперь в Шахматове и чтобы я показал его Тебе. Ты можешь приехать с мамой, а, может быть, когда-нибудь и одна? Мы будем говорить об этом, но уверяю Тебя, что я понял и согласен с Тобой и с мамой. Как здесь хорошо после заграницы! Я все что можно было убрал в нашей квартире, моя комната при лампе ужасно напомнила мне Серпуховскую ², Тебе, пожалуй, понравится. А у Тебя ужасно пусто, нет письменного стола, ширм, туалета, мебели, но будет уютно и хорошо. Мне все ужасно нравится. Сейчас я был у Мякишевой ³, она обещала прислать завтра вечером, если не надует, привезу. Тетя Маня ⁴ пишет, что была у вас, видела Тебя в розовом платье и побоялась сказать Тебе, какая Ты была восхитительная. И вообще, Ты боялась ее, а она Тебя, как полагается. А другие два раза (в Шахматове и в церкви) Ты была бледная. Когда мне все это читают, я чувствую, что знаю все это лучше и больше всех, и моим надеждам нет границ.

Я люблю Тебя, Золотокудрая Розовая Девушка, люблю больше моих сил, мне весело и хорошо так, как не было никогда. Сегодня я смотрел Твои карточки, видел Твои письма, все, что Ты писала своей рукой, мне дорог каждый кусок бумаги, на котором Ты провела черту. Как хорошо, что мы не будем играть ⁵, Ты меня обрадовала бесконечно. Больше не буду писать



БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК

Фотография, 1903

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

об этом, Ты знаешь. Какой Вася хороший! А разве кто-ниб<удь> кроме Над<ежды> Як<овлевны> очень недоволен тем, что Ты отказалась играть?

Боже мой, как я хочу видеть Тебя скорее и все забыть сначала, когда увижу Тебя, не думать ни о чем, даже не говорить, только смотреть в Твои глаза, моя Милая, моя Красавица, Ненаглядная, Счастье мое! Может быть, нужно написать еще о делах. А я не пишу. Зачем Ты не поручила мне ничего? Я могу только без конца писать страстные слова, больше у меня в эту минуту ничего нет в мыслях. И последнее письмо! Я не помню, не верю своему счастью, не понимаю, что со мной, откуда это?

Если я не приеду в воскр<есенье>, то в понед<ельник> приеду. До свиданья, по-настоящему, как редко бывает в жизни, моя Дивная, моя Чудная, мне страшно и весело.

Твой⁶

¹ Приводим полностью письмо Л. Д. Менделеевой от 1 июля 1903 г.: «Милый, совершенно и не понятно и не верится, что ты приедешь через четыре дня, так хорошо! Я напишу тебе только несколько слов, так приятно знать, что писать не нужно, будем говорить. Прежде всего прости меня за мою глупость, уж я так теперь каюсь, так стыдно, что согласилась играть. Вот я скажу тебе потом все-таки, как мне не хотелось. Теперь я отказалась от всякого участия и за себя и за тебя; от этого был в восторге Вася (они уехали позже, чем думали), он страшно против моего участия в спектакле,

БЛОК. «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ
ДАМЕ»М., «Гриф», 1905
Титульный лист

Александр Блок стихи о прекрасной даме.



Издательство
«Гриф»
Москва
1905

вообще он не одобряет, был очень рад, что нашел союзника и просил непременно передать тебе его поцелуй. В воскресенье была у нас Мар(ия) Андр(еевна), которая только что вернулась из Трубицына. Кажется, она не успела написать вам, что скоро приедет в Шахматово Софья Григорьевна с Сережей, как только он вернется из поездки в село Михайловское и другие места там, где жил Пушкин. Сегодня мы были в белой Таракановской церкви, на обедне; ведь я была там в первый раз. Ну, а теперь я должна тебя, кажется, огорчить: я не приеду в Шахматово 6-го; и маме это давно не нравилось, только она, оказывается, не говорила, да и мне показалось, что это одно из таких «приличий», кот(орые) существуют не только для того, чтобы дать богатый материал для сплетен всем Смирновым и Капустным, но имеет и смысл настоящий, — как ты думаешь? Только вот тебя мне жалко, ведь ты ужасно устанешь; может, очень устанешь, приезжай на другой день; а уйти и говорить можно и у нас. Ну, прости меня; я знаю, что тебе неприятно, милый, родной мой!» *Вася* — младший брат Л. Д. Менделеевой, Василий Дмитриевич (1886—1922). *Мария Андреевна* — Бекетова (1862—1938), тетка Блока, писательница. *Трубицыно* — подмосковное имение С. Г. Карелиной, двоюродной бабки Блока (*Софья Григорьевна*). *Сережа* — С. М. Соловьев (см. о нем выше — примеч. 5 к письму № 99). *Таракановская церковь* — в селе Тараканово, близ Шахматова; в этой церкви происходило венчанье Блока и Л. Д. Менделеевой. *Смирновы* и *Капустыны* — соседи и родственники Менделеевых.

² См. примеч. 7 к письму № 24.

³ Модистка.

⁴ М. А. Бекетова.

⁵ В любительском спектакле.

⁶ Этим письмом завершается первый раздел переписки Блока с женой. Приводим последнее письмо Л. Д. Менделеевой от 2 июля 1903 г.: «Милый, я забыла написать тебе, когда лучше приехать к нам. Приезжай или до 4-х часов, или после 5-ти, потому что мы обедаем в это время теперь, и, конечно, будет неприятно нам очень встретиться за обедом, при всех. До обеда и после я буду тебя ждать где-нибудь, вероятно, у парка; ничего, если ты устанешь и не приедешь, я не обижусь и не рассержусь; приезжай тогда на другой день, так же. Так скоро теперь, милый, так хорошо!»